ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

1 (1127) · 1990

Дмитрий Балашов

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ



Дмитрий Михайлович БАЛАШОВ родился в 1927 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Ленинградского театрального института в 1950 году, аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде в 1960 году. Имеет ученую степень кандидата филологических наук.

С 1960 по 1969 год работал в Институте языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР фольклористом. Совершил ряд экспедиций по сбору народного поэтического творчества Севера и центральных областей РСФСР. На протяжении многих лет был деятельным участником организации Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры.

Дмитрий Балашов — автор широко известных произведений на историческую тему. Начиная с семидесятых годов писатель работает над серией романов «Государи Московские», посвященной становлению Московской Руси в тринадцатом — пятнадцатом веках. В этом цикле и роман «Ветер времени», который редакция предлагает вниманию читателей.

РОМАН-ГАЗЕТА 1

ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ПЕЧАТИ
МОСКВА

(1127)·1990
Основана в 1927 г.

Дмитрий Балашов

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Роман

Посвящаю своему учителю Льву Николаевичу Гумилёву

Ветер!

Незримое течение воздушных струй. Незримое, несамовидное, как бы несуществующее, словно движение времени, внятное оку лишь по изменению тварных сущностей: разрушению древних храмов, одряхлению и смерти нынешней торжествующей молодости...

Так и ветер. Воззри! Незримо движение аэра, но — громоздятся тучи, проносясь рваными лохмами над головою, почти цепляя верхушки смятенно шумящих дерев, волнуется море, ныряют в волнах утлые, со вздутыми ветрилами, отчаянные корабли — это ветер! Гнутся упруго набухающие почками ветви, прихотливым японским рисунком прочерчивая пухлую синеву небес, мощно гудят, посверкивая светлыми изнанками листьев, тяжелошумные кроны летних дерев, жалобно и скорбно трепещут осенние мокрые осины, прореженные донага, в ржавых пятнах последней жухлой украсы своей, гнутся, никнут, уже нагие, почти лишенные цвета кусты, серо-сиреневые в морозном лиловом дыму, обтекаемые серебряными лентами зимних метелей, — все это ветер, только ветер! Один и тот же — и разный в разную пору свою. Как и время, как и те же самые (и такие иные!) катящие сквозь и вдаль волны годов: радостные и живительные юному произрастанию, тревожно-стремительные — молодости, требовательные — мужеству, горько-скорбные — старости и увяданию.

Дует ветер. Проходят века. Никнут и восстают народы. Меняется лик земли. И только гусиное (железное, тростниковое ли) перо летописца дерзает удержать на ветхих страницах харатий приметы текучего вихря, исчезающего в небытии. Трудись, летописец! Ветер времени листает страницы судьбы.

I

НА МОСКВЕ

Весной по Москве собирали вытаивавшие из сугробов трупы. Черные, полуразложившиеся тела, застывшие в корчах, в которые бросала их зимою под вой метели черная смерть, были страшны. Откуда прибрел, харкая кровью, тот или иной селянин, нынче было никому неведомо. Мертвецов хоронили безымянными, в общих скудельницах. Всех вместе и отпевали. Над Москвою, над Кремником тек непрестанный погребальный звон.

С оттепелью мор усилил вновь. Люди падали в церквах во время службы. И как-то уже притупело у всех. Не было того, летошнего, темного ужаса. Не разбегались, не шарахали посторонь. Отворачивая лица, подымали, выносили усопших. Каждый знал, ведал: завтра возможет приспеть и его час. И все-таки, когда летом в обезлюженной, пустынной Москве пронесся слух, что занемог старый тысяцкий Василий Протасьич, злая весть всколыхнула весь посад. Город, упрямо державшийся, невзирая ни на что до сих пор, разом осиротел. Тьмочисленные толпы, небрегая заразой, потекли в Кремник, к высокому терему Вельяминовых.

Жара. Пыль в улицах стоит неподвижными дымными столбами. Отсеялись, надо косить. Никита вышел за ворота, постоял, сплевывая. Не парень, мужик уже! Не распробованная вдосталь Надюха напомнилась до беды. Все стеснялась еще, как девка... В одночасье свернуло черною смертью, пока ездил в Красное... И ладно, что не зрел мертвую! Досыти нагляделся их, почернелых... И все блазнит, словно выйдет из-за угла с обведенными тенью ждущими, сияющими глазами и, теряя дыхание, безвольно роняя косы, растает в его руках...

По улице от Неглинной несли гроб — а не думалось. Горячий весенний дух бродил в крови. Колокола звонят и звонят: вымирает Москва! А бабы — как шалые. Мор пройдет, дак нарожают того боле!

Матка, исхудалая, присмиревшая в выморенном доме, выкатила за порог.

— Никиша! Пойдешь ли снидать? — нерешительно позвала.

«Сдохла бы, что ли, заместо любавы! Пятерых в землю проводила, а сама жива, падина!» — зло подумал о матери, переведя плечьми. Род! Ихний, михалкинский, федоровский род гибнет! В вечной грязи по уши, пото и не уберегла! Она от грязи, бают, того пуще находит, черная смерть. Може, и от иного чего? Тоже сколь их перетаскали, мертвяков, с Василь Протасьичем! Сколь и своих схоронили, дружины! А ему вон о сю пору как с гуся вода! И не страшно чегой-то! Верно, на роду не писана она, черная смерть. «Чур меня, чур! — одернул себя Никита. — С выхвалы, гляди, и сам закашляешь кровью...»

В уличной пыли показался всадник. На подъезде Никита по роже узнал своего. Отмотнув головою матери: «Недосуг, годи!» — шагнул встречу.

— Протасьич слег! — выдохнул парень.

— Черная?!

— Она... — потерянно отозвался молодший.

Никита молча повернул во двор, через плечо бросив:

— Пожди! Перемет поправь, раззява!

Молча вывел коня. Наложил потник, вскинул седло. Уже когда затягивал подпругу, мать выбежала с блюдом пирогов. Шало глянул, едва не ругнув, но, подумав мгновеньем, сунул за пазуху полпирога: невесть, нынче и накормят ли!

Точно мокрядью за шиворот протекло крутою тревогой: ныне — не при Симеоне Иваныче — как-то станет ихнее (не отделял уже себя от Протасьева дома) бытье? Сурово подумалось о боярине Алексее Петровиче Хвосте — отмел, и, уже ввалившись в седло, подумал вновь. Тыщи народу погибло на Москве, и все одно: смерть старого тысяцкого опахнула грозою. После князевой, раскинув умом, подумал и понял про себя Никита, самая тяжкая будет утрата на Москве!

Проскакав в Кремник с каплей сумасшедшей надежды, Никита еще на подъезде узрел и постиг сущее: бестолочь в доме, толпы у терема, растрепанная прислуга, кмети, сбившиеся в кучу... «Стойно овцы!» — Никита ругнул о-себе.

Необычно потерянный, с жестким беспомощным ликом, Василь Василич (словно величие отца ушло и осталось одно только темное) шатнулся встречу ему в сенях. Рослые сыновья бестолково путались у него под ногами.

— Ты што? — слепо вперился боярин в Никиту, не вдруг узнал. Вглядясь, пробормотал: — Поди, тамо... — Не кончив, махнул рукой.

Выбежала простоволосая жонка, девка ли — без повойника, дак и не поймешь. Охнула, увидя мужиков, побежала прочь...

Толпа своих ближников — понял по богатому платью, по сдержанной молви и неложному ропоту горя — наполняла просторную повалушу. Никита, пройдя через и сквозь, подступил к ложу. Умирающий глянул тускло — прошли, видать, сотни, и уже неузнаваемые, — но присмотрелся, понял:

— А, Никита! Помираю, Никиша, — шепотом, словно в палате были они одни. — Не боялся ее, черной, ан настигла... Москвы, Москвы постеречь подмоги, сыну-то...

— Василь Василичу? — прямо уточнил Никита и опустился на колени, припал лбом к откинутой бессильной руке. У самого захолонуло: «А ну как зацепит напоследях?» Но и удаль: перед великими боярынями, перед толпою знати не показать опасу, не уронить чести своей. Встал, невеселой усмешкой отверг одобрительные глаза жонок. (Воину на рати б умирать, а не так!)

— А потаскали, — сказал (вслух, чтоб и иным мочно было услышать), — мы с тобою мертвяков на Москве!

И Василь Протасьич бледной тенью улыбки ответил ему и отозвался словом:

— Потаскали, Никиша! Вот и меня теперь... Пережил князя свово...— Помолчал, пожевал губами, спросил себя: — Владыка едет ли?

Никита перемолчал, да и понял по движению за спиной, что время ему уже отступить посторонь: набольшие тута!

Ясные глаза и точеный обвод лица кинулись в очи. Кто такая? Словно и не зрел — из ближних, видать, а незнакома!

Поглядела скользом, лишь глянула, а одобрение удали своей прочел в мимолетном взоре и круче повел плечьми, отступя, еще раз оглядел ее, уже отвернувшуюся: невысока, стройна... Почти в монашеской сряде — кабы заместо убруса на голове куколь... Кто ж такая-то?! Словно всех жонок вельяминовских знал наперечет! Гостья? А держит себя — словно своя!

Недодумал, позвали. Раздвинув плечом молчаливую толпу, шагнул в обширные сени. Звал Василь Василич. И совсем стороннею мыслью прошло: вот бы обнять такую... Поди, и уста не те, и иное прочее не под нашу стать! Поглядеть и то — в кутерьме этой только и довелось!

Василь Василич стоял, облизывая пересыхающие губы: гневен!

— Слушай, Никит Федорыч! Батько не помер ищо, а там ужо в одночасье у княжого двора хвостовские наших теснят! Поглянь! (Вот оно, наступило! Торопитце Алексей Петрович Хвост, ой, торопитце!)

Никита кивнул, зыркнув глазом за точеные перила, туда, где грудились потерявшие строй, растерянные кмети:

— Ентих разрешишь взять?

— Бери! — подумав миг, сумрачно разрешил Василь Василич. И Никита кожею учуял мгновенную растерянность Вельяминова: тысяцким во след отцу должон его ставить новый князь... «Ну, да ведь Протасьич ищо не померши!» — подогнал себя Никита, хоть и знал, как и те, хвостовские, что от «черной» спасения нет.

Уже к ночи (до зуботычин дошло-таки, и до хватанья за копья, и до брани поносной, но хошь без мертвого тела обошлось), когда очистили двор и наряды свежей сторожи вельяминовской прочно стали у княжого терема, погребов и ворот Кремника, Никите, что был на спуске за Фроловскими воротами, подомчавший вершник донес, что Василий Протасьевич совсем плох и уже при конце. По перепалому лицу догадав остальное, Никита пал на коня и, с бранью расталкивая дуроломную толпу, подскакал к Протасьеву терему, остолпленному плачущим и ропщущим народом. Уже у крыльца понявши, что Василий Протасьич ежели не умер, то вот-вот помрет, решительно распорядив сторожею, врезав плюху растерянному ратному, полез на крыльцо. Жалкие жоночьи голоса сверху из горницы и вопли дворовой чади не дали обмануть себя. Подосадовав на Василь Василича — опоздал-таки! — он в полутьме переходов лез, пихал кого-то и уже при дверях, на последних ступенях, заторопясь, почти в объятия ухватил, так что ощутил тепло живого тела и тонкий аромат аравитских благовоний, встречную жонку боярскую. Еще полный тем, дворовым задором, решительно повернул к себе и обмер: то опять была она! Рыдающая, в сбившемся убрусе и очелье. Боясь оскорбить (а кровь жарко, толчками ходила в груди), под локти проводил, почти занес в какую-то малую припутную клеть, верно, девичью горницу, в темноте опустил на какую-то подвернувшуюся лавку. И пока она, с плачем роняя полуслова, полувсхлипы: «Не могу, не могу!» — и что-то неразборчиво о себе, о своем давнем горе, Никита, страшась укромной темноты и себя самого, нашаривал и нашарил наконец свечу, запалив огарок от лампадного, чуть видного пламени.

Тут только из сбивчивых полуслов и рыданий догадал, откудова взялась она такая и почему не зрел ее допрежь в терему Протасьевом. Вызнавая, лихорадочно прикидывал: кем же она Василь Василичу доводитце? А в голове пожаром, войною билось одно: «Упустишь, потеряешь!»

Была она Вельяминовым свойкой по женской родне. Тестю Василь Василича, кажись, племянница. И молодая вдова. Мужик ее, городовой воевода, погиб черною смертью, и теперь, по сиротству, принял ее Василий Протасьич в дом и был ей «заместо отца». От вызнанного голову закружило мечтой и страхом. И встрепанный, еще ничего толком не решивший, но уже тем обнадеженный, что предложил свои услуги и они не были отторгнуты враз («Впрочем, перед смертью все равны, — одернул себя Никита, — что потом скажет?»), только одно знал, понимал он, что тут ни удали, ни ухваток тех, что с посадскими девками, не можно допустить, не то враз отставят и забудут, что и на свете-то был!

Как-то внезапно в покой вступил Василий Василич. Никита, не теряясь, словно ему тут и должно было находиться, прихмуря чело, скороговоркой поведал про службу. И лишь по растерянному, недоуменному взору Василь Василича понял, что тому сейчас не до того вовсе, что смерть родителя совсем повергла его в прах, и теперь он с трудом понимает, зачем зашел и сюда-то. (Ишь, даже не удивил тому, что Никита здесь, при свойке евонной!) И все же надо было уходить. Бросив через плечо: «Пойду кликну кого из жонок!» — Никита вышел.

Наверх, к телу тысяцкого, было, почитай, и не пробиться уже. Он обогнул по верхним сеням красные покои и по смотровой вышке, черною лестницею, взошел в повалушу, опять попав в толпу боярынь и боярышень. На него лишь взглядывали, узнавая своего, и сторонились, пропуская. В час беды каждый мужик — защитник и на виду у всех, а жонки, даже и великие, умалились перед бедою, схожею с ратным разором.

Василья Протасьича уже обрядили в смертное, и уже попы стройно пели над телом. Прислуга зажигала лампады. Во всем тереме белыми льняными покровами завешивали дорогое узорочье, гася блеск серебра и тяжелое мерцание золота, готовили палату и ложе смерти к прилюдному прощанию с городом.

И Никита, вновь решительно взявши на себя в сей день обязанности старшого, вышел в летний сумрак, под звезды, проверять сторожу, распорядил накормить сменных: на поварне пришлось растерянного повара тряхнуть за шиворот, а ключнице поднести твердый кулак к носу — только тогда оба восчувствовали и захлопотали по-годному.

Усадив наконец кметей за стол с дымящимся варевом, Никита, сухомятью сжевавший кусок материна пирога и уже досадуя, что набольшего над дружиною, Гаврилы Нежатича, все нет и нет, вновь поднялся наверх, в терем, туда, где под стройное пение в ладанном тумане и мерцании свечей бесконечная вереница горожан прощалась с телом великого тысяцкого Москвы.

Ее он увидел еще раз под утро, но, помыслив умом, решил не подходить, лишь, значительно насупивши очи, кивнул ей со стороны, напоминаясь, но не навязывая себя. И сколь ни устал, проведя на ногах и в заботах почти сутки, а вновь колыхнуло в нем смутою плоти: то, как держал ее, теплую, трепещущую, в руках на крутой лестнице... Держал и даже поцеловать бы мог, растерянную, дуром, украдом... И про себя тут же усмехнул. Даже отай не мог, не решился сказать: «Моя будет!» Другое сказалось в уме про самого-то себя: «Залетела ворона в высокие хоромы!» И далеким-далеким прошло напоминание о княжне, полюбившей некогда егового, уже сказочного, уже небылого деда Федора. (А серьги те все лежат в скрыне. Не будь их, позабыл бы давно-тово!) И обида, давешняя, детская, от отцовой остуды — мол, не по себе дерева не ломи; и отчаянная удаль молодости... С той поры поумнела головушка, сам стал понимать, что к чему! Эх! Прав отец! Разве что не забудет до завтрева, и то добро! Да и как с нею, с такою? О чем? И отмахнул головой... В нос плыло ладанное тяжелое облако, трещали и колебались, задыхаясь в спертом воздухе переполненного покоя, свечи. Василий Протасьич лежал уже костистый, темный, чужой. А люди шли и шли, и кто-то плакал негромко, всхлипывая. И оглушенный, поверженный водопадом чужого горя, Никита только тут, вновь и опять, почуял ту давнюю угрозу, что ощутил вчера утром, когда перепавший парень донес ему злую весть.

«Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего...» — пел хор.

Новое шевеление и сдержанная молвь прошелестели по толпе. В терем вступила Александра Вельяминова, супруга Иван Иваныча, вот-вот великая княгиня московская и владимирская тож — ежели Ивана утвердят в Орде. Шла властно и слепо, откинув бухарский плат на плечи, и перед ней расступались, шарахали посторонь. Шла, с глазами, полными невылитых слез; посвечивали розовые жемчуга дорогой кики. И Никита, усмотревши приход княгини, бросился расчищать дорогу.

На всходе давешняя знакомка кинулась к Вельяминовой, ойкнув: «Шура!» — и Александра, готовно всхлипнув, упала в открытые объятия, и так, полуобнявши друг друга, две жонки вступили в столовую палату, где лежал труп великого тысяцкого, отца Александры. От гроба отступили. Даже священник отодвинулся посторонь, открыв ей почернелое, зловеще-неживое трупное лицо, из коего с пугающею быстротою уходили, ушли уже последние искры тепла, того, что в обычном покойнике живет еще под ледяною маскою смерти три дня, в которые он лежит, непогребенный, а родичи — живые, пока еще не перешедшие великий, уравнивающий царя и последнего нищего рубеж, — прощаются с ним. И кто не видал порою, как при звуке голоса любимого ближника, примчавшего на последний погляд, незримо мягчеет в эти три последние дня строгий лик смерти? Но тут, под черною бедою, этого не было. Было тягостное и страшное разложение плоти, и только. И Александра не выдержала, завыла в голос, припав на коленах к ложу отца, и, мотая головою, сцепив зубы, старалась остановить рвущиеся рыдания, замерла было, скрепясь, но тут резкою ознобой подступил к уму и сердцу пугающий, без заступы отцовой, новый нынешний огляд жизни — словно подняли ее ввысь и вот-вот уронят или бросят в ничто, — и молодая княгиня, нежданно поставленная перед престолом власти, сама робея теперь неведомой судьбою Ивана и себя самое, вновь падала, приникая к спасительному ложу, трясясь всем телом, и, стискивая руки, прорывами рыдала, вздрагивая, не в силах унять себя, и вновь крепилась, и вновь начинала реветь навзрыд. А большой терем застыл, застыла стесненная толпа, пережидая горе княгини и дочери. И Никита за дверьми палаты, хмуря чело, взглядывал то в мерцающее свечами, искрами золота и серебра от божницы и драгих облачений нутро покоя, то в настороженную, полную людей тьму сеней, куда долетали сдержанные рыдания княгини над гробом покойного родителя. И, вспоминая, как давешняя знакомка (двоюродная сестра жены Василь Василича, овдовевшая во время мора, как успел выяснить он вновь у прислуги) утешала Александру (как-никак теперь, ежели в в Орде все пойдет ладным побытом, великую княгиню), он уже не понимал даже, как же это осмеливался держать в объятиях и даже подумать о большем с нею? И, вспоминая жестокий взгляд гневного Василь Василича (будущего великого тысяцкого Москвы), его вырезные ноздри, Никита, при всей бесшабашной удали своей, начинал робеть: Василь Василич может и за саблю — недолго у ево! Да ведь и невесть... и не было ничего! В едакой кутерьме... Ну, поддержал бабу... И понимал, нутром понимал, что нет, не все, не прошло, и сам не дозволит, чтобы так прошло, и будет спорить... С судьбою? С самим тысяцким?! И здесь вот становилось страшно — до жаркого поту, до мурашек по спине. Но где-то прорывами, как в тяжком поспешном ходе дождевых туч высверкивает голубизна неба, блазнило, что его теперь связало с семьей Вельяминовых иное, нерасторжимое ничем, кроме смерти, и тогда пьяное счастье — точно на бою, в сшибке, как давеча, когда выбивали хвостовских со княжого двора, — подкатывало к горлу задавленным дуроломным хохотом... Ништо!

Он дождался выхода великой княгини (про себя уже так величал Александру, чуялось почему-то, что усидит Иваныч на владимирском столе) и еще раз показался «ей» и поймал взгляд, не слепой, а благодарный, мимолетный... Но вот Вельяминова с подругой ушли, и как померкло, как надвинулась вновь непогодь. С жарким сдержанным дыханием новые и новые шли бесконечною чередою, поднимаясь по высокой лестнице встречу Никите, а на улице, на дворе уже засинело, и кровли и верха костров городовой стены уже начали зримо отдалять от просвеченного синью легчающего неба — близил рассвет. И сторожевой у крыльца, зябко переведя плечами, с надеждою и страхом заглянул в лицо Никите, вопросив молча: что-то будет теперь? И хмурый Никита, отмотнув головою, ничего не отмолвил кметю. Сам не ведал, удержит ли Василь Василич власть и что будет с ними тогда. И уже бессонная ночь тяжело налегла на плечи, когда узрел в прогале улицы заляпанного грязью гонца, в проблесках утра до синевы бледного. Из Орды? Нет, пожалуй!

Никита рванул вперейму. Гонец, подымая плеть, умученно-повелительно возгласил:

— К Василь Протасьичу!

— Помер! — кратко ответил Никита, осенив себя крестным знамением. У мужика глаза полезли из орбит, стала отваливать челюсть.

— Ты что, откуда? — решительно взял на себя Никита боярскую трудноту.— Я старшой, Федоров Никита, знашь, поди?

— Дак... Василь Василича...

— Счас побегу! Позырь, раззява! Говори, ну!

— Лопасня...

— Чево?!

— Лопасня, рязане... Олег захватил изгоном Лопасню и наших...

— Ты! — Никита вздынул кулаки, оглянул по сторонам.— Молчи, тише! — прошипел, стаскивая с коня. — Грамота где?! — Вспомнив, что воеводою в Лопасне сидел тесть Василь Василича, деловито, негромко уточнил: — От Михайлы Лексаныча грамота?

Гонец помотал головою потерянно, возразил:

— Без грамоты я... Михайло Ляксаныч...

— Ну?!

— Захвачен рязанами...

Никита затейливо и длинно выругался неведомо в чей огород: то ли раззяв-воевод, сдавших Лопасню Олегу, то ли самого боярина Михаила Александровича, то ли князя Олега,— и только тут домекнув, встрепанно воззрился на измотанного гонца. Михайло Лексаныч, тесть Василья Василича, в плену у рязанцев! Стало, теперь Хвосту радость горняя, а Вельяминовым остуда от нового князя, а... она? Ей-то Михал Олексаныч дядя родной, она ж двоюродна... Додумывал, лихорадочно соображая: «Дак тут такое начнется!» И — жаром овеяло, и уже знал, что делать теперь.

Протиснулся назад, в терем, волоча за собою гонца. Опять туда, к ложу смерти, к церковному пению, но уже — живой и о жизни. Пихнув гонца: «Пожди!» — решительно вступил в жоночий покой:

— Госпожа! Выдь на час малый!

Тень улыбки осветила дорогое лицо. Выписная бровь поднята удивленно. С чем другим, с малою заботою какою — дак уже взором этим отодвинула бы посторонь. Но покорилась и вышла и царственно повела шеей, заметив смятенного гонца в сенях. И вот тут, в придверье покоя, склонив голову, но очей не отводя, тихо и твердо повестил:

— Мужайся, госпожа! Дядя твой, Михайло Олексаныч...— И смолк, безотрывно глядючи в недоуменное, чуть надменное лицо. И когда уже ощутила тревогу, домолвил: — Рязане на Лопасню напали!

Охнула, глаза, как подпрыгнув, отворились широко, приоткрылся рот... (Дядя был заступою и обороной сызмлада.)

— Убит?

— Нет, жив. В полон увели!— скороговоркой успокоил Никита и крепко взял за плечи на мгновение (не сумел иначе), повторив:— Мужайся!

Сурово примолвил:

— У Василь Василича слуги верные, от его не отступим, не боись!

Василь Василич будто ждал — почти влетел в покой. Закипели гневом глаза, увидя кметя в неподобающем месте. Никита с суровой усмешкой (еще держа за руку и намеренно не разжав ладони) кивнул головой на гонца в углу горницы:

— Беда, боярин! С Лопасни парень подомчал! Рязане, Олег!

— Чево?.. — Василь Василич водил глазами, еще не понимая, трудно перенося мысль с мелкого, бабьего, о чем подумал давеча, узнав от сенной девки-наушницы, что Никита вызывал вдову, тестеву ближню, на погляд, к тому, крупному, что нежданно свалилось на них, и, не додумывая, не обнимая умом еще всей беды, видя токмо, что старшой неподобно держит боярыню за руку. А Никита, крепче сжав длань (оробевшая, она пыталась тихонько вытащить узкую ладонь из его хватких пальцев), повторял настойчиво и строго, поигрывая бровями:

— Лопасня взята рязанами, слышь, Василь Василич, и тесть твой, Михал Олексаныч, в полон угодил! — И потому, что узрел: все еще не понимает Василь Василич совершившегося, добавил почти грубо: — Нам беда, хвостовским радость!

Тут только Василь Василич понял наконец. Вцепился в гонца, встряхнул, будто тот был виноват в нятьи тестя:

— Сказывай!

И Никита тут только, пожав напоследи пальцы, отпустил ее руку и вполшепота, скороговоркой:

— В горе ли, в радости, кликни только, прикажи — умру, не воздохну!

И новый ее взор, уже тревожный, недоуменный, но не давешний, поймал, прежде чем она, закусив губы, исчезла из покоя.

Никита, раздувая ноздри и подрагивая бровью, пождал неколико, пока Василий Василич, утишая сердце, тряс и выспрашивал гонца, потом, переняв измученного дорогой и страхом кметя, легонько торнул в затылок:

— На поварню ступай, накормят, да не трепли языком, тово!

И, выпроводивши, поворотил решительно к Вельяминову. Василь Василич был страшен. Вот от такого от него шарахали кони и кмети прикрывали глаза от ужаса. Но Никита сейчас играл по крупной, едва ли не голову ставил на кон, и не боялся боярина совсем. Ткнувши в сумасшедший, побелевший взгляд, дабы враз, как останавливают взыгравшего жеребца, укротить боярина, выдохнул:

— Тысяцкое замогут отобрать! — И глянул строго. И Василий Василич затрепетал, истаивая гневом и ужасом, ибо понял, что Никита бает правду. — Скажут, в сговоре были с Олегом!

— Молчи! — вскинулся было Василь Василич, но Никита лишь повел головою:

— Наталье Никитишне даве баял и тебе скажу: вернее меня нету у тя слуг, боярин! Думай, думать много надо теперь! Велишь — поскачу в Рязань. Чаю, за выкуп — отдадут. А уже серебра считать не придет нам! И Лопасню мочно ли будет забрать у их — невесть! Олег, люди бают, хоть и млад, суров зело!

— Заберем, — просипел Василь Василич, коего лик пошел бурыми пятнами. («Не хватил бы удар боярина! — всерьез подумал Никита. — Уж сорвал бы гнев на чем, што ль!»)

Василь Василич беззвучно жевал ртом, сумасшедше глядя на Никиту, слова удушьем застряли в горле, наконец изо всех сил двинул кулаком по тесовой стене покоя, и еще двинул, и еще... Кровь показалась на кулаке.

«Добро, боярин! — сказал про себя Никита, следя, как Василь Василич осаживает сам себя. — Добро! Учись! И на тебя будет набольший! Учись и себя держать в узде, а не то не быть тебе тысяцким!» И думал, и усмехался, и любовал боярином. По тому самому, верно, что и он в гневе мог так вот трясти кого за грудки, любил и понимал Василь Василича. Свой был боярин, хоть и мог в гневе насмерть зарубить, все мог, а все одно был свой, ближний, понятный Никите.

Наконец Василь Василич почуял боль в пальцах и поднял на своего молодшего обрезанный, мигом просквозивший беззащитностью взор. Хрипло, все еще не справясь с голосом, вопросил:

— В Рязань, говоришь? Дак и серебра не собрано, и князь...

— До князя надобно! — подсказал Никита, понявши, что давешнее, со свестью боярской, то, с чем Василь Василич вбежал было в покой, уже прочно ушло из сознания боярина, заменясь суровою днешней бедой.

— Гонца...— начал было Василь Василич, но Никита махнул рукою:

— Все одно к пабедью вся Москва будет знать, уже и сейчас, поди, языки чешут... — И с легкой усмешкою досказал: — Гонца перенять мочно, а Лопасню куда денем?

И Василий Василич, укрощенный, повесил голову. Слишком многое свалилось на него враз со смертью родителя.

Скрипнула дверь, в покой протиснулись, чуя беду, братья Василь Василича — Федор Воронец с Тимофеем, а чуть позже просунулся боком и младший, Юрий Грунка, за коим вслед, никем не званные, пробрались старшие дети Василь Василича, рослый Иван и Микула, который держался за руку брата. Видимо, Наталья Никитишна уже повестила домашних о свалившейся на них беде. Все рослые, кормленые, в дорогой сряде, Вельяминовы разом наполнили собою тесный покой, и Никита, отступив к стене, уже подумывал, как бы скорее исчезнуть с этого нежданного семейного совета. На него взглядывали рассеянно. Утренний бледный свет разгорался в окошке, разливаясь по невыспанным лицам, бледным в свете зари, настороженным глазам.

— Лопасня взята! — негромко вымолвил Василь Василич, подымая голову. — И наместника, тестя нашего, Михаил Алексаныча, в полон увели.

Полвека тому назад двое бояринов рязанских, Александр и Петр Босоволк, изменив своему господину, схватили на бою рязанского князя Константина и выдали Даниле Александровичу, деду нынешних московских князей. Оба получили волости и места в думе московской.

Много воды утекло с той поры! Петр Босоволк при князе Юрии, рассчитывая получить тысяцкое под Протасием, решился убить полоненного рязанского князя, от какового зла боярин Александр благоразумно себя устранил, и пролитая кровь развела прежних друзей.

Дети наследовали судьбы и характеры отцов. Михайло Александрович спокойно, ни с кем не споря, вошел в ряды московских думцев, породнился с родом Протасия, отдав дочку за Василия Васильича, старшего внука властительного тысяцкого князя Данилы, и теперь судьбы Вельяминовых стали для него, почитай, своими. А сын Петра Босоволка, Алексей Петрович Хвост, унаследовав беспокойную породу родителя, спорил вослед отцу за место тысяцкого на Москве, попадал в остуду при князе Симеоне, попадал и в честь: сватом великого князя ездил с Кобылою в Тверь, по Марью Александровну, нынешнюю вдовствующую великую княгиню, падал и возникал вновь, терял и вновь получал чины, села и волости и теперь, на шестом десятке лет, был, кажется, ближе всего к своей давней мечте. Уже он поднял на ноги весь двор князя Ивана («Выдвигайте меня, дурни! Не то и при великом князе оставят вас Вельяминовы назади!»). Уже и новонаходный народ рязанский взострил посулами и дарами и теперь объезжал и обаживал великих бояринов московских, на кого только была надея, хоть малая. И вот сидел в тереме Ивана Акинфова, не поминая о прошлой остуде, вновь подбивал его противустать власти Вельяминовых. Злая весть о падении Лопасни и оплошке Михайлы Алексаныча, угодившего в лапы Олегу, прилетевшая в одно со смертью Василья Протасьича (вроде и нету набольшего-то никого теперь, кроме меня!), пришла ему весьма кстати. Только что радовать налично неудобно казало: не оскорбить бы тем

кого из думцев невзначай — все ведь осрамились перед рязанами! С Вельяминовыми со своими старою славой живут, а как до дела дошло — и нетушки!

Иван Акинфич слушал гостя, горюнясь. Верно, что без князева догляду раздробилось все, измельчало, как-то вдруг и разом исшаяло на Москве. И полков не соберешь, и бояре поврозь! А все ж таки... Он мигнул слуге, холоп проворно налил опорожненную чару знатному гостю, сам подвинул Алексею Петровичу печеного тетерева (Петров пост только что минул, можно было побаловать себя и боровою дичинкой). Не в пору, не вовремя Протасьича свалило, не след бы ему... И-эх! Василий-то горяч излиха, да и молод, тово! А Иван-князь Хвосту и допрежь мирволил, оно так... да... Но ведь княгиня-то и сама Вельяминова! Чья сила теперь? Кого поддержать, да чтобы не прогадать, не залететь в остуду на старости лет?

Об этом и думал сейчас, понурясь, великий боярин московский, Иван Акинфич, следя скоса за гостем, коего принимал ныне у себя и обихаживал так, как еще немного месяцев назад не стал бы его ни принимать, ни обихаживать.

Алексей Петрович сидел большой, рассерженный, гневный, сидел воскресшей бедою, а Акинфич нынче, после нужной и скорой смерти брата Федора (брат помер черною смертью в исходе зимы), круто почуявший уже тягостное склонение лет, все гадал, как поворотит, и что поворотить оно очень даже могло! Рязанских нагнало на Москву тучей. Тут земля оскудела от мора, а те осильнели. Опять — дума Ивана Иваныча... Теперича все они к власти рвутце... Как бы не прогадать, тово!

Много ли лет прошло с той поры, когда так же сидел Хвост в еговом терему, похожий на сердитого шмеля, запутавшегося в траве, а он, Иван Акинфич, обхаживал гостя, сплавляя куда подале. Тогда сила была не на его стороне. Князь Симеон Иваныч круто забирал — и забрал! И держал! И как держал-то! А вот десяток летов с небольшим (и сколь содеяно за те годы!) — и нету, нету Симеон Иваныча, уже нет! И неведомо, как у Чанибека повернет! И суздальский князь голову поднял, и новогородцы-ти... И вот теперича рязане экую пакость сотворили! Лопасню! Торговый город на путях к Брянску, дорогой город! И им, москвичам, и рязанам... Так-то повестить, стойно Коломны, рязанский город Лопасня, дак ить... Кто силен, тот и прав! О-хо-хо! Симеон Иваныч не допустил бы, не допустил, не отдал... А без ево и все врозь! И князя нетути, и владыки Алексия! Экая пакость, прости господи!

Оба понимали, конечно, почему Хвост сидит, забывши прежнюю обиду, за этим столом. Ибо и сын Акинфа Великого, когда-то убитого московитами под Переяславлем, полуизменивший Юрию, переманенный из Твери Иваном Калитой (нет-нет да и вспомнят, что тверской, что не свой, природный, не московит! Нет-нет да и вспомнят, да и перевертнем назовут в недобрый час!), Иван Акинфов, хоть и потишел и пообвык, не был, не мог быть другом Вельяминовых.

Говорили о том же, о чем нынче судачила вся Москва: о взятии Лопасни Олегом и о том, что наместник Михайло Алексаныч, тесть Вельяминовых, не токмо сдал город Олегу, но и позорно сам попал в полон к рязанам и теперь сидит в крепком нятьи в Переяславле рязанском. Вельяминовы, слышно, посылали уже и с выкупом, но Олег требует признать захваченную Лопасню своею, и приходит сожидать князя из Орды.

— Поди, сами и подговорили ево! — ворчливо льет ядовитую напраслину Алексей Петрович.

— Ну, самим-то зачем? — останавливает было Иван.

— Зачем?! — гневно вскипает Алексей Петрович. — Да оченно просто! Михайле отцовы рязански вотчины получить — ето раз! Покойному Андрею напакостить — два! Скажут, вдова да сосунок не удержали, мол, волости. То, се — великому князю передать надобно пол-удела, а уж сами Вельяминовы попользуютце тем куском того боле! А може, ищо каку измену учудили... У их тут... — Он не докончил, фыркнул, зыркнул глазом на Акинфича.

Пыхая ратным духом, заново переживая обиду свою на то, что и нынче одолели еговых молодцов вельяминовские, Хвост нес на молодого супротивника сейчас подобное с неподобным. Кричал:

— Словно великий князь на Москве! Батько помер, кто ноне тысяцкой? — гневно прошал Хвост. — Пошто власть забрали под себя? И князь не во князя им!

— Василий Василич мыслит во отца место! — осторожно отмолвил Иван.

— Щенок он передо мной, вота што! — рычал Алексей Петрович. — Токмо не восхотел рати на Москве, не то бы...

— Рати не надобе на Москве! — возражал, покачивая головою, Иван Акинфич. — Спешишь, Алексей Петрович, все спешишь! Ты ить тоже не тысяцкой пока!

Сын Ивана Акинфова, Андрей, седатый (боярин давно уже!), вступил в горницу. Отдал поклон гостю. Переглянул с родителем. Иван с душевным облегчением встретил старшего своего, сказал сыну и гостю, обоим:

— Вельяминовы великую власть забрали, а токмо решать о том не нам!

— А кому?! — взревел Алексей Хвост.

— Москве! — без робости, так же сурово, отозвался Андрей. — И князю великому! Пошли, Господи, удачи Ивану у Чанибека-царя!

— Вишь, Алексей Петрович, — обрадованно подхватил Иван Акинфич, — великий князь токмо и волен поставить тебя в Вельяминовых место!

— И владыка! — докончил Андрей. — Слать надобно грамоты тому и другому. А в Лопасне, не гневай, Андрей Петрович, — отнесся Андрей Иваныч к гостю, — не одни Вельяминовы в вине, все мы в той беде виноваты! И ты, Петрович, тож: раскоторовали, рати распустили, не было кому подомчать с помогой, ан грех и произошел! При Симеоне Иваныче так ли берегли порубежье?.. Я, отец, с иной вестью к тебе. Ольгерд рати поднял. Из Брянска гонец подомчал!

Все трое замолкли под новой бедой. Алексей Петрович, ударив по колену, воскликнул:

— Опять Вельяминовы!

— Да... как? — растерялся даже Иван Акинфов.

— Как? По завещанию все волости великого князя, весь удел — вдове, Марье Александровне, тверянке! Дак как тут крепить полки да сторожу слать, с каких животов? — Алексей Петрович привирал и сам знал, что привирает, но... не он один желал, чтобы служебные Симеоновы волости перешли в руки ежели не свои, то, по крайности, великокняжеские.

Вылезли еще трое ближних бояринов, созванных Иваном для-ради Хвоста. Речь пошла злая, о главном, как показалось теперь, о князевом завещании, порушить которое Вельяминовы не соглашались никак (берегли память Симеона). И как тут отобрать, как поладить? Без тысяцкого такого дела немочно было поворотить никому, а Хвост сам предлагал...

— А ты возможешь?— сурово вопросил Иван, разумея Симеоново завещание.

— С етого и начну! —твердо отмолвил Хвост.

— Тогда... — озирая полудневшую горницу и просительно глянув в глаза сыну, протянул Иван Акинфов, но Андрей, супясь, смолчал. («Навряд Вельяминовы отступят от вдовы Симеона!» — подумалось.) — А тогда... (На нехорошее дело такое и человек надобен экой... как Хвост.) — Тяжело поглядел на гостя хозяин и приговорил-припечатал:— Тогда... Поможем! Токмо — думою штоб!

Ничего уже не хотел Иван Акинфов, кроме покоя и вотчин своих. Но для вотчин, для покою, для седатого сына и внуков надобно было держать руку сильного. И потому он ныне, сам не очень и желая того, предавал род Вельяминовых. Ежели бы хотя Андрей Иваныч остался жив! Но из троих сыновей Калиты в живых остался один лишь Иван Красный, женатый, однако же, на дочери Вельяминова! И как повернет боярская пря, что совершит еще в московском княжении и с московским княжением — было неведомо.

Олег ехал, легко приотпустив поводья. Атласная шкура коня переливалась на солнце. Тугими складками ходили мускулы, когда конь упруго сгибал шею, вполглаза, искоса взглядывая на седока. Солнце с ощутимою тяжестью палило горячую сытую землю. Горячий ветер клонил долу хлеба, и по ним перекатывались такие же, как по холке коня, тугие блестящие волны зноя и света, земной, горячей, налитой солнцем полноты.

Он был счастлив. Позади осталась взятая им, разгромленная и заново укрепленная Лопасня, древний рязанский пригород, отбитый им наконец у жадных москвичей. Город, стоивший Коломны. Город, который он теперь никому не отдаст! И с этою победой пришло, снизошло на него возмужание. Доселе все были мелкие ратные стычки, почти мальчишество, в коих токмо и проверялась юношеская удаль молодого пронского и рязанского князя. Давний, губивший рязанскую землю спор городов и рек — Прони и Оки, Пронска и Рязани, Пронска и Переславля рязанского — счастливо завершен нужною смертью беспокойного убийцы Ивана Коротопола и последующим объединением земли, в которой по праву наследования стал он теперь князем. Будет еще пря и с Москвою, и с Ольгердом, будет кого укрощать и в самой рязанской земле, и вечно будет грозить степное порубежье, но теперь, от дубовых стен Лопасни, путь его прям и смел: возвеличить Рязань! Собрать, подчинить, возвысить эту богатую и несчастливую, исстрадавшуюся землю! Землю, где было все: и братоубийственная рознь князей, и предательства (полоненный московский боярин Михайло Александрыч должен будет заплатить за давнюю измену отца, за удавленного князя Константина, захваченную Коломну, за все!). Землю, которую зорили и татары, и владимирские князья, землю, которую еще князь Всеволод «сотворял пусту», где что ни год, то поход, где грубость ратная привычна и не тяжка, а древнее черниговское рыцарство все еще светит, пробиваясь сквозь разор и смуты, высоким речением украшенных словес, сумасшедшею удалью и гордостью княжеской. Просторами и ширью, раскидистою красою дубрав, густыми хлебами богата и славна земля рязанская!

Он снисходительно взглядывает на кметей, что стремглав слетают на конях с головокружительной кручи к слепительной, голубо-парчовой излуке Оки и с хохотом, слышным даже отсюдова, скинув верхнее платье и сапоги, кидаются в прохладные струи, подымая тучи серебряных брызг, снисходительно слушает грубую речь и наивные похвальбы победителей, молчит, слегка раздувая ноздри, вознесенный и отделенный ото всех свершившеюся победой. Чуть улыбается краем губ, словами старинной повести, про себя, любуя удалью своих кметей: «Удальцы и резвецы, узорочие и воспитание рязанское!»

Ворот у князя распахнут, боевая кольчуга, в которой он мыслит победителем въехать в Рязань, сейчас приторочена к седлу. Прежде, до Лопасни, не задумался бы искупаться в Оке наравне с кметями, а теперь, когда новая, непривычная еще властность прилила к нему, властность князя и победителя, он медлит, не ведая, как ему в этом малом деле достойно поступить. Наконец, усмотрев пологий спуск, сам шагом подъезжает к реке. Стремянный, бояре, кмети, все — рядом, все наперебой предлагают свои услуги. Один держит стремя, другой почтительно принимает из рук княжескую пропыленную и влажную от пота ферязь.

— Сюда, княже! — кричат ему ратные, и Олег, откинув последние колебания, освобождается от рубахи, забелев на солнце мускулистым подбористым телом, и решительно кидается в сверкающую упоительную воду, выныривает и крупными саженками плывет вкось, супротив течения, чуя, как ласкает и гладит горячее тело прогретая солнцем река.

На берегу ему подают свежую рубаху. Холоп, присев на одно колено, быстро заматывает ему ноги в сухие онучи, заботно подвязывает ремешками узорчатые княжеские кожаные поршни. Конь, тоже выкупанный, фыркает, встряхивается, рассыпая облако

мелких брызг, играя, перебирает копытами. И по тому, как седлают коня, как заботливо укрепляют праздничную чешму на груди скакуна, Олег чует, видит все то ж: новое, рожденное после Лопасни и Лопаснею почтение к нему кметей, бояр и служилой чади.

Он вздымает в седло, едва тронув стремя. Молодой, с первым пухом на щеках и подбородке, великий рязанский князь, самый значительный из владык рязанской земли, с княжением коего она поднимется так высоко, как только могла, означив еще одну утраченную историей возможность: стать столицею новой Руси; поднимется, столкнувшись с подымающейся и уже заматеревшей Москвою, и с ним же, с Олегом, окончит путь своей воскресшей и прерванной славы...

Какие события определяют время? И какие идут вперекор, супротив времени своего?

Если бы Рязань не разорялась непрерывными набегами степи, если бы у Олега было больше сил и срока жизни, если бы не подымалась неодолимо Москва, перенявшая старое наследие Владимирской Руси, — быть может, великая Рязань и состоялась бы!

Но и то скажем: есть эпохи событий, и далеко не все понимают, что события не возникают сами собой, и им предшествуют эпохи подготовки событий, оказывающиеся порою более важными, более трудными и даже более доблестными. Невесть, состоялась бы Москва, ежели Калита с Симеоном не добились стольких лет покоя земле, избавив страну от блеска побед и от разора победных усилий. А к той поре, когда ветер времени, закручиваясь воронкою, уже достиг Орды, и сорвалось, и пошло, и возникла пора дел, Москва имела больше за спиною накопленных сил: людей, зажитка (ибо война дорога), а главное, духовного права стоять во главе. Ибо, ежели в Рязани и подготовлялся свой духовный подъем, то осознавался он только как свое, рязанское дело, и не было тут общего, общенационального замысла. А великое всегда шире, чем свое. И политики, страны, народы, ставящие перед собою одну сиюминутную злобу дня или одну цель замкнутого в себе, особного существования, выигрывая сперва, неизбежно проигрывают потом, ибо забота о себе токмо, замыкание в своем, ограниченном и рождает ограниченность, а с нею — разброд и раздоры при первых же успехах. Да без отречения и невозможен прочный успех! Хоть отречение и губительно для тех, кто жертвует собою. И ключевым в эпоху ту оказалось то, что стояло за Москвою, медленно и трудно прорезываясь и восставая в тишине и укромности, о чем Сергий хлопотал в лесах и чего Алексий добивался в Константинополе. Ковалось, закладывалось, подходило время духовного подвига, и Олегу еще предстояло столкнуться с этою силой, столкнуться и уступить ей. Но это — повесть иных времен. Пока же казалось и было — стремительное одоление на враги, и вставала Рязань, и ширила радость, и плыл конь, и плыли строки древней величавой повести, читанной отроком: «О, Бояне, соловию старого времени! Абы ты сия полки ущекотал, скача славию по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрез поля на горы!»

И было легко! И Мирослав был горд, воевода. Ему, его замыслу обязан был Олег тем, что так просто взяли город и полонили московского наместника. И радовались старые бояре отцовы, углядевшие трудноту московита, почему и решился нынешний поход. Ибо суздальский князь тоже поехал хлопотать о ярлыке, и новогородцы помчали в Орду хлопотать за суздальского князя, и мор, унесший пол-Москвы, унес, казалось, всех, кто мог и умел держать власть, вкупе с Симеоном и его братом Андреем. А Иван? Даст ли еще Джанибек ему великий стол? И даже ежели даст — Рязань не подвластна владимирскому великому князю! И даже митрополит будет ли еще сидеть на Ивановом уделе? По слухам, тверичи послали своего ставленника, Романа, вперебой московиту Алексию. А теперь еще, доносят, котора в боярах началась на Москве... Нет, с севера беды не будет! От Орды — тоже. Тревожил, подбираясь к Северским княжествам, пока лишь Ольгерд.

Рыцарство сверкало гордым юным задором. Сверкало оружие. Ходко шли отдохнувшие кони. Мимо рощ и дубрав, мимо спеющих хлебов, и ничто не сулило беды на ратном пути молодого рязанского князя.

К Петрову дню стало ясно, что войны не будет. Подходил покос. Покосной порою, уже, почитай, в исходе мора, когда Никита с Услюмом были оба в деревне под Звенигородом, дошла переданная через соседей весть, что не стало отца. Мишук, нынешний старец Мисаил, возвращался с монастырским обозом с Пахры, где-то там его и зацепило дорогою. Привезли чуть живого. Весть приползла поздно, все, кто имел руки, были в эти дни в полях, и братья, понимая, что уже не застанут отца в живых — черная никому еще не давала лишнего сроку, — торопливо сметали в омет сухое сено (не под дождь оставлять!) и, оседлав коней, горячие, устремили в Москву.

Дома встретила рыдающая мать. Отца, и верно, как повестила она сынам, уже схоронили в одной из заранее отрытых монастырских могил. Наскоро перекусив и покормив коней, оба поскакали к Богоявлению.

Услюм зарыдал, узрев новую, не обсохшую еще могилу над прахом отца, а Никита стоял, свесив обнаженную голову, теплый ветерок ласково ерошил волосы, точно в детстве отцова рука, — стоял и думал...

Отец, даже уйдя в монахи, держал семью. Только теперь, по смерти родителя, это и понял. Чего-то важного не узнал у него, не спросил, что-то чуял батька, неведомое покамест ему, Никите... Теплый ветер. Облака. Свежая могила в ограде среди прочих, тоже свежих еще могил. Крест. Кончившаяся жизнь. Недоспрошено про деда Федора, и чего не знал (а как мало знал!), так и осталось... И слез не было, только сиротство до звона в ушах. Высокая пустота, облака, даль.. И нет дома, ничего нет! Все брошено, и все еще там, впереди!

Справили торопливые малолюдные поминки. Ни-

кита ел кутью и студень, не глядя на мать, жалостно и робко заглядывавшую в очи старшему сыну. Ел и думал, и звоном в ушах отдавало нынешнее заботное одиночество.

Покос поджимал, и братья тою же ночью поехали назад. Никита молчал всю дорогу. Молчал и назавтра, когда, не передохнув с пути, оба, распояской, пошли с горбушами валить траву.

Откосившись — одно налезало на другое, — парили пары. Уже когда черная земля лежала готовой и целая стая галок дралась и копошилась в бороздах, Никита, лежа рядом с Услюмом на сухом бугре и покусывая травинку, лениво выговорил:

— Доправишь сам! На жатву матку вези и баб наймуй!

Услюм не понял сперва, озабоченный не столько тем, что говорит Никита (служба есть служба), сколько новым, чужим голосом брата.

— Може... жать-то...— нерешительно начал он.

Никита перекатил голову, ощутив щекотную сухость колючей травы.

— Ты ето, бери себе всю землю ту... Я грамоту поделаю на тебя, а то словно ты на меня работаешь... Недосуг мне!

Услюм аж вскинулся, испуганный, ничего толком не понимая. Никита нехотя глянул и отвел глаза. Как ему объяснить? Не любовь к брату подвигла его на нынешнее решенье и не ненависть к хозяйству, ненависти не было тоже... А было, скорее, безразличие... Услюм отрывался, уходил от него в хозяйство, в крестьянскую жизнь, а нужна ли она ему, Никите? Он перекатился на живот. Забытая изжеванная травинка висела у него на губе.

— Бери землю! Не одюжить мне, понимашь? И охоты нет! — настойчиво повторил он.

Перед жатвою Никита уехал в Москву.

Ее он видел теперь только урывками. Редко за глаза звал по имени — Натальей Никитишной, а все боле — так нравилось и большею горечью счастья светило душе — «своею княжной». И уже не пораз примеривал ей мысленно те золотые княжеские серьги, два невесомых крохотных солнца. Иного дара, достойного ее, не было у него, грубого ратника, пропахшего дымом молодечной и потом коня. И будто ушли, отвалили сумасшедшие дни смерти и вспыхнувшей радугой любви. Прошли безумие, жар и надежда на скорое свершение желаний. Минуло — и, дожив до тридцати, все парнем был и держался парнем, а тут повзрослел, ожесточел — разом перешло на мужество. В считанные недели — годы бешеной скачью коней пронесли. И окреп. И знал теперь: не отступит. И она знала, поняла — такое передается, — молча постигла, почуяла и оробела вдруг. И вчера еще поймал взгляд ее — смятенный, недоумевающий...

«Беды бы какой! Развалило вельяминовские хоромы, и стала бы своя, со мною...» — подумал с холодною жесточью сердца... Не было нужной беды, была тягота, бестолочь, боярские пересуды — все мимо! Ему-то, ему что до их всех?

Осень уже вступала в свои права. Лист желтел, и хлеб был сжат, с полей возили последние снопы. Услюму он — нашел время — выправил грамоту. И как прояснел, как зарозовел брат, ставший нежданно для себя хозяином ихнего поля! Никите хотелось самому скорей обрезать все, чтобы уж и не стало дороги назад!

Нынче, в который раз, направляли его в Рязань. Михал Лексаныча держали в крепком нятьи, поминая ему полувековой давности отцову измену, и пока не собирались выпускать. Никита ехал один, с грамотами. «Стойно деду! — пошутил-подумал. — Тот-то был, кажись, гонцом у князя свово!»

Где-то под Бяконтовым селом, остановясь на дневку, Никита стреножил коня, пустив на лужок в сосновой рощице, на отаву, а сам повалился на сухой склон, на колкий, пересыпанный сосновыми иглами черничник, навзничь, глядючи в небеса, и горечь осени, словно сиротливый крик улетающих птиц, вдруг незнакомою болью проникла ему в сердце.

Заметут снега, будут девки сбираться на супрядки, Услюм повезет лес на новую клеть. Будет Рождество, пойдут ряженые в личинах по Москве. Свадебные сани под коврами, кони в жаркой, медью украшенной сбруе, в лентах с посвистом и радостным визгом девок полетят вдоль улиц. Кончится год, и в марте начнется новый. Услюм будет ладить соху, оттягивать в кузне сошники, готовить загодя косы, чинить телегу, обтянет дубовые колеса новым железом. В апреле начнут пахать, и Услюм пойдет, похожий в тот час на покойного родителя-батюшку, крепко сжимая рукояти сохи, и первая крошащаяся черная борозда проляжет вослед пахарю и коню. А в мае, десятого, начнут сеять, и Услюм, разувшись, босиком, впервые один, без него, Никиты, пойдет с полным пестерем на шее, разбрасывая тугими полукружьями семенное зерно. И, верно, жонку пошлет с бороною-суковаткой следом, чтоб не выклевали семени жадные грачи. Будет сеять яровое, жито, ячмень, после овес и горох. Жена — и матку припрягут — станет сажать огороды: капусту, редьку, лук и морковь, будет, набирая в рот, расплевывать мелкое репяное семя там, по-за баней, на репяном поле. И гречиху посеют без него...

С Петровок начнется покос... Ну, на покос, може, и подомчу, подмогу! Поставят высокие пахучие стога. Услюм станет парить пары, а двадцатого июля начнут жать зимовую рожь. Главная тут страда деревенская! А с начала августа уже сеют рожь новыми семенами и убирают яровое до сентября. И хватает — почти не спавши! — на хохот, на песни, на веселые празднества зажинок, отжинок и первого снопа. А в сентябре уже убирать огороды, и к первому октября на чистых осенних полях расстилают льны. И зимою бабы сядут трепать, золить, прясть, сновать и ткать.

А Услюм? Услюм опять повезет лес или пойдет с обозом. И так весь свой век. Всю жизнь? Нет, много жизней, века за веками! Вечно будет Услюм, немногословный и старательный, переживши черную смерть, разоры, войны и прочие многоразличные беды, пахать землю, рубить (и беречь!) лес, сажать

яблони, зимою топить печи жгутами соломы и льняною костерькой, и будет поле отдыхать под паром, и лес будет расти все в той же вечной версте от околицы и никуда не отступит, и в тот же березняк будут ходить девки веснами завивать венки, а старухи летом — вязать веники, и березняк будет стоять нерушимо.

И Услюм остареет, и оставит детей, и навряд который из них захочет, как он, Никита, иной жизни! А ему все это и родное, да не свое! И всегда хотел большего. Большего ли? Скорее — иного! Чем краше заплеванная молодечная, брань, и тычки, и чад, и грубый хохот дружины? К чему и куда тянет его самого? Почему он теперь отверг ту, вечную, идущую по знакомому кругу жизнь и рвется невесть куда — в хоромы ли боярские, в бой ли, в дорогу? И эта пристигшая его, точно черная смерть, любовь не пото ли прильнула к сердцу, что простого и ясного мало смятенной душе?! Что все блазнит дорога и свершения там, впереди, за синим окоемом лесных незнакомых далей, куда конь не доскачет и только облака доплывут, нет ли? И куда-то вверх, вровень ли с Василь Василичем, в костер, на плаху ли — все одно! Нет, Услюм! Не гадай, что дарил тебя от щедрой души. Душа просит воли! Хотел себя освободить для иного — иной беды, иной судьбы и удачи иной! И она — будь посадскою жонкой соседской — нужна ли была бы тебе? Эх, Никита!

Зло усмехнув, воспомнил, как намедни в терему боярском при его приходе говорили-баяли с учителем своим Василь Василича сыны. И ученый поп объяснял им, что земля — она круглая, как яйцо, и сколь до неба над нами, столь и под нами, со всех сторон. И вся она, с лесами, горами и водами, летает в аэре, яко некое перо, ничем не держась, окруженная воздухом, как яйцо скорлупой. А он стоял, слушал, мало что понимая, дурак дураком, и все гадал: как же люди не падают с той-то стороны, с оборота земного? Или, ежели сказать, ночь настанет, дак мы головой вниз висим? От солнышка-то? Дак опосле того сказанья ночью и глянуть страшно было на звезды! Ну как оторвет от земли и улетишь в ничто! И другояко подумал тогда же: а ну как и она ведает такое всякое мудреное? Наслышалась всего в терему вельяминовском! А он перед нею станет — с чем? С шутками солеными из молодечной да со знатьем того, как бабе подол повыше задрать! Вот и деда, верно... Полюбились там, нет ли, ну подарила сережки свои ему, а дальше-то што? И воротил восвояси! И ему, верно, придет на рати ли за нее пасть али от Василь Василича принять истому смертную, и не знай, помянет ли опосле когда?

Крепко сцепив зубы, Никита зажмуривает глаза и со стоном перекатывает голову по колкому ложу своему. И две слезинки, стыдные для него, мужика, просверкивают в уголках зажмуренных глаз, на челе, обращенном к небу, по которому плывут холодные, навестием осени, высокие облака. И совсем не ведает гонец вельяминовский, что в эти вот миги высокого отречения и становится он достойным своей любви.

II

В ОБИТЕЛИ

Проходит, скатывает назад, в степи, черная смерть, оставив за собою обезлюженные города и вымершие деревни. Серебристый снег, косо и вьюжно проносясь над землею, засыпает сиренево-синие немые поля и острова леса, вздымает сугробы у околиц утонувших в зимнем серебре селений, кружит и вьется над дымниками бревенчатых истобок и соломенными кровлями клетей, где живые, собрав урожай, посеянный мертвыми, греют себя в дымном тепле курных хоромин, жгут лучины, прядут или ладят утварь, чинят сбрую и иной, надобный в хозяйстве припас, шьют и тачают сапоги, задают корм скотине, своей и чужой, собранной по вымершим починкам, и вновь сказывают сказки и песни поют, ибо смерть прошла и жизнь опять набирает силу свою — в мычании сытой скотины, в тугих животах баб, уцелевших от чумы и уже беременных, в хозяйственной уверенности уцелевших от мора мужиков, что сейчас, в сутемнях, выводят запряженных коней, готовясь еще до зари возить дрова и сено или лес для новых, измысленных по осени хором, и, уверенно щурясь в серо-синюю тьму, крякают, туже заматывая тканный жонкою узорный пояс и укрепляя в дровнях сточенный, на ладном топорище, потемнелом и отполированном жесткою дланью древодели и земледельца, навычный к руке и работе, кованный в три, а то и в пять слоев закаленного металла рабочий топор.

Забившиеся было в глушь на дальние росчисти мужики присматривают уже теперь себе выморочные пустоши: пахано, дак как не обиходить по весне?! Подростки изо всех силенок тянут за старшими в доме. Неопытными еще руками от зари до зари гнут полозья, тешут доски, плетут короба, мнут кожи, узорят сбрую, расцветая от каждой невзначай брошенной стариком дедом похвалы. Неутомимо, почти круглыми сутками, летают трепала в руках девок, пляшут веретена, со скрипом поворачиваются просторные воробы, стучат уже кое-где и ткацкие станки, упреждая общую для всех пору великого поста. Скотины, своей и чужой, ныне много. В достатке хлеб. И потому спешно правят свадьбы — рабочие руки дороги по нынешней поре! Мор отошел, досыти ополонясь трупами, и уже только отдельные неживые деревни с охолодалыми, расхристанными клетями погибших хором напоминают о сбавленной народом, протекшей над страною беде.

Укрытая милосердными снегами владимирская земля отдыхает в недолгой уже тишине вырванных у жестокого времени мирных лет. Земля еще не ведает, не провидит грядущих испытаний своих, и тот, кто окажет в средостении грозных событий, кто будет духовно съединять силы страны, пока еще тоже не ведает сужденной ему провидением великой судьбы. Вернее — не заботит о ней.

И ежели было бы мочно сверху обозреть холмистый, в богатой шубе лесов, рассеченный белыми недвижимыми по зиме струями рек край в тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раски-

данными там и сям росчистями, неотличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот, — то не враз и возможно бы было увидеть махонькую, убеленную инеем церковушку на лесистой горе Маковец, верстах в пятнадцати от городка Радонежа и в стольких же поприщах от Хотькова монастыря. Не вдруг увидеть и крохотный скит, оградку да горсть келий, тем паче теперь, в ночную пору, когда мерно покачивают головами высокие ели да сыплет и сыплет звездчатый пуховый снег и когда, лишь низко-понизку приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за зубчатою оградой леса и переяславская дорога, и дымки остатнего далекого селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами следы полузасыпанного снегом человечьего житья, в коем не замычит корова, не протопочет глухо конь, не заплачет спросонок дитя, только ветер проходит над кровлями да глухо ропщет лес, и разве чуть осеребрит изнутри ледяное оконце тусклым светом лампадного пламени в келейке, срубленной в одно с хижиною, где замер сейчас между сном и явью отчитавший ночные часы молодой монах, унесясь мечтою к давно погибшим людям и временам.

Прошлое, совершавшееся некогда с ним и вокруг него, проходит сейчас пред мысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесен он теперь по аэру на крыльях морозного ветра.

Он подымает голову, глядит во тьму. По-прежнему воет ветер, приходя из далеких времен, и мнится, это все тот же ветер прежних суровых лет, которые могут и повторить, могут и вновь явить себя на Руси.

Он не много прочел в своей жизни, достигнув возраста Христа — возраста зрелости, того возраста, начатка четвертого десятка лет, когда все силы души и тела получают полное свое выражение, возраста зрелого творчества, возраста мужества и свершений, — прочел немногое, но умел делать почти все, и потому понятое им было понято прочно, как ладно срубленный угол избы, как толково сработанные сани или любое другое рукомесленное орудие. Ибо и понимал он в работе и через работу. И детское, давешнее — полусказка-полумечта о свете фаворском, с рассказами брата об энергиях, пронизающих мир, — укрепилось в нем, пустило корни и ответвления, возросло, одевшись плотью дел и свершений, и приняло строгий очерк познанного для самого себя и навек, познанного душою и безотрывно от души, по-крестьянски, когда мужик постигает лишь одну из тысячи мыслей, высказанных книгочием, но постигнув — бестрепетно идет за нее на костер.

Так, Сергий понял, что когда ссылаются на то, что греки называют «экономис» или «экономикой» (и что, кстати, означает не более как хозяйскую бережливость), на зажиток, на оскудение животов, на то, что то или иное «коштовато», «не в подъем», что не хватает, мол, серебра, не по средствам (и при этом кивают на иных, те средства имеющих), — то люди обычно лукавят, прикрывая разговорами о зажитке, об «экономике» свое нежелание что-то содеявать или духовную скудоту свою. Ибо надобны лишь топор да руки, и порою тот же самый мужик, который плачется, что по недостатку животов третье-де лето подряд не в силах срубить новую клеть под зерно на задах, вдруг и сразу теряя все нажитое на пожаре, да еще в самом исходе августа месяца, исхитряется (всего-то и есть, что топор, да выведенная в последний миг из горящего сарая лошадь, да волокуша, что стояла на усадьбе, вдали от огня, да баба, вымчавшая из того полымя материну икону да испуганного дитенка, тоже в одной рубахе — почитай, как спала, так и выскочила простоволосая и босиком), тот мужик исхитряется вдруг, — когда и соседи не в помогу, потому как вся деревня взялась огнем до серого пепла! — исхитряется до снегов и избу срубить, и клеть поставить новую, и сарай... И хлеб в клети лежит, и баба за сляпанным койкак станом, глядишь, уже напряла ниток и ладит натягивать основу для холста, а сам, крякая, мочит шкуры, и уже дымок завивает из дымника от еще сырой, еще не просохшей, только что сложенной печи, а по первой пороше навозит лесу, и к весне казовитый новый сруб будет стоять на усадьбе, на подрубах — только разбирай и клади на мох — краше и выше прежнего, и мужик, сплевывая, щурясь, поглядывая на свое хоромное строенье, будет хвастать, привирая малость... Да тут и без прибавки, помыслишь — покачаешь головой! А в ину пору, на ветрах, за пять лет три пожара, и глядь: стоит она, деревня, та же, что и была, и на том же месте стоит!

А уж про ратное дело и говорить не приходит: как ни оборужи воина, а коли духом слаб, коли нет в душе, в сердце тех самых энергий — бросит и щит и бронь, и давай бог ноги! Только его и видели. А в ину пору, когда есть то, незримое, с одними копьями самодельными пойдут и сомнут и кованых рыцарей и татарскую страшную конницу... Какая тут экономика! Когда четверть века тому назад лучший град на Руси, Тверь, дымом унесся в небеса, и все лишь прятались по лесам да молили: минуло б нас только! Да мало ли по земле богатых градов и великих царств, гордых, утопающих в том самом зажитке, но оскудевших энергиею, обращено в пепел и дым, испустошено и разграблено находниками, у которых и вовсе никакой «экономис» нету, только конь, да лук, да копье, да сабля, взятая с бою, как и броня, у того самого сильного и богатого соседа, исчезнувшего ныне с лица земли.

А энергия, незримая в нашем тварном мире, она есть или нет ее, и ежели нет, — как говорят, ныне настало в Византии, как было еще сто лет назад на Руси, когда пришли татары и не обрели себе супротивника в великой, исшаявшей почти без бою стране, — ежели ее нет, то и сила не сильна, и зажиток!.. Да что тогда зажиток?! Все делается ею, энергией, и когда она есть, то и надо ее соединить, выпестовать и направить на добро. И начинать, не лукавя, надо с себя, а затем... затем наступает черед ближнего своего!

Беседы с Дионисием, к которому в Нижний хо-

дил он после того давнего юношеского быванья не раз и не два, очень укрепили Сергия в этих его мыслях. А Дионисий требовал противустать татарам, многажды подвизал на то князя своего, и Сергий, молча выслушивая пламенные глаголы «слов» Дионисия, учился у него пронзительной любви к Родине. Учился думать и сопоставлять, и ныне не зря пришло к нему давнее воспоминание о Щелкановой рати.

Время памяти протекает с разною поспешливостью, высвечивая вершины и минуя налитые мглою забвения лога. И то, что высвечено памятью, оживает порою с такою свежею болью, словно бы совершилось только вчера!

Сергий, медленно приходя в себя, слушает тяжкий, слитный, подобный шуму моря, гул елей. Сознание все еще как в волнах тумана, из которого, твердея, проступают очертания днешних трудов и забот. Вторгается в ум, вытесняя гаснущие видения детства, давешняя пря с братией (вновь угрожали разойтись, коли сам не станет игуменом) и осознание того, что дело, созданное им, и долг христианина — служение ближнему своему — требуют от него (и Алексий требует, и Дионисий, верно, потребовал бы того же!), чтобы он согласился игуменствовать в обители Святой Троицы... и, значит, расстаться совсем с одиночеством, возлюбленною тишиною, с исихией, — ибо в непрестанных трудах руковоженья братией возможет ли он сохранить вовне и внутри себя возлюбленную тишину? Но все — и требовательный голос братии, и воля Алексия, уплывшего в Царьград, и даже давешний сон — говорили ему вновь и опять, что он уже не волен в себе, что хиротония и последующее руковоженье обителью стали его долгом, крестною ношею, а долг, обязанность (это знал из трудового опыта своего) есть первая ступень всякого постижения (ниже и постижения божества!).

Стать игуменом! В тяготах поприща сего Сергий не обманывал себя нимало. И то, как отнесется к его избранию родной брат Стефан, понимал тоже.

Томительный, с оттяжкою, первый удар в невеликое монастырское било заставил его подняться с колен и поспешить с утренним правилом. Жизнь вступала в свои права, возвращая дух в оболочину бренного тела и телесных, хоть и строго ограниченных им для себя надобностей. Вступив в хижину и мысленно сотворив краткую утреннюю молитву, Сергий подошел к рукомою.

Михей, почуяв наставника восставшим ото сна, подсуетился, стряхивая остатнюю дрему, и, бормоча молитву, начал торопливо бить кресалом по кремню. Скоро первая лучина, разом выхватив из тьмы бревенчатый обвод груботесаных стен хижины, затрещала, распространяя в тесноте жила смолистый аромат сосновой щепы. И ветер, и слитный гул леса приумолкли, отступили посторонь от светлого круга кованого короткого светца, всаженного в расщеп изогнутой еловой ветви, вокруг которого по стенам хоромины шевелились и плавали огромные тени двух человек, облакивающих себя к выходу в церковь.

Сейчас, при свете огня, можно рассмотреть хозяина кельи. Сухощавый и просторный в плечах, легкий телом, в коем не чуется ни капли жира, ни золотника лишней плоти, лишь мускулы и сухожилия, обтянувшие ладный костяк, со здоровым румянцем в глубоких западинах щек, он движется с такою скупою точностью движений, которую дают сдержанная сила и многолетний навык к труду. Борода его отемнела и огустела. Прежнее легкое солнечное сияние стало рыжеватою окладистою украсою мужа. Густые пряди долгих, когда-то свободно вьющихся волос заплетены теперь в короткую косицу. Долгий прямой нос выдает породу: не было в боярском роду Кирилла мерянской крови, наградившей московских русичей пресловутой курносостью. Но больше всего с отроческих лет изменился взгляд Сергия. Вместо распахнутого миру и добру почти ангельского открытого взора Варфоломея теперь смотрелся лик того, кто, и соболезнуя, как бы глядит с высоты — высоты опыта и мудрости; усмешливость, прячущаяся в бороде, и умные зоркие глаза, от которых — поглядев подольше — становит грешному человеку тороп-ко и неуютно на земле. Знал ли он сам, как изменился его облик? Навряд Сергий, даже и отроком будучи, гляделся когда в полированное серебро зеркала! Но то, что внутри себя он изменился безмерно, Сергий знал, чуял, да и ближние, те, кто окружали его, не дали б ему ошибиться намного. Вот хоть то, как преданно и тревожно взглядывает на него Михей, стараясь и не умея еще повторить каждое движение наставника... Когда-то он сам старался так же походить на брата Стефана! Сергий усмехнул в душе, наружно не дрогнув и бровью, и выпрямился, затягивая кушак. Собрались круто: даже второй лучины зажигать не пришлось.

На дворе все так же ярилась вьюга. Мглистое небо низко неслось над землею, и пахнущий сырью ветер больно хлестнул по лицу снежной крупой, прогоняя последние остатки ночного сна.

Мужики в деревнях теперь уже, верно, повыехали в извоз, а бабы затопили печи. Сергию, охлынув сердце теплом, припомнился Радонеж: утренняя дрожь молодого тела, белый пар из конских ноздрей и гордость предстоящим мужеским трудом, когда он, отроком сущим, об эту пору выезжал с возами за сеном.

Из тьмы со всех сторон выныривали темные фигуры монахов, согбенно, с закутанными лицами бредущие сквозь режущий ветер к церкви. Сергий мысленно пересчитывал умножившуюся братию — не пришли трое. Старик Онисим и Микита, повредивший себе ногу топором, лежали больные. Кто же третий? До той поры, пока их было всего двенадцать (тринадцатым стал архимандрит Симон), порядок не нарушался отнюдь. Ставши настоятелем, он должен будет приказывать каждому, как приказывает ныне самому себе, — понимают ли они это? Алексий там, в далеком Царьграде, в белых и сиреневых, как рисуют на иконах, дворцах, понимал. Понима-

ет и Симон, смоленский архимандрит, муж многих добродетелей, оставивший родину, почет, кафедру ради бедного Радонежского монастыря и круто, враз отвергший самую мысль стать игуменом вместо Сергия. (Симон доставил серебро и припас для зиждительства нового храма — в старую церковушку братия уже не вмещалась, и груда ошкуренных бревен, приуготовленных к строительству, высит теперь за оградою обители.)

А Стефана в настоятельское место даже и не предложил никто из братии! Почто? Спросил мысленно, и сам, усмехнув, понял, почто: нелепо было бы знаменитому игумену Святого Богоявления, духовнику покойного великого князя Симеона, после града Москвы, после княжого двора и честей боярских... Вдвойне нелепо! И Митрофан в свое время отвергся игуменского служения, хотя он и мог бы... Нет, и он бы не смог! Алексий с братией правы. Иного — некого!

А он? Не пожалеет ли о пустынном одиночестве, о ночах истомы в глухом лесу, со зверьми и гадами вместо людей? Но и та жалость — грех, ибо крест должен быть всегда тяжек на раменах и, значит, возрастать с годами и опытом. Мог ли он тогда, запросто обманутый убеглым вороватым монашком, — мог ли он взять на себя крест руковоженья людьми? Нет, конечно! Теперь — может. И, значит, должен. И, значит, надо идти в Переяславль. Не тянуть более ни дня, ни часу, разве привести в порядок дела: распорядить работами, разоставить впервые нанятых со стороны излиха юных мастеров (и... эх! лепше бы ему самому браться ныне за рукоять секиры да рубить углы!). Только войдя уже в церковное нутро, он сумел усилием воли отогнать от себя кишение забот, дабы не уподобить жене, за хозяйственною суетою просмотревшей приход Учителя истины.

Ныне вновь в обители не хватило воску. В стоянцах одесную и ошую царских врат горели лучины. Единая свеча была укреплена в алтаре, за престолом.

Невысокие царские врата Сергий резал сам. Сам резал аналой, и тяжелые деревянные паникадила резал и украшал сам в долгие ночи одинокого пустынножительства. На миг стало до боли жаль этой потемневшей церковки, доживавшей свои последние часы, церковки, которую ставили они когда-то вдвоем со Стефаном!

Недолгие первые годы лесного подвижничества мнились теперь бескрайно долгими, столь многое явилось содеянным в нем и вокруг него. И медведь, тот самый, приходивший к нему кормиться две зимы подряд, а затем сгинувший невестимо, казался ныне почти сказкою, передаваемой братией из уст в уста... (Медведя того Сергий сперва опасился: хлеб клал на пень и отходил подальше, пятясь, а потом пообвык и даже нравилось, не так долило одиночество, когда во время работы медведь уютно урчал за спиною. Все-таки приласкать себя Топтыгин не давал, да Сергий, жалеючи зверя, не очень и старался приручать его — ручной-то дуром полезет встречу людям, а те с перепугу, не разобрав, прирежут косолапого!) И глухо, редкою порой, напоминался Ляпун Ерш, едва не убивший его на молитве в этой самой церкви в первое лето подвига...

С ним тогда *это* случилось впервые. Он мог бы теперь, осильнев на лесной работе, руками свободно задавить Ерша, мог вышвырнуть из церкви всю немногочисленную шайку (тогда, в Радонеже, он один пошел к Ляпуну и так же вот подставил ему темя, а потом хватался скользкими от собственной крови руками за вздетый топор), но он не сделал ни того, ни другого. Он вторично, теперь уже, почитай, сознательно, дал себя убивать, потому что стоял на коленях спиною к душегубу и лучшей удачи не могло бы и быть для Ерша! Сергий не шевельнулся, не дрогнул, когда Ерш подскочил с визгом к нему, крича что-то навроде: «Вот ты где, ну, добрался я до тебя, не умолишь!» А Сергий молился. И в миг тот последний, весь собравшись в комок, он вдруг, сам не чуя еще, как это произошло, перешел какую-то незримую грань, до которой допрежь не доходил и в пору самой жаркой молитвы. Было такое, словно вступил в звенящую тишину и там, за нею, точно из-под прозрачного колокола, зрел, не оборачиваясь, малую фигурку мечущегося и кривляющегося человечка, который что-то еще орал, подскакивал, на замахе отступая и подскакивая вновь, вдруг завертелся безумно, кинулся вслед прочим, что, отступив к дверям и перемолвивши, начали покидать церковь, опять, уже один, с воем, верно, прянул от двери к алтарю, к стоящему на коленях Сергию, взмахнул рукой и вновь отступил, шатаясь, и вдруг (как тогда, пустившись в неоглядный бег) ринул к порогу церкви, почти выбил дверь и исчез. Сергий помнил еще, что возвращался долго-долго, все никак не мог найти, нащупать себя самого, стоящего на коленях перед алтарем, и еще помнил ясное присутствие Ее в тот миг, незримое, но безошибочно понятое присутствие Матери божией.

Он встал, дочитав канон, выбрался наружу. Разбойники побывали в келье и хижине, перевернули, рассыпав, его небогатую утварь, но унесли лишь одно — хороший, ладный резчицкий нож. И Сергий потом долго ладил новый из обломка горбуши.

Нож нашелся месяц спустя за церковью, воткнутый в расщелину одного из алтарных бревен, уже весь покрытый ржою. Видимо, разбойник, унесший нож, в последний миг опамятовал и воткнул его в бревно сруба, постыдясь, верно, воротить назад, в хижину...

Молитвенный опыт, полученный тогда Сергием, не пропал втуне. Раз за разом он научился постепенно и сам, стоя на молитве, входить в это состояние полного отрешения от собственной плоти, когда дух, воспаряя, видит тело как бы со стороны. Но и то постиг, единожды перебывши несколько часов в глубоком обмороке, что злоупотреблять этим (как и Ее незримым присутствием) не должно и дозволено ему лишь в редкие часы особой трудноты духовной; тогда лишь и дозволял себе с тех пор прибегать к Ее незримому порогу... Возможно — Сергий еще не решил того — и теперь, нынче, на пути к новой сте-

зе, он попросит опять Матерь божию, вечную заступницу россиян, о знамении и наставлении к подвигу.

Он оглядел плотную, слитую плечо в плечо толпу молящихся, для него состоящую всю из лиц, а отнюдь не из безличного человеческого множества. Вот стоит Василий Сухой, перемогающий свой постоянный недуг с мужеством, коего не вдруг сыщешь и у здорового мужика. За ним виднеется мерянское плоское и слегка косоглазое лицо Якова Якуты, всегдашнего посыльного обители, исполнявшего каждое дело с толковой немногословной обстоятельностью. С таким не пропадешь ни в какой лесной ли, дорожной трудноте. У стены, в полумраке, замер Елисей, сын старика Онисима, молчаливый, все еще угнетенный горем: всю семью Елисея унесла черная смерть. Из Елисея будет вослед отцу новый хороший дьякон для обители. Прямь алтаря замер, самоуглубляясь в молитвенном рвении, Исаакий — муж строгой добродетели, владеющий редким даром духовного делания. Бросилось в очи и светлое лицо Романа невдали от Исаакия, готовно обращенное к нему, Сергию; тоже будет муж великих добродетелей, егда укрепит ум духовным деланием и молитвой. Там, в стороне, вкупе с Ванятою, стоит молодой инок Андроник, ростовчанин, земляк, пришедший пеш в обитель Троицы, едва прослышав о Сергии. И из него вырастет с годами нехудой делатель Господу. Доброй братией наградил его вышний промысел! Со всеми ними Сергий переносил вместе глад, хлад и всяческую скудоту первых годов подвижничества, в них верил (прочие, не выдержавшие искуса, отсеялись и ушли). Но вот иных, новых, что набежали в монастырь в последнее лето, соблазненные восходящей славою Троицкой обители, Сергий еще не постиг, ибо человек растет в подвигах, зачастую обманывая или удивляя воспитателей своих, и с каждым деянием совершенным прибавляет нечто и в самом делателе. Каковы-то будут они пред ликом навычной старым инокам рабочей трудноты? Иных Сергий, испытав, сразу отсылал от себя в мир, другим назначал различные сроки искуса (и делал это, почитай, как не рукоположенный, но молчаливо признаваемый всеми глава обители), соблюдая до последнего лета принятое когда-то неизменное число братии в монастыре: двенадцать мнихов, кроме него, Сергия, — по числу апостолов Христовых. Нынче только, с приходом архимандрита Симона, число иноков в монастыре нарушилось, а сошедшие к послушанию и вовсе содеяли обитель многолюдной.

Наконец и отставший послушник, воровато скрипнув дверью и пригибаясь по-за спинами, проник в церковь, пряча глаза и старательно крестясь. Восстал ото сна, дабы приобщиться ко Господу, когда уже любая деревенская жонка, переделав кучу домашних дел, задавши корм скотине, выпахав пол, накормивши дитя в колыбели, засунув горшки в истопленную печь, начинает доить корову!

Смоленский архимандрит Симон, раздвинув морщины чела, мгновенным взглядом со скрытою улыбкою ответил на столь же мгновенный полувзгляд Сергия и тем отеплил душу. Когда-нибудь они заведут — как в сказочном Царьграде, в монастыре «неусыпающих» — непрерывное чтение часов сменяющими друг друга иноками. И даже непрерывное пение... Когда-нибудь. И очень не скоро еще!

Он разогнул книгу, услужливо положенную пред ним на аналой верным Михеем, и, властно отодвинув наконец посторонь все заботы, земные и церковные, начал читать, отдавшись тому, что подступало и подступило наконец с первыми гласами хора — мужского хора! — усилившегося и окрепшего с умножением братии... И когда волны стройного славословия наполнили храм, он и вовсе отдался звучному осиянию завораживающей неземной красоты, которая уносила выше и выше, реяла уже где-то за гранью телесного естества, открывая духовному лицезрению помимо и вне сознания горние сияющие миры. Пел хор, пел Сергий. Глубокие, мужественные, басовитые гласы твердили победу добра и света над миром зла, реял в выси чистый детский голос Ваняты, взмывающий к небесной тверди, и рокот старческих голосов крепил победоносное шествие ангельских ратей. Высокий голос Симона легко входил в созвучие с его собственным, и ширила радость в груди, и приходило такое, когда уже не он пел, а пелось само, и уносило на волнах торжества и баюкало, и то облегченной печалью отречения, то мужеством духовной борьбы целило и наполняло святыню сердца.

Редко пелось так, как сегодня. Видимо, и всем передалось несказанное, совершавшееся в душе Сергия, и потому, отпевши канон и акафист, они глядели друг на друга слегка опьяневшие, как пьянеют светом и воздухом вырвавшиеся на волю из тесного, мрачного узилища, и радовали собою, и кто-то утирал восторженную слезу.

До поздней заутрени следовало истопить, выпахать печь и поставить просфоры, а также заквасить новые из намолотой намедни муки, и Сергий, воротясь в хижину, не садясь, скоро принялся за дело. Ощупью найдя чело русской печи, он обнаружил, что дрова были уже наложены и сухая лучина только ждала огня, чтобы весело запылать в прокопченном глиняном чреве. Михей, занятый уборкою церкви, еще не приходил, и Сергий, скупо улыбнувшись, сразу понял, кто озаботил себя дровами и растопкою.

Печи в обители зажигались по утрам от лампадного огня храмовой иконы Живоначальной Троицы, и Михей, назначенный учиненным братом, ежеутренне разносил огонь по кельям. Вскоре он заглянул в дверь, прикрывая полою слюдяной фонарь. Сергий принял огонь, кивком головы отпустив Михея, только еще начавшего свой обход, раздул пламя в очаге, и хижина осветилась теплым и живым трепещущим светом. Уютно потрескивали, распространяя тепло, поленья, дым, загибаясь серыми прядями, медленно потек над головою, нехотя разыскивая черное устье дымника, и Сергий, засучив рукава и омывши руки, начал раскатывать тесто.

Скрипнула дверь, и первее по духовному теплу,

чем по легким детским шагам, Сергий угадал Ваняту, младшего сына Стефанова.

Отрок, коему шел двенадцатый год, ожидал пострижения.

Многие качали головами, дивясь юности отрока и про себя ужасаясь суровому нраву родителя и дяди, не поимевших жалости к цветущему детскому возрасту.

Один Онисим знал, что все было иначе, что Ванята сам заставил отца отвести его в монастырь, к «дяде Сереже»; что и того ранее, с первых даже не лет, с первых месяцев бытия, дитятею, оставшись без матери, тянулся он к дяде пуще, чем к родному отцу, что в минуты редких посещений Сергием радонежского дома лез к нему на колени, плакал, не хотел отпускать. И что истиною решения Сергия с братом была отнюдь не жестокость сердца, а любовь.

Онисим знал и молчал. Молчал и Стефан. Это был их собственный семейный счет и семейная тайна, невнятная более никому.

Покойная Нюша год от году легчает, яснеет. Все то тяжелое, бабье, плотяное, что проявилось в ней в годы ее недолгого замужества за Стефаном, угасает в отдалении лет. В ней все больше света, все меньше земного бытия. Помнятся только легкая задумчивость улыбки, только ветерок радости от бегущей девичьей поступи...

Он без спору уступил ее некогда старшему брату. Даже не уступил, а — отступил посторонь, когда это у них со Стефаном началось. С тяжким недоумением следил непонятные ему чередования семейных ссор и приступов нежности, неизбежные, как начал понимать много спустя, когда любимых связывает, омрачая духовное, голос плоти. У него, Сергия, «это» почуялось много позже, в лесном духовитом одиночестве поздней весны. Ограничив себя в пище и усугубив труды и молитвенное бдение, он сумел раз и навсегда одолеть искус плоти. Одолеть, победить, быть может, сломить себя, но многое понял с тех пор и в себе и в других, приходящих к нему ради духовной помощи. Понял и брата Стефана...

Умирая в бреду родильной горячки, Нюша бормотала покаянно: «Я была такая глу-у-пая! Мне бы тоже уйти в монастырь где-то рядом с тобою. И приходить к тебе на исповедь каждый год, нет, каждый месяц или, еще лучше, по воскресным дням...»

И вот она пришла к нему, возродясь в этом своем дитяти, которого когда-то он, Сергий, мыл в корыте и пеленал заместо матери. Пришла, задумавши свершить наконец подвиг иночества, к коему призывал ее некогда отрок Варфоломей своими рассказами о святой Марии Египетской...

И Стефан, видимо, понял тоже. И потому так круто решил и содеял, отдав ребенка на руки Сергию.

И вот теперь Ванята подходит к нему сзади, уже понявши, впрочем, что дядя разгадал его приход, и только чтобы поддержать игру, не поворачивает головы. Подходит и трется, словно котенок, щекой о рукав Сергия. Ласкание, даже ребенка, греховно для монаха, но у Сергия своя мера и свое понятие о греховности, и Ванята чует ее, меру эту, никогда не преступая дозволенной грани.

— Что Онисим? — спрашивает Сергий, помолчав.

— Я воды согрел, и кашу сварил, и горшок убрал, и подмел, и дровы наносил, — начинает перечислять Ванята, загибая пальцы, — а деинка Онисим бает... — Ванята опускает голову, замолкая, и, жарко стыдясь, шепотом договаривает: — Бает, какой я добрый... и погладил меня вот так... Отче! А это плохо, да?

— Хорошо, отроче, душевная похвала идет к вышнему! — заглядывая в печь и морщась от жара, отвечает Сергий. — Токмо помни всегда, что иной болящий временем, в тягости, в омрачении ума, и словом огрубит тебя, и ударит... Ты же твори завсегда Господу своему и не приимь остуды в сердце ни на какое нелепое деяние болящего!

Ванята кивает молча. Отроку сему не надобно повторять дважды, как иным. Сказанное тотчас укрепляет в его памяти навсегда.

Вот сейчас он, безотрывно глядючи на ловкие движения дядиных рук, оттискивающих вырезной печатью головки просфорок — символ церкви небесной, тщится что-то спросить, крайне важное для себя, опасаясь, однако, не огорчит ли дядю его вопрошание. Сергий (движения его рук становятся осторожнее и тверже) мысленно разрешает ребенку, и Ванята, нахрабрясь, разжимает уста:

— Отче! А ты теперь станешь игуменом, да? — Он торопится сразу же досказать главное: — И возможешь постричь меня во мнихи?!

На лице дяди колдовская игра света и теней. Глаза безотрывно устремлены на свое делание. Отрок, сам того не понимая, затронул сейчас тайная тайных его души. Он безотчетно поправляет тыльной стороною руки рыжую прядь, выбившуюся из-под ремешка, охватившего потный лоб. Полусогласие, вырванное у него намедни братией, совершенное в разуме и разумом, по понятию долга, еще не было полным согласием, вернее, не взошло еще на ту, вторую ступень, на которой, по словам Иллариона, вослед закону, как высшее его завершение, возникает любовь. (И не дивно ли, что это было первое творение русского иерарха нарождающейся церкви? «Слово о законе и благодати» митрополита киевского Иллариона все было посвящено этому наиважнейшему для россиян понятию высшей, благодатной любви. Почему и культ Богоматери, почему и «Хождения Богоматери по мукам», почему и века спустя жестокая «прусская» система закона так была чужда русскому сердцу и уму. Да, закон, но после и выше его — благодать, высокая любовь, согревающая сердце, дающая смысл закону, смысл бытию, ибо мертво и убого без того, без любви, без сердечного понимания самое разумное устроение! Так — на Руси. Быть может, даже и перед греческою церковью тем отлична оказалась русская, что больше и сильнее выразилось в ней начало любви господней к миру, созданному величавою любовью, и начало любви граждан, осиянных светом логоса, друг к другу; почему, по словам летописца, и казнил Гос-

подь русичей так прежестоко за отпадение от любви, за измену ближнему своему! Ибо взявший крест на рамена своя уже его взял и не волен сбросить, и грешен, иже уклонит с пути, паче невегласа, не просвещенного светом истины!)

И у Сергия, при всей суровости подвига его, всякое делание поверялось возникающею любовью: к человеку, к труду, к зверю и гаду, ко всякому произрастанию травному (ибо живое — все, вся земля!), и любовью той выверялась истина. И днесь чуял он, что на самом дне души доселева оставалось сомнение в истине, и сейчас вопрошание дитяти потребовало обнажить тайная тайных и решить духом, решить — полюбив избранный путь.

— Да, — отвечает он наконец, ощутив тот теплый ток в сердце, который означал для него всегда правоту избранного решения. — Да, милый! Ежели меня изберут! — поправляется он.

— Тебя изберут! — обрадованно спешит утвердить Ванята и, горячо приникая к Сергию, с детской пронзительной серьезностью проговаривает торопливо: — Я ведаю, что схима — подвиг! И в уныние не впаду! Ты не боись за меня, хорошо?

Сергий молчит, чуть-чуть улыбаясь. Долог путь, отроче, и подвиг труден, но — «Бог есть жизнь и спасение для всех, одаренных свободною волею», долог путь, и благо, что с юных лет путь этот для тебя прям и несомненен, а наставник твой уже взошел по многим ступеням, сужденным тебе в грядущем, и возможет остеречь и поддержать, ежели надо, в подвиге. Но и прямизна пути возможет стать соблазном для излиха уверенных, как то было с иными великими мужами древности... Когда ты постигнешь все, постигаемое однесь, — и токмо тогда! — приидет час все это не отвергнуть, нет, а отодвинуть от себя, как уже отодвинул он, Сергий, и взвалить на плеча иное, важнейшее и труднейшее, чем хождение с водоносами, и дрова, и уход за болящими, и даже бдения ночные и непрестанность молитв. Ибо сама молитва — только ступень к постижению божества, а постижение божества — лишь начаток жизни духовной. Ибо божество непостижно разуму, безлично и невещественно, и совсем не таково, как рисуют Бога Отца на иконах (это он и сам постиг далеко не вдруг, и то по подсказке Стефановой).

И понять, постигнуть можно не Бога, а токмо истекающие из него энергии, ими же пронизан мир, ими он создается и разрушается. Ибо без них, без энергии света, мир — это тьма, и вещественный свет, видимый смертными очами, свет тварный, тоже сходен с несотворенною тьмой.

Но есть иной свет, немерцающий; эфирный, создающий все живое, цветы и травы и всякое произрастание плодное.

И есть свет чувственный, цветной, свет внутри нас, образующий нашу животную природу и природу всяких тварей земных.

И есть еще иной свет, свет разума, логоса, данный только человеку. Этот свет и принес в мир Христос, поэтому он — Слово. Об том говорит в Евангелии Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Частицу этого света каждый из нас получает при крещении. Она, частица эта, «закваска света», хранится в сердце, доколе человек не начнет осознавать свою небесную прародину. Не жизнь свершений и страстей, а духовную свою принадлежность. Тогда-то и начинается покаяние, иначе — изменение ума, приведение ума в тишину. Начаток чего — сокрушение сердечное, вопль, плач о Господе. И тогда в сердце возникает вихрь, вихрь исцеляющий, вихрь, восходящий до неба. И Господь ответно ниспосылает кающемуся отдарок нетварного света, мир тишины. Про таковых и сказано: «Не от мира сего». И этот свет возможно узреть, увидеть, как бывает видимым сияние у святых. Стяжающий свет становится новым человеком, духовным, то есть светоносным человеком. И нужна строгость, тайна, ибо слуги сатаны, лишенные благодати, воруют свет у верных, отягощают их разнообразною прелестью, суетною игрою ума, содевают бывшее якобы небывшим, вселяют сомнение, уныние или гордыню в сердце праведника. О таких-то и сказано Иоанном: «Отец ваш дьявол, и похоти отца вашего хощете творити. Он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем; егда глаголет — лжу глаголет, ибо он лжец и отец лжи». Посему даже и доброта, не укрепленная верою, лишенная стяжания благодати Святого Духа, может послужить отнюдь не ко благу ближнего твоего.

И только когда ты, дитя, пройдешь и постигнешь весь путь, когда единой молитвой Исусовой возможешь отогнать от себя всякое похотное пристрастие, и более того, всякое пристрастие к миру, совокупив и сосредоточив всего себя токмо на сладчайшем имени Христовом, когда ум твой станет нисходить в сердце, а сердце начнет теплеть, разогреваться и даже как бы гореть в груди, тогда только ты и увидишь своими глазами нетварный фаворский свет и постигнешь непостижное для тебя ныне. Тогда ты сам приобщишься ко Господу.

А когда уже все ступени духовного восхождения будут пройдены тобою, тогда надлежит воспомнить, что ты не лучше, и не больше малых сих, и возлюбить их неложною братнею любовью, и умалиться, яко те, нищие духом, коих есть царствие небесное.

К возвращению Михея просфоры были засунуты в печь, закрытую деревянной подгоревшею до цвета ржаной корки заслонкой, и в воздухе стоял сытный хлебный дух.

Сергий вышел в келью, прикрыв за собой тесовую дверь. Здесь стоял застойный холод, легкий иней покрывал аналой и углы. Сергий поглядел в едва видные в лампадном сумраке требовательные глаза Николы, потом в задумчивые очи Матери божией и, опустившись на колени, замер в молчаливой «умной» молитве. Келейный холод, очищая обоняние, помогал сосредоточению мысли. Он знал, что Михей взошел в хижину, угадал, что с неким важным известием, хотя Михей никогда не дерзал тревожить наставника на молитве.

Уже воротясь в хижину, Сергий, внимательно

вглядевшись в лик Михея, спросил, почти утверждая:

— Стефан?

— Воротилси с Москвы! — подхватил Михей торопливо. — Должно, к тебе грядет!

Стефан, действительно, шел к нему, и Сергий понял это прежде жданного стука в дверь.

Братья троекратно облобызались. На лице Стефана, иссеченном ветром, лежала печать усталости; верно, шагал от Москвы всю ночь, проваливаясь в снежных заметах и не отдыхая. Сергий предложил щей. Стефан покачал головою. За немногий срок, оставшийся до обедни, в самом деле не стоило разрушать постного воздержания.

Стефан сидел высокий, прямой, недоступный, уже, верно, прознавший, что брата уговорили стать игуменом.

— Худо на Москве! — сказал, перемолчав и слегка ссутуливая плечи. — В боярах нестроение! В тысяцкие прочат Хвоста, а Вельяминовых — прочь.

— Князь Иван? — вопросил Сергий, подымая очи.

— Князь по сю пору в Орде, да и не возможет противу... — отверг Стефан. — Вовсе не может! — с тенью раздражения добавил он, сдвигая брови. — Слаб! И Алексия нет!

— Почто? — вопросил Сергий хмуро (Михей, сообразив, что ему лучше не быть невольным слушателем важного разговора, вышел на улицу, прикрыв дверь).

— Всему виной духовная Симеона, которую я не подписал! Весь удел великого княженья достался вдове Марии, тверянке... А Вельяминовы за нее.

— Великий князь чаял сына хотя после смерти своей... — отозвался Сергий, думая о другом.

Омрачение, наступившее на Москве по миновении великого мора, должно было наступить неизбежно. Слишком многие умерли, слишком много прихлынуло из сел и весей нового народу, юного и жадного, не ведающего прежних навычаев столичного града. Со смертью старого тысяцкого, Василия Протасьича, власть Вельяминовых стала зело некрепка. Василий Васильич был излиха горяч и нравен. И уделом своим Марии должно самой поделиться с Иваном, не сожидая боярской которы. При слабом князе и долгом отсутствии Алексия любая беда может совершить на Москве! Но не с этим шел сюда Стефан, и не об этом его мысли однесь.

— Ваня у Онисима! Лежит старик! — подсказал Сергий, внимательно глядя в серое лицо брата.

Стефан поднял темный взор, понял, кивнул.

— Келья твоя вытоплена,— продолжал Сергий.

Стефан кивнул снова, чуть удивленно поглядев на брата.

— Я посылал давеча Михея, — пояснил Сергий, и лик Стефана тронуло едва заметным румянцем.

Он опустил и вновь решительно поднял глаза. Приходило прошать самому. Прокашляв и еще более ссутулив плечи, он вымолвил наконец, не глядючи в очи брату:

— Ты станешь игуменом?

— Я сожидал тебя! — ясно и твердо ответствовал Сергий.

— Почто? — осекшимся голосом вопросил Стефан, гуще покрываясь румянцем.

— Мы ставили монастырь вместе! — возразил Сергий. — И ты был и есть старейший из нас!

Стефан помолчал, свеся голову, наконец вымолвил совсем тихо:

— Мыслишь, я должен сам избрать тебя игуменом?

— Или стать им вместо меня! — докончил Сергий, по-прежнему невступно глядя в глаза брату.

— Ты знал... ведал, что я приду?

Сергий неторопливо переменил лучину в светце, молча утвердительно кивнул головою.

— Ты искушаешь меня! — с упреком отозвался Стефан.

— Нет! — светло поглядев на брата, возразил Сергий. — Крест сей тяжек и для меня тоже. А ты дружен с Алексием!

Лицо Стефана стало темно-пунцовым, потом побледнело. Сергий не знал — или не хотел знать? Или ведал и молчал — о злосчастной женитьбе Симеона Гордого и участии Стефана в этой женитьбе... А значит, знал или не знал о давней остуде Алексия?!

И вот сейчас, в этот миг, подошло самое горькое, ибо смирять самого себя, гнуть, лишить славы и почестей, изгнать из Богоявленского монастыря, отказать в игуменстве мог Стефан сколько угодно и с легкостью, ибо делал все это по воле своей, «никим же гонимый», но тут сидеть и знать, что игуменства его в братней обители (отвергнутой им некогда и, как оказалось, навсегда!) не хочет никто из монахов и вряд ли допустит сам Алексий, воротясь из Царьграда, — знать все это и слушать слова младшего брата, неведомо как взявшего над ним старейшинство, было непереносно совсем. Вся воля и вся гордость Стефана, задавленные, но не укрощенные, ярились и возмущались пред сею неодолимою препоной. Он то опускал чело, то вновь сумрачно взглядывал в лицо брата, угадавшего нынче его нежданный для самого себя приход, приход-бегство, ибо там, на Москве, почуял Стефан с пронзающий душу яснотою, что жить вне обители братней уже не возможет никогда. Ибо только здесь возможно было, полностью отрешась от суеты и воспарив над злобою дня, помыслить о мире и судьбе, подумать и покаяти, только здесь — понял и постиг он — зачиналась грядущая духовная жизнь Русской земли. И теперь подходило ему смирить себя всеконечно, дозела, но смирения-то и не хватало его душе, хотя разум Стефана властно требовал от него смирения.

И, почти падая в обморок, теряя сознание почти, он наконец после страшных и долгих минут молчания тихо выговорил брату:

— Становись игуменом ты, я не достоин сего...

Частые удары монастырского била, призывающие к молитве, милосердно покрыли его последние слова.

Считается, что исихия, умная молитва, тонкое постижение божественных энергий, требуют уединенной сосредоточенности, удаления от мира (и от работ мирских!) ради постижения нетварного света, ради приобщения ко Господу — обожения.

Сергий всю жизнь работал, и не так, как можно бы там, на юге, в горе Афон, где маслины и виноград, где тепло даже в зимнюю пору; работал в жестоких зимах севера, в снегах по пояс и по грудь, работал в надрыв сил и свыше сил. Сергий к тому еще, очень скоро оставя уединение, поднял на плечи монастырь. К нему приходили тысячи, и в час, когда страна спросила его: идти ли? — он ответил ей: иди! Господь да пребудет с тобою! И был духовно с ними, и люди пошли на смерть.

Сергий мирил князей и строил обители с новым общежительным уставом, где учились и писали иконы и книги, где делали дело культуры, духовное дело, потребное великой стране. Так какой же он был исихаст?

Но ведь и Григорий Палама, дравшийся на соборе с Варлаамом, гонимый и утесняемый, призывал не отринуть от себя гражданское служение, ежели сей крест пришел праведнику! И сам стал епископом Фессалоники, града, много лет раздираемого усобицею зилотов!

Верно так, что эти мужи в пору свою могущественно, укрепив себя самих к служению ближнему, несли идею свою в мир, людям окрест сущим, и там, где мир окрестный, как и совершилось на Руси, мог подъять сущее для него учение — по слову «могущий вместить, да вместит!» — там сдвигались народы и восставали из пепла царства и города!

Михей устроился за дощатым столом близ света, чтобы мочно было, не вставая, менять лучины в светце, и сейчас неторопливо переписывал крупным красивым уставом напрестольное Евангелие, заказанное радонежским боярином Филиппом из рода Тормосовых, как и Кирилл, отец Сергия со Стефаном, переселившимся четверть века тому назад со всею роднею-природою из разоряемого Ростова в московский Радонеж. Бывшие ростовчане упорно тянули друг к другу, и уже теперь — к «своей» обители Троицы.

Сергий оглядел делание Михея, уже столь навыкшего к книжному рукописанию, что и столичным писцам было бы не в стыд показать работу ту, — остался доволен. Книги переписывали уже трое, кроме самого Сергия. Един из братии, как узналось недавно, был гож и к письму иконному; надобно было теперь и то художество завесть в обители. И врачеванию следовало учить! Монастырь рос, матерел, мужал, как мужает юноша, научась потребному рукомествию. Удаляясь в келью, Сергий сказал одно лишь: «Сегодня не спи!» Михей понятливо кивнул. Ему почасту приходило разделять молитвенное бдение с наставником.

Сергия традиционно связывают со Святою Троицей, так что даже и икона Рублева, написанная двадцать лет спустя после смерти преподобного, мыслится как бы принадлежавшею ему лично. Однако в моленном покое Сергия, в его малой келье, иконы Троицы не было. (Хоть и то не забудем, что наречен был от рождения престолом Святой Троицы, что и дивная икона Андрея Рублева не возникла бы без духовного пастырства Сергия и храм в обители, первый и главный, был Троицким храмом — все так!) И все же у самого Сергия в молитвенном покое его было два образа, равно близких всякому россиянину и наиболее распространенных впоследствии среди обиходных русских икон: «Никола-угодник» и «Богоматерь Одигитрия», вечная заступница россиян, символ материнской безмерной любви, жалости и терпения. Две сравнительно небольшие иконы плотного, безошибочного в каждой из линий своих древнего письма — творения высокого мастерства, нежданные в убогой келье, если не знать о прошлом боярской семьи Кирилловой. Павел Флоренский оставил нам описание этих икон, сохранившихся до сих пор, и лучше того и даже вровень с тем вряд ли что возможно о них и сказать и измыслить. И теперь, в келье, собираясь на подвиг, означивший всю его дальнейшую судьбу, именно к ней, к Матери божией, заступнице и печальнице человечества, обращал Сергий свою молитву.

В каждом деле, в каждом великом деянии человеческом, кроме долга и истекающего из него волевого позыва к действованию, кроме любви, дающей высший смысл и оправдание всякому деянию, есть еще третье звено: та искра, которая возжигает уже сооруженный костер, приводит в движение налаженный к действованию снаряд, искра эта — откровение или озарение, и приходит оно по-разному и в различные, часто нежданные миги жизни. Но это то — всегда, — после чего не можно уже отступить или уступить, не порушив себя самого дозела, до полного духовного изничтожения своей личности. Как знать, энергия, собираемая молчальниками-исихастами, не была ли, по крайней мере для них самих, именно той энергией «вдохновения свыше», после которого пророки человечества восходили и на амвоны, и на костры?

Сергию, человеку четырнадцатого столетия, нужен был знак, как надобно было небесное знамение воину, как надобно озарение художнику, как надобен катарсис или то, что для верующего человека совершает пресуществление вина и хлеба в тело и кровь Христову. Как надобно чудо — и, признаемся уж хоть самим себе, надобно нам, людям, во все века! Он, конечно, не знал, какой знак и даже будет ли знак ему... Но он молился. И — опустим, не скажем, как молился он. Частью по незнанию, а больше по тому одному, что рассказать этого нельзя. То невыразимое, что происходит в человеке и с человеком в подобные мгновения, невыразимо доподлинно. И простецам ни к чему даже этого и знать.

Михей, окончив труд, вступил в келью и встал на колени рядом и — так получилось по узости места — чуть впереди наставника. Сергий, который только и заповедал ему не спать, возможно, и не хотел присутствия Михея в келье, но ничего не сказал

ему, вернее, уже и не мог сказать. Он уже был «там».

Свет струила только одна лампада, и потому фиолетово-вишневый мафорий Богоматери и даже сапфирно-синий ее хитон, как и фиолетовая риза и красный омофорий Николы, казались почти черными. Посвечивала только золотая разделка на хитоне и гиматии младенца-Спасителя.

Было тихо. Сергий молился молча. Время как бы остановило течение свое, и Михею, до которого неволею доходило сгущающееся напряжение духовных сил наставника, — подобное тому, как в перенасыщенном грозовым электричеством воздухе сами собою начинают вставать дыбом волоски и шерсть животных струит неживой белый свет, — Михею давно уже было не по себе. Он с трудом находил в уме своем слова молитв и готов был порою закричать от ужаса в голос, кабы не воля Сергия, замкнувшая ему уста и лишившая тело способности к движению. Сколько прошло минут или часов, не ведали ни тот, ни другой.

Тишина текла, струилась, приобретала плотность и вес, становилась уже нестерпимой. Михей, никогда допрежь не испытавший и десятой доли такого, потерянно оглянул на Сергия, лик которого в резких гранях теней каменел и казался мертвым. («Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй мя, грешного!» — беззвучно повторял Михей, теперь уже одно и то же, одно и то же, боясь остановиться хотя на миг.) Он был так растерян в эти долгие мгновения ужасной для него засасывающей тишины, что, когда в келье осветлело, почти обрадовал, еще ничего не поняв. Сперва показалось даже, что это и не свет вовсе, а попросту глаза привыкли к темноте и видят. Но видимо было теперь и совсем не виденное допрежь того: маленькая скамеечка в углу покоя, и четкий резной узор божницы, и все складки одежды Сергия. Он только спустя минуты понял, что в келье стало светло! И свет был странный, почти без теней, немерцающий, ровный, одевший все точно световым покровом. Каждый предмет был ярок и виден со сторон, а краски на иконах, одеждах его и наставника выцвели, почти исчезли. Он глянул смятенно перед собой. Лик божией Матери круглился удлиненным овалом, поразительно плавный и девственно-чистый по своим линиям, скорбный и моложавый одновременно и уже как бы отделенный от доски. В лике Николы была мука почти живого трепета: казалось, он жаждет и не может нечто сказать, повестить...

Михей растерянно оглянул на наставника — и обмер. Львиное, чужое лицо Сергия было страшно. Чернели глубокие западины щек. Упорный сведенный взгляд горел волчьим огнем. Михей понял лишь, что он мал, слаб и жалок, и лепше бы ему быть где-то там, вдали, но не зреть, не видеть, не присутствовать при том, что совершалось днесь, при его глазах, но столь безмерно превосходило малые его духовные силы.

Мы знаем теперь то, что передал Михей много спустя, и возможно и даже неизбежно, что виденное им тогда, в ту ночь, с годами приобрело «канонический» вид, изменилось и приблизилось к знакомо-привычному. Не тень, не очерк, не сгущенный из воздуха феномен, а осиянная необычайным светом иконописная Богоматерь, живая, с предстоящими, явилась его взору. Так он повестил несколько десятилетий спустя, будучи глубоким стариком, уже после смерти Сергия, иноку Епифанию, для коего все это была уже иная, прошедшая и ушедшая эпоха, иное время, крупицы коего он старался удержать, создавая свое «Житие Сергия Радонежского», когда уже и сам преподобный даже для тех, кто знал и видел его, становился все более легендою, таял, растворяя зримый свой образ в зыбком мареве воспоминаний.

Сергий, точно поднятый стороннею силою, встал с колен с молитвенно сложенными руками. Михей глядел, почти теряя сознание. Она была, стояла, светилась и таяла, благословляя. (Странно, он не помнил потом: сидел ли младенец-Спаситель у нее на руках?) Наставник и сам — так во всяком случае казалось Михею — парил в воздухе. Его высокая фигура вытянулась еще больше, отделясь от собственной тени. Лик, пугающе-грозный миги назад, неизъяснимо украсился и прояснел. Лицо блистало, словно бы отдавая льющийся на него свет.

Когда-то в далеком, полузабытом Ростове на изломе юности своей отрок Варфоломей, будущий Сергий, так же внимал неведомому, потеряв на время всякое ощущение своего веса, и ныне, днесь, вернулось к нему то юное, давнее, и уже никакой словесной молитвы не было в нем, насквозь пронизанном этими ее лучами, смывшими разом всякую трудноту, и печаль, и муку восхождения, и только горняя радость была, ширилась и торжествовала, заливая его всего целиком, так что и тела уже не было в нем, и не было, не осталось никакого «я», ибо весь он стал точно причастная жертва высшей любви или — луч света при сияющем солнце... Все это Михей зрел, чуял полубредово, на грани обморока. Так же как и слова Ее, сказанные в тот миг высокого озарения (бывшие вряд ли словами человеческой молвы, скорее — звуком внутреннего гласа души, внятным Михею, как и наставнику). Кажется, Богоматерь просила не ужасаться видению и не скорбеть, заверяла избранника своего, что не оставит Сергиевой обители и верных его учеников без своего покрова и защиты даже после смерти преподобного... Так или приблизительно так передавал впоследствии Михей услышанное. Повторим: вряд ли услышанное слухом, скорее понятое ими обоими душою и из души.

Матерь божия стояла не одна, хоть Сергий и глядел на нее лишь единую. «С апостолами Петром и Иоанном!» — твердо уверял впоследствии Михей. И это тоже был знак ему тайный, как понял потом Сергий, передумывая виденное. И было ли то наваждение или нечто доступное, как мечта, как сон ему одному? И он мог бы не поверить себе, но Михей видел тоже! А где двое, там третий среди нас — Христос. Значит, виденное было не марой, не мечтою, а истиною?

Свет слепительный, необычайный, истинно фа-

ворский свет мерк, становясь давешним бестеневым и холодным. Михей плакал и бился у него в ногах, судорожно восклицая: «Что это, что?» Сергий поднял ученика, как мог успокоил. Говорить и он не мог, повторяя одно лишь: «Потерпи, чадо, потом, после, потом...» Оба не узрели, не поняли, как ушло, растворилось видение, оставив после себя чуть слышную замирающую музыку горнего торжества, которая тоже легчала, гасла, грустнела и гибла, как угасает закат. Сумрак наполнял постепенно келью, заливая углы. Сергий, успокаивая, гладил Михея по голове, а тот целовал, поливая слезами, руки наставника.

Мерцала лампада. Торжественное ушло. Но оно было, оно являлось в мир! И ради него стоило годы терпеть лишения, глад и хлад, ради него одного стоило нести бремя жизни, дабы и жизнь и себя принести некогда к престолу славы Ея!

Все в этот день было полно глубокого значения и смысла. И то, как торжественно прошла литургия, и праздничный совокупный обед после нее, — одна из тех совместных трапез, на которых Сергий зачастую настаивал, дабы не делить по кельям привозимого в монастырь обилия.

Сегодня настаивать не пришлось. Чуяли сами, что, провожая в путь своего будущего игумена, обязаны соединиться вместе и вместе вкушать. Сидели тесно, плечо в плечо, в самой просторной из келий; и радовало, что приносили не считаясь: иной початый каравай хлеба, другой соли, масла, крупы ли на варево, блюдо квашеной капусты или снизку сушеных лещей, кто, смущаясь и краснея, несколько пареных репин — иного не имел у себя в келье. И то, как приняли, как заботно уложили на блюдо эти репины, радовало сугубо. Достали большой, к подобным случаям сберегаемый котел, живо собрали точеную, долбленую и глиняную посуду, деревянные ложки разложили заранее по столу, и все это как бы само собою, уже без прежних подсказов Сергия.

И вот теперь сидели, любуясь друг другом и гордясь собранной ими незамысловатою трапезой, и была благость во всем и на всех. Лица светились улыбками, и готовно делили ломти хлеба, уже не своего, а общего, с пришлыми, с теми, для кого все это — и радование совместное, и совместная трапеза, и неторопливое за трапезою чтение «Житий» — было внове и невнятно еще; а те, неофиты, смущенно принимая из рук братии хлебную вологу, светлели или смущались, каясь в душе, что пожадничали, не донесли своего добра, когда еще был собираем совместный стол. Один даже вылез украдкою и, сбегав к себе, приволок решето мороженой брусницы, косноязычно, с пятнами румянца на лице изъяснив, что запамятовал и что для останка трапезы это-де самая добрая волога. И решето тотчас приняли, не умедлив, будто так и надобно было, не остудив и не опозорив дарителя, и тут же поделили, найдя чистые мисы, на два конца стола, дабы всем удобно было брать горстью или черпать ложками кисло-сладкую, с лесною благоуханной горчинкой, острым холодком тающую на языке ягоду.

И лишь сам Сергий сидел усталый от пережитого, задумчив и тих. Молча вкушал, молча, исподтиха, озирал братию, гадая, как теперь примут они — и примут ли? — замысленный им вкупе с Алексием общежительный устав. Чтобы так вот, как теперь, было всегда. Всегда вместе и никогда поврозь. Чтобы беда, глад, скорбь ли какая, как и радость, как и праздничное ликование, переживаемы были всеми вместе, испиваемы в равной, единой чаше. Как было некогда в древнем Золотом Киеве, в лавре Печерской у великого Феодосия.

Ради сего многотрудного замысла он и согласился игуменствовать. Но сказать об этом братии прямо доселе не мог. Ибо тяжек для нестойких духом даже не сам по себе иной, ненавычный поряд жизни, но мысленное осознание иного порядка, противного принятым навычаям старины. А за три века, протекших со времен Феодосия, возник и утвердился на Руси иной наряд киновийного жития, когда каждый поврозь, в особой келье, с припасом своим, своим добром, рухлядью, а подчас и слугами. Наряд, коему и он, Сергий, не мог противустать в невеликой своей обители. Наряд, порядок, способный, как понял он уже очень давно, разрушить и на ниче обратить все то, ради чего возникли века и века назад монашеские киновии.

Длится божественное чтение, длится застолье, трапеза верных, почти евангельское содружество двенадцати во главе с учителем своим, а он, устремив взор в незримое отдаление лет, вспоминает иное.

Сергий сам никогда не просил милостыни и не разрешал монахам своего монастыря собирать милостыню по окрестным селам.

— Довольно и того, что доброхоты от избытка своего сами привезут в монастырь! — отвечал он всегда с твердостью, напоминая упрямым, что великие старцы египетские постоянно жили трудами рук своих, не сбирая ничего с мирян, и даже сами от себя почасту творили милостыню.

Сергий в начале своего подвижничества, ежели кончалась мука, толок обычно липовую кору, перебивался сушеными кореньями, ягодами и грибами. Когда начала собираться братия, стало много труднее.

Единожды в обители кончился весь и всякий снедный припас, и голодать пришлось четыре дня подряд. Ели и до того скудно, сугубо же долило то, что никто не ведал и не чаял конца бедствию: а вдруг впереди еще многие и многие дни и даже недели невольного жестокого поста?

Сергий заранее роздал все, что у него было, ослабевшим и перемогался, по-прежнему не позволяя, однако, идти кому-либо за милостыней к мирянам в ближайшие деревни. Сам он во все эти дни, возвращаясь из церкви (службы блюли неукоснительно), плел лапти или стоял на молитве, но утром пятого дня непрерывного своего голодания понял, что надобно во что бы то ни стало поесть.

А хлеб в монастыре был. В очень малом количестве, но был все-таки! Не потому ли, верно, и ропта-

ла и даже бранила Сергия братия? Единый из иноков, позже покинувший монастырь, вслух и поносно обличал его за прещение собирать милостыню:

— Добро бы война, глад! А то — селяне сыты, гля-ко, пиво варят! А мы зде голодом помираем, вослед пресловутым старцам синайским! Да в том Египте, коли хошь знатья, и снегу николе не бывало, фиги да финики растут, акриды там разные, мед дикий! Поди, и старцы ти без жратья какого-нито ни разу не сиживали!

Кричал поносно, разумея явно не одних только старцев египетских; а Сергий, чуя кружение головное и боль во чреве — его пост оказался долее прочих и потому тяжеле для плоти, — только повторял со спокойною твердостью, не желая подымать братнюю котору в монастыре:

— Нет, нет и нет! Надобно сидеть терпеливо в монастыре и просить и ожидать милости только от Бога.

И вот утром пятого дня изнемог и он. Туго перепоясавшись (так менее чуялось голодное сосание внутри) и взявши топор, он пошел в келью старца Данилы, того самого, у которого был тщательно скрываемый от прочих хлеб, и предложил срубить сени, для устройства коих Данило давно уже припасал лес и доски.

Старец замялся было, помаргивая и щурясь, забормотал, что да, мол, давно задумал, да сожидает делателей из села.

— Ведомо тебе, старче, что я плотник добрый, — возразил Сергий, — и ныне праздно сижу. Найми меня!

Данило сбрусвянел, начал отнекивать, плакаться на скудоту свою: не возможет-де Сергию дати потребное тому воздаяние... Сергий, поморщась в душе, скоро прервал хозяина кельи:

— Великого воздаяния мне не надобно! Гнилой хлеб есть у тебя? Того дашь — и будет! У меня и того нет! — примолвил он строго. — А лепшего, чем я, древоделю тебе не добыть и на селе!

Данило засуетился, забегал глазами, вынес, погодя, решето засохлого ломаного хлеба в корке зеленой плесени.

Сергий не возмог бы никогда и не позволил себе довести хлеб до такого состояния. Видимо, старец; когда ел, откладывал недоеденные куски в это решето, а после же и сам не доедал объедков, и не отдавал другим — из жадности.

Крестьянская скупость эта хорошо была ведома Сергию, и в мужицком обиходе, где лишний кус шел скотине, а запас требовался всегда (наедет боярин, рать ли найдет — давай безо спору!), не возмущала его. Но тут, в голодающем монастыре, видеть хлеб в плесени было соромно.

— Вот и довольно, — ответил он, сдвинув брови. — Токмо погоди, подержи у себя вологу ту, покудова окончу делание свое!

От первого удара топором у Сергия все поплыло перед глазами и он чуть не свалился. Однако тело, навычное к труду, раз за разом, с каждым новым вздыманием секиры все более подчинялось воле, и в конце концов он начал работать ладно и споро, хотя звон в ушах и легкое головное кружение не проходили. Впрочем, и к тому Сергий сумел приноровиться, соразмеряя силу удара с возможностями руки. И дотесал-таки столбы и поставил, почти не отдыхая (боялся, ежели присядет, уже не заможет встать), и ладно обнес досками, и покрыл, и даже маковицу на кровельке вытесал легкими касаньями кончика топора, и приладил, и только когда слезал с подмостей, на миг приник к дереву, простерев врозь слабнущие руки, ибо так повело и так отемнело в глазах, что едва не рухнул вниз без сознания. Но и тут справился, слез с подмостей и, получив наконец заработанные хлебы, стал есть, сотворивши молитву, стал есть плесневелый хлеб с водой, и ел тут же, сидя на пне, и после долго помнилось и передавалось меж братии, что у Сергия изо рта от разгрызаемых сухарей «яко дым исходил» — вылетало облачко сухой плесени.

Поевши и сунув несколько сухарей в калиту на поясе, Сергий остальное принялся молча раздавать сотоварищам. И опять буйный брат, отпихнув руку с протянутым сухарем, начал крикливо галиться:

— Думашь, что доказал, да? Доказал? Работник богов! Заработал, вишь, не выпросил! Ну и пишись тогды в холопы к нему! Тебя слушать, да таковую плесень жрать, и еще в мир не ходить за милостыней — дак и помрем всеконечно тута! Делай что хошь, а утром вси разойдемси по весям Христа ради просить да и назад не воротим сюды!

Сергий слушал его молча. Худо было не то, что роптал един нетерпеливый, худо было, что никто не возразил хулителю, не вступился за него, Сергия, с обидою или гневом, а лишь остраненно молчали да низили глаза, и в молчании этом была своя, скрытая, горшая, чем глад и скудость, беда. Ведь хлеб в монастыре был, был хлеб, и голод не съединял, а паки разъединял братию! И оттого все труды его, все дни поста, надежд и молитв грозили обрушить во прах единым часом!

Вот тогда-то, положив в рот очередной сухарь, который он, прежде очистив от плесени, начал медленно сосать, а не грызть, Сергий задумался и понял, что деянием, свершенным им только что в меру своих сил, но отнюдь не в меру сил каждого из братии, он не вразумил ни единого из них и урок его пропал втуне, ибо, заработав гнилой хлеб у имущего брата, он тем самым токмо утвердил рознь духовную и разноту зажитка, скрыто живущую даже в его бедной лесной обители.

И значит, первейший завет Христа о любви и дружестве ближних не исполнен и не исполняется ныне в русских обителях.

И значит, совокупления духа, дружества, совокупления русичей на благо родимой земли не творится сим разнотствующим киновийным житием. Каждый спасает тут только себя, но отнюдь не брата своего во Христе!

И значит, подвиг, начатый им на горе Маковец, грозит изойти на ничто так же, как и многие прочие благие по начатку своему деяния русичей, так

же, как ничем завершился путь брата Стефана, ставшего игуменом столичного монастыря и утерявшего высоту духовную за суетою и прелестью мира.

Все это понял Сергий в тот час, над тем решетом гнилого хлеба.

И слава Господу, что искус престал в тот раз счастливо для обители, ибо назавтра же неизвестным дарителем были присланы в обитель возы с хлебом и обилием, а монахи с той поры уверовали в благодатную прозорливость своего духовного пастыря, хотя Сергий в тот миг воистину не догадывал о нежданном спасителе.

Голод, тем паче такой, временный и случайный, забывается быстро. Братия вскоре уже и не поминала о нем. Но Сергий с тех самых пор положил в сердце непременно устроить общую трапезу и общее житие и ждал теперь лишь обещанной Алексием подмоги, которую привезет... должен привезть, или сам авва Алексий или даже Леонтий-Станята, Станька попросту, молодой послушник, новогородец, прибившийся было к Троицкой обители, которого Сергий, испытав и понявши, что уединенное киновийное житие не для него, отослал в спутники к Алексию, собиравшемуся в Царьград, благо Станята, неведомо как, почти самоуком, научился разуметь по-гречески...

А братия дружно работает ложками, черпая варево из больших деревянных мис, оживленно переглядываются, дарят друг друга то улыбкою, то пристойным в застолье словом. Они радуют ныне, что вместе, но продолжат ли радовать, когда «вместе» станет законом и иначе будет уже нельзя?

Сергий облизал досуха ложку, отодвинул порожнюю мису и еще помедлил, глядючи, как Василий Сухой с Якутою ладно прибирают со стола и кутают в зипун горшки с варевом для болящих. Убедясь, что все идет добрым чередом, он запахнул суконную свиту и вышел в холод.

Ветер все еще дул, но уже заметно стихая, и снег почти перестал, и небо бледно засинело над елями, а останние облака в розово-палевом окрасе летели над головою уже нестрашные, подобные тонкому дыму, все более и более легчающие, обещая ему ясный и легкий путь. Глубоко вздохнув, он направил стопы к келье Онисима.

Старик ел, когда вошел Сергий, и обрадовал ему, словно дитя. Измученный долгою постелью паче самой болести, он торопливо, кашляя и взбулькивая, заговорил, хваля Сергиево согласие стать наконец настоятелем обители, толкуя неразборчиво и о Москве, и о князе Иване, и о Царьграде... Онисим отходил света сего, зримо слабел, и конец его был уже не за горами. Старик и сам понимал это, и в его нынешних наставлениях племяннику скользом то и дело проглядывала печаль скорого расставания. Уходя, Сергий бережно и любовно облобызал старика.

К пабедью собрался келейный совет братии. Все было заранее решено, и теперь надобилось одно: отрядить двоих спутников Сергию. Архимандрит Симон при его преклонных летах не мог одолеть зимнего пути. Обычным ходоком по делам монастырским был Якута, но ныне с Якутою требовалось послать мужа нарочита, добре известного за пределами обители, и взоры предсидящих невольно обратились к Стефану. Брат сидел сумрачный и прямой и, не дав Симону открыть рта, предложил сам:

— Я пойду!

Старцы одобрительно зашумели. Сергий не был удивлен. В трудном смирении своем старший брат должен был дойти теперь до конца, и он лишь поблагодарил Стефана стремительным взглядом.

Якута тотчас, нахлобучив длинноухий малахай, начал сряжаться в путь. Брали, опричь церковных надобностей, короткие лыжи, топор, кресало и трут, мешок с сухарями да сменные лапти. Выходить порешили в ночь, отдохнувши мал час после навечерия. Небо совсем разъяснило, и луна была в полной силе, обещая освещать дорогу трем невзыскательным путникам.

У крыльца Сергия ждали мужики из нового, возникшего невдали от обители починка, прошали освятить избу, но узнавши, зачем и куда он направляется, тут же дружно повалились в ноги, упрашивая освятить ихнюю новорубленую хоромину по возвращении, уже будучи игуменом. Сергий, улыбнувшись одними глазами, обещал.

Расставшись наконец с Якутою и братом, он воротился к себе — отдать последние распоряжения Михею и помолиться. Небо бледнело, гасло — зимний день краток! Когда они выйдут в путь, на отемневшем небосклоне появится первая мерцающая звезда.

Впереди шел Якута, туго запоясанный, подобравший долгие полы подрясника под ремень, в круглом своем малахае, с топором за поясом, почти не отличимый от обычного охотника-лесовика. Ловко ныряя под оснеженными ветвями, Якута вел спутников одному ему ведомою тропинкой, спрямляя пути, и Сергий, навычный к лыжной ходьбе, с трудом поспевал за ним. Стефан упорно шел след в след брату, то отставая, то вновь нагоняя Сергия. Все трое молчали, сберегая дыхание. Порою от колдовской зимней тишины ночного леса начинало марить и мерещить в глазах. То сдвигался куст, то рогатый сук неслышно переползал через дорогу. Якута сплевывал, бормоча когда молитву, когда колдовской оберег. Поскрипывали лыжи, да изредка гулко трескало промороженное дерево в лесу.

Луна уже заходила, прячась за островатые макушки и пуская свои зеленые лучи сквозь узорную хвою, когда Якута, бегло оглянувши на спутников, сказал настуженным голосом:

— Надоть подремать малость!

Стефан подумал было, что они так и остановят в лесу, но скоро меж стволов показалась крохотная избушка, в которой, когда разгребли дверь и пролезли, отряхивая снег, внутрь, нашлись и дрова, и

береста, и даже немного крупы и соли, подвешенных в берестяном туеске под потолком.

Запалили каменку, дым повалил густо, как в бане. Якута с Сергием принялись рубить и носить валежник, Стефан же, тут только почуявший, сколь устал, без сил повалился на земляной пол. Когда-то младший брат тянулся за ним во всякой ручной работе! Он все же перемог себя, встал и тоже начал таскать сухие ветви вкупе с Сергием, в то время как Якута, ловко перерубая сушняк топором, складывал его в горку внутри избы.

Каменка прогорела, рдели угли, дым поредел, и стало мочно наконец, закрывши двери, улечься всем троим на жердевые полати над самой печью, застеленные свежим лапником, и подремать, по выражению Якуты, часа два до свету в дымном банном тепле.

Когда, умывшись снегом, поснидав и прибрав за собою, они снова вышли в путь, зеленое ледяное небо уже ясно отделилось от сине-серебряных елей и ветер, предвестник утра и далекого счастья где-то там, впереди, за зарею, за краем дорог, овеял лицо, напомнив Стефану юность, отданную невесть чему, и на долгий миг показалось неважным все, что было и есть на Москве, при дворе, в высоких хоромах княжеских и даже за морями и землями, в Цареграде, у франков и фрягов... Так бы вот и идти вослед брату, угадавшему главный смысл бытия, так и идти к заре, к возгорающему за лесом золотому столбу неземного сияния...

К полудню, миновавши, не останавливаясь, несколько деревень, они подходили к Переяславлю.

Волынский епископ Афанасий, застрявший на Москве во время великого мора, о сю пору пребывал во владимирской земле. Став негаданно для себя наместником Алексия, сиречь почти что митрополитом русским, он не слишком и торопился назад. На Волыни творилось неподобное, шла отчаянная борьба католиков с православными, литовские князья то уступали польскому королю Казимиру, то вновь брали верх над ним. Нынче Казимир привел на Любарта с Кейстутом Людовика Венгерского. Разбитый Кейстут попал в плен, откуда, впрочем, тотчас бежал. Любарт был осажден в Луцке. На выручку братьям явился Ольгерд с татарами, вновь вытеснив поляков с Волыни, опустошил Мазовию. Любарт, в свою очередь, вторгся в Галич; громили и грабили уже всех подряд, не разбираючи веры. Вести оттуда доходили плохо, с великим запозданием. Здесь было тихо. Ратная беда, отодвигаемая твердой рукою покойного князя Симеона, доселе не угрожала Залесью. Наместничество было также зело небезвыгодное. Словом, в Переяславле Афанасий присиделся. Занимал палаты покойного Феогноста в Горицком монастыре, судил и правил и с некоторым страхом даже ожидал возвращения Алексия.

Трое лесных монахов, пришедшие из дали дальней, за семьдесят не то осьмьдесят верст, поначалу озадачили и почти испугали волынского епископа. Служка доложил их приход, как-то криво улыбаясь, а когда Афанасий, все-таки порешивший принять ходоков, узрел сам их обмороженные красные лица, почуял острый звериный дух, распространившийся в тепле покоя от их платья и мерзлых лаптей, запах гари, принесенный радонежанами с их последнего ночлега, — ему стало совсем муторно. Поочередно взглядывая то на стоявших у порога иноков, то на лужи, натекшие с их обуви, он долго не мог взять в толк, чего же они от него хотят, и чуть было не отослал их сожидать приезда Алексиева, вовремя вспомнив, однако, что как раз Алексий-то и говорил ему нечто подобное... Да! О каком-то лесном монастыре...

— Под Радонежом?! — переспросил он, начиная догадывать, что иноки, стоящие перед ним, заслуживают большего уважения, чем то, которое он оказал им поначалу.

Афанасий, кивнув служке распорядиться о трапезе, предложил инокам присесть и снять верхнюю оболочину. Оттаивающие монахи уселись на лавку, со спокойным любопытством озирая богатый покой. Афанасий не ведал, что Стефан с Сергием были тут много лет назад у Феогноста, затеивая свое начинание, а Стефан и позже почасту наезжал в Переяславль по делам епархиальным и дворцовым.

Чума унесла многих прежних знакомцев Стефана, иначе его признали бы тотчас при входе в монастырь. Афанасий и сам неоднократно встречал княжеского духовника, знаменитого игумена, но именно потому и не сумел признать Стефана в худом высоком и мрачном иноке, обутом, как и двое прочих, в лапти с онучами и в грубом дорожном вотоле вместо прежней хорьковой шубы, отороченной соболем. Сам же Стефан из гордости не назвал себя в первый након, а теперь, когда они поднялись, чтобы пройти в монастырскую трапезную, стало вроде бы и неловко перед оплошавшим епископом. Положение спас горицкий эконом, заглянувший в палату, дабы проводить гостей в трапезную. Вглядясь в лик Стефана, он ахнул и, расплываясь в улыбках, нарочито громко, дабы подать весть Афанасию, запричитал:

— Брате Стефане! Гость дорогой! Батюшко! Давно ли от Богоявленья? А это не братец ли, к часу? Сергий? Слыхал, слыхал, как же! Слыхом земля полнится!

Настал черед ахнуть Афанасию. Он чуть было не задержал уходящих, намерясь велеть подать снедное сюда, в наместничий покой, но эконом показал ему рукою в воздухе замысловато: мол, не надо, все сделаю сам! И Афанасий, чая исправить невольное свое невежество, лишь послал следом за гостями иподьякона, веля созвать Стефана после трапезы для укромной беседы с глазу на глаз, и после не мог найти себе места, пока знатный гость не явился вновь перед ним все в той же свите и тех же лаптях, не вкусивши и четверти редких блюд, предложенных гостям заботливым экономом.

Афанасий долго не знал, с чего начать разговор. Покаял, что не признал Стефана, в ответ на что бывший богоявленский игумен повинился тоже, что

сразу не назвал себя наместнику. С затруднением, чуя, что у него вспотели чело и руки, Афанасий задал наконец главный вопрос:

— Почто не сам Стефан хочет стать во главе новой обители?

Хмуро улыбнувшись, Стефан отмолвил:

— Иноки избрали Сергия!

— Но братец твой, как понял я, — суетливо возразил Афанасий, — и сам не весьма жаждет стати пастырем стада духовного? Ведь ежели от меня они просят токмо избрать игумена...

Стефан прервал Афанасия, не дав ему докончить:

— Авва! Сам Алексий судил брату моему быти руководителем радонежской обители! Никого иного, ниже и меня самого, не хочет ни единый из братии, и посему поставить над обителью иного игумена — нелепо есть!

Он помолчал и, склонив чело, докончил:

— Владыка Алексий ведает и иное, о чем напомню днесь: еще от юности, и даже поранее того, до рожденья на свет, Господь избрал брата моего к престолу Святой Троицы! Был знак, видение, крик утробный...

— Слышал о том многажды и от многих, даже и от самого кир Алексия; и это совершило с братцем твоим?! — воскликнул Афанасий, тут только уразумев до конца меру события и окончательно смутясь.

— Да, отче! — отозвался Стефан. — И паки свершались... — Он не восхотел сказать «чудеса» и долго искал слова, произнеся наконец: — Свершались знамения... Над ним... — Он поднял строгий, обрезанный взор: — И потому сугубо... — И опять не докончил.

— Да, да, да! — подхватил Афанасий, не очень в сей час поверивший в знамения и чудеса. — Тем паче сам владыка Алексий...

— Да! — подытожил Стефан, решительно обрубая разговор.

Афанасий, свесив голову, задумался. Он мог... а пожалуй, и не мог уже поступить иначе. Природная доброта, впрочем, почти уничтожила в нем первую обиду на монахов, и теперь он лишь о том жалел, что не вгляделся в Сергия пристальнее.

— Баешь, Стефане, вся братия?!

Искус стать игуменом под Радонежом в это мгновение был столь велик у него, что едва не подвел Стефана, и позже остался ядовитою занозою в сердце, но Стефан и тут превозмог. Прожигая волынского епископа взглядом своих огненосных, глубоко посаженных глаз, он повторил вновь все преже реченное, и Афанасий сдался. Вскоре, вызвав Сергия и облобызав его, он нарек всеобщего избранника грядущим игуменом и даже прихмурил брови, когда Сергий по обычаю, заповеданному изустным преданием, стал троекратно отрекаться от уготованной ему стези.

— Тебя, сыну и брате, Бог воззвах от утробы матери твоея и нарек обителью Святой Троицы! — возразил он, примолвив в ответ на новые уставные отрицания Сергия: — Возлюбленне! Вся добрая стяжал еси, а послушания не имеши!

Якута, неведомо как вступивший в покой и доныне молчавший, тут тоже подал голос, подтвердив, что вся братия жаждет видеть Сергия игуменом.

— Как угодно Господу, тако и буди, — сказал Сергий, наконец вставая и кланяясь. — Благослови Господь во веки веков!

— Аминь! — ответили хором все трое, и как-то на миг стало не о чем говорить.

Афанасий, обретший наконец вновь свое прежнее достоинство, благословил и отпустил братьев до утра, до поставления в сан.

Сергий всю ночь, не ложась, простоял на молитве.

Само поставление свершилось торжественно и просто. Епископ Афанасий в праздничных ризах, повелев клирикам войти в алтарь и приготовить потребное, сам ввел Сергия в церковь, пустынную в этот час, и, поставя прямь царских врат, повелел читать символ веры.

— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и не видимым... — читал наизусть Сергий, слушая, как отчетисто отдаются под сводами просторного шатрового рубленого храма древние, утвержденные святыми соборами слова. — И во единого Господа Иисуса Христа, сына божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, им же вся быша...

За каждое из этих слов велась вековая борьба, пролиты потоки крови, споры на святых соборах доходили до драк. «Единосущным» или «подобосущным» называть Спасителя? Во «единого Бога» или «Бога и сына», как говорят латиняне? (И, следовательно, что освещает собою символ веры: соборность, где под властью единого каждый способен к духовному обóжению, или феодально-иерархическую лестницу чинов и званий, опрокинутую от земли к небу?)

Сколько пройдено ступеней, пока утвержденный Никейским и Халкидонским соборами символ веры принял его нынешний вид, связав христианство с поздней античной философией и отмежевав от враждебного ему иудаизма, а православный Восток отделивши от католического Запада!

— Нас ради человек и нашего ради спасения, — отчетисто произносит Сергий (и торжественность минуты возрастает с каждым речением), — сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшаяся. («Да, да! Именно так! И все еретики будут, как бешеные псы, кидаться на это утверждение соборных отцов, то сомневаясь, как Арий, в божественной природе Спасителя, то, как монофизиты, отвергая человеческое естество Христа. Меж тем и весь-то зримый мир, пронизанный божественными энергиями, разве не постоянно творимое у нас на глазах двуединое чудо? Чудо, которое создано предвечной любовью, а не силою зла, как утверждают манихеи, и не бесстрастным разумом, «нусом» неоплатоников»).

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. («Да, страдал! Именно

страдал и мучился и молил: «Да минет меня чаша сия!» — как и всякий смертный; и в том, в земных страстях, в страдании Спасителя, — надежда всех тех, за кого отдал он свою земную жизнь, всех христиан».)

И воскресшего в третий день по Писанием. («Не о чуде ли воскресения Христова больше всего идет великая пря христиан с иудеями и невегласами?»)

И восшедшего на небеса, и седяша одесную Отца. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца!

Сергий приостанавливается и молча глядит в алтарь. Афанасий, вздрогнув, не враз понимает, что посвящаемый отнюдь не забыл символа веры, а попросту хочет отделить основную часть от дополнения, возникшего после споров о триедином существе Божества. (Триедином и нераздельном, что окончательно отделило христиан от иудеев, как и от позже явившихся мусульман.)

— И в Духа Святого, Господа, Животворящего, — с силою продолжает Сергий, — иже от Отца исходящего, иже со Отцом и Сыном спокланяема и славима, глаголавшего пророки. Во едину святую Соборную и Апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь!

Проходят тысячелетия, и меняется система символов (неважно, верных или неверных. Принятый символ всегда верен, а отвергнутый — неверен всегда). Но в 1354 году от рождества Христова в европейском мире все это было основою любого суждения — философского, политического, юридического и, что для нас теперь важнее всего, основою национального бытия Русской земли, основою нашей самостоятельной государственности.

А человек, стоящий сейчас перед алтарем и посвящаемый в сан иерея, сумел найти и сделать внятными для своих современников такие стороны древнего византийского мировоззрения, которые помогли рожденным в эти мгновения детям выйти воинами на Куликово поле и определили духовную и нравственную природу нации на века вперед.

Окончив символ веры, Сергий еще постоял недвижимо, вслушиваясь в замирающую силу священных слов. Потом опустился на одно колено и склонил выю, отдавая себя Афанасию, который, крестообразно ознаменовав склоненную голову Сергия и накрыв его епитрахилью, читает посвятительную молитву, нарекая ставленника иподьяконом, а вслед за тем, еще до литургии и без перерыва, — дьяконом. И затем начинается обедня, во время которой ставленник должен стоять слева от престола, держа в руках дискос с частью агнца.

До второго дня Сергий, помимо святых даров, опять не вкушал ничего и снова простоял ночь на молитве, читая «неусыпающую» псалтырь.

Назавтра Афанасий — точно так же, перед обеднею, — посвятил Сергия в иерейский сан, поставив его уже теперь на оба колена справа от престола, с челом, склоненным на крестообразно сложенные руки, и вдругорядь накрывши его своею епитрахилью.

Посвящение во священника давало Сергию наконец право стать игуменом Троицкого монастыря.

Теперь Афанасий повелел ему своими руками приготовить и принести причастную жертву, после чего, опять же впервые, совершить литургию в храме.

У Сергия, испекшего многие тысячи просфор и навычного к любому, самому тонкому ручному труду, когда он впервые в жизни крохотным копьецом вынимал освященные частицы, непослушно задрожали руки. Он едва не уронил дискос, не ведал, куда положил копьецо, а когда уже перенес жертву на алтарь, сложил частицы в потир с разбавленным красным греческим вином и накрыл платом, то в миг пресуществления почти потерял сознание...

После литургии Афанасий зазвал новопоставленного игумена к себе. Духовная беседа их была кратка, ибо волынский епископ, присмотрясь наконец к Сергию, начал понимать, вернее — ощущать незримый ток энергий, исходящий от этого удивительного монаха на окружающих.

— Что мне рещи тебе, брате? — вымолвил он, заключая беседу. — Мню, великую пользу возможешь ты принести людям, окрест сущим, да и всему княжению владимирскому! Трудись! Сам Господь... да и владыко Алексий ходатайствуют за тебя!

III
СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД

Алексий просыпается со стоном. В каменной палате, несмотря на отверстое окно, душно. Глиняный светильник, оставленный на ночь, начадил до синей мглы. Он открывает и закрывает глаза, силясь прогнать ночное видение. Конечно, это все Кавасила, наговоривший ему вчера на развалинах Большого дворца невесть чего! О сю пору блазнит перед глазами! Он протягивает руку к глиняному кувшину с приготовленным на ночь питьем, отпивает, морщась. Жаль, что в Царьграде ни за какие сокровища не достать моченой брусники...

В сводчатом окне резко вырисовываются пятнистая от узоров камня колонна с обрушенной наполовину капителью, пустынный дворик и высокие стебли травы, пробившиеся сквозь выщербленные мраморные полы. Свет льется яркий, почти желтый, и от каждой травинки узорная игольчатая тень, словно хитрая роспись, недвижимо лежит на рассевшихся и потусклых мозаиках разрушенного крестоносцами триклиния.

Куда исчезло все, что он видел только что во сне? Восторженные толпы, войска, вооруженная этерия? На штурме Цареграда крестоносною ратью полтораста лет тому назад погиб всего один рыцарь!

Алексий представил себе на миг Боровицкую гору, рубленые дубовые городни, терема и праздничную византийскую процессию, извивающейся змеей ползущую среди клетей и амбаров Кремника. И ра-

зом отверг. Не получалось. И оба (уже покойные!) князя — крестный его, Иван, и Симеон Иваныч — понимали это, чуяли, хоть и не побывавши ни разу в ветшающем Вечном городе Константина...

Алексий вновь протягивает руку к кувшину, но в глиняном нутре сосуда уже не осталось воды. Будить Станяту не хочется, но тот сам, почуяв шевеление в хоромине, просовывает голову в дверь, мигая спросонь.

— Не спишь? — вопрошает Алексий.

— Не! Я рыбак, сызмладу на воде, дак привык ночами-то! У нас, в Новом Городи, о весенню пору светлы ночи ти! — возражает Станята и, живо сообразив святительскую трудноту, боком просовывается в дверь и протягивает руку к кувшину:

— Налить?

Алексий кивает, не сдержавши вздоха:

— Брусницы бы!

Станята только прищелкивает языком:

— Знамо дело! С ентим ихним овощем не сравнить! Дак нть всей родины в калите с собою не унесешь!

Алексий, почти не ошибаясь, догадывает, что под родиною Станята разумеет сейчас свой когда-то оставленный им Новгород, а отнюдь не всю Владимирскую Русь.

Станька первым проведал о приезде послов новгородского владыки Моисея, посланных к патриарху за крещатыми ризами. (Новый новгородский архиепископ всенепременно хотел сравниться с опочившим Каликою, избежав при этом посредничества московской митрополии.) Сам ходил на их подворье, разыскал старых знакомцев своих, о чем долго рассказывал Алексию.

— Почто покинул Новгород? — как-то вопросил его Алексий. Станята разом оскучнел ликом, отмахнул рукою:

— А! Стригольники енти, споры, свары... Не знай, где и по шее дадут!

Сергий правильно угадал в Станяте вечного странника. За недолгие месяцы пребывания здесь хожалый новогородец сумел стать совершенно незаменимым.

Сейчас вот он живо наполняет кувшин, выдавливает гранат в воду, приговаривая:

— Греки еще и с вином мешают, добрый получается квасок! — Поправляет походя фитиль в светильнике, вздыхает: — У нас об эту пору уже и снег падет! Снег-от есчо не обнастевшой, пуховой, легкой! Кони бежат, дак с-под копыт курева пылит, любота! Ты-то почто не спишь, отче? — спрашивает он, ставя кувшин на стол. — Есчо и заря не алела!

— Думаю! — сознается Алексий. — Давешнее нейдет из головы.

— Двореч-то ихний? — уточняет Станята, останавливаясь в дверях. — Тебе, владыко, все недосуг, да и соромно, а мы, молодшие, почитай, все ихние палаты излазали! Конецьно, обидно ромеям! И тот-то двореч, Влахерны, опосле латинов был в отхожее место превращен! Я тута с греками баял ихнею молвью, дак сказывали, как дело-то было! Един царь на другого божьих дворян навел, почитай — без бою сдались! А потом латины весь город ограбили, четыре дня жгли, десять тыщ никак церквей одних разволочили по всему-то царству!

Бают, в Софии на святом престоле непотребных девок голыми заставляли плясать. Сказать-то — и то соромно! Тьпфу! — Он зло сплевывает в сторону. — Теперича Анна, царица ихняя, иноземка, фряжского роду, опять за Рим заложить ся удумала... Тут Палама с Акиндином не зря споры вел! А нам уж, русичам, с латинами никак нельзя, ну никак! Съедят, с костями сгложут! Голых баб на святом престоле, эко...

— Ты поди, ляг! — просит Алексий.

Станята, понятливо кивнув, исчезает.

Луна сместилась, резко очерченный плат света на полу кельи сполз к самому изголовью кровати, и небо неприметно начинало синеть. Алексий вновь прикрыл вежды.

В Константинополь они прибыли еще в августе. (В августе 1353 года от рождества Христова. Впрочем, счет времени велся тогда, да и много спустя еще, по-старому, от сотворения мира, то есть с прибавкою пяти тысяч пятисот восьми лет.)

Позади остались речные лесистые излуки, кишащие непуганым зверьем и птицей, жаркие степи, татарские вежи, конные заставы степняков, любопытно выспрашивающих, что за люди и куда путь держат, пыль припутных торговых городов, обезлюженных чумою, почасту и вовсе пустых, заброшенных и уже зарастающих купами тальника, орешником и вездесущей березкой, и, наконец, слепящее, изнывающее под солнцем море с его соленою влагой, не виданными им до сей поры студенистыми существами — медузами, крабами и морскими звездами, разноязычье, запах и гомон чужой портовой толпы. Позади — споры и свары: шла война генуэзских фрягов с веницейскими, и неясно было, кто же повезет русское посольство в Константинополь и даже — не заберут ли их в полон ради богатого выкупа?

Но вот и желтые осыпи Киммерийских гор сокрылись в дымке морского отдаления, и потянулись дни, колеблемые стихией; и близился, и восставал из воды, и явился весь в зелени садов, башнях и куполах храмов великий город.

...Не спали уже с вечера. Постились, молились, ожидая выхода в Софию и первого на греческой земле причастия. Корабль стоял, уронив паруса, висел недвижимо в опаловой, потом бирюзовой воде, менявшей свой цвет по мере того, как подымалось солнце. (Их все не пускали чалиться к пристани.) Лодки шныряли к берегу и назад, шла нелепая толковня, поругивались моряки, роптали бояре, поминутно утирающие потные лбы тафтяными и бумажными платами, все не возвращался усланный еще с ночи Михайло Гречин, недоуменно переминались, взглядывая на своего главу, клирошане, и только он сам стоял недвижно и немо, не чуя ни жары, от коей дымилась под ногами просыхающая палуба, ни теп-

лого, с запахом пыли и ароматами незнакомых растений, ветерка. Перед ним был Царьград! Византий, семихолмный град Константина, столица православия! И что перед всем этим было безлепое кишение таможенных доглядатаев, запаздывающий патриарший клирик, наглые вездесущие фряги, которые и здесь совались почему-то во все щели, подплывали, пробовали даже забраться на корабль...

Наконец, вдосталь покричав, судно привязали вервием к четырем, раскинутым веером, лодьям и на веслах повели к берегу. От ослепительного сверкания воды было плохо видно, кто сидит в лодьях, кто сожидает их на пристани. Близился разноязычный гомон, волна жарких запахов, густое кишение толпы...

И вот они сходят вереницею по сходням неверными, отвыкшими от земной твердоты ногами, будто пьяные, иные крестятся, растерянно и смятенно оглядывая окрест.

Грек, встречающий русичей (всего лишь патриарший протодиакон), правильно угадав, подходит прямо к Алексию. Теснятся со сторон цареградские русичи, сбежавшие сюда целою толпой, неважно, тверичи, москвляне, новогородцы ли, тут, вдали от родины, все едино — Русь! Расспрашивают, тормошат, мало не ощупывают приезжих.

Пожилой, крючконосый, высушенный годами, фрязин в бархатном платье властно останавливает шествие. У Алексия непроизвольно сдвигаются брови, Семен Михалыч уже берется за рукоять меча на поясе, Артемий Коробьин готов взять невежду за грудки, но грек торопится разрешить недоумение и успокоить русичей: генуэзский бальи в своем праве — на этой пристани они емлют мзду с приезжих наравне с греками. Пока разбирались, Алексий терпеливо разглядывал иноземные плоские шляпы и чулки фрязинов, вчуже стыдясь за греков, допустивших такое непотребство в своем-то городе! (Вздумал бы какой фрязин на Москве не то что власть показать, а хотя и нищего задеть на улице, поди, и головы не сносил, посадские молодцы живо бы приняли на кулаки!) И уже и вонь берега будто сделалась гуще и заметнее рваная, исхудалая портовая толпа нищих, бродяг и калек, заискивающе остолпивших новонаезжих русичей.

Впрочем, как только начали восходить к городу, то, первое, уже и позабылось почти. Разом поразило изобилие каменных хором и палат, мощенная плоским камением дорога, густота уличной толпы, гомон, жаркая пыль, пронзительные крики торговцев. На Руси, воротясь откуда из дальних путей, вылезают из лодьи и первым ходом — на буевище, к могилам родительским; а там тишь да птичий щебет, и в тишине той хорошо, добро постоять молча, здравствуясь с усопшими.

Алексий плохо слушал протодьякона, передоверив пока все разговоры московскому гречину Михайле, да и враз не очень и доходила быстрая греческая речь к ненавычному уху. Внял токмо, что Каллист обещает принять русичей ввечеру, а не сразу же после литургии, как сожидалось да и было бы пристойно. И Алексий негромко, но твердо попросил передать патриарху настоятельную просьбу посольства хотя благословить их сразу же после литургии. Протодьякон, явно смущенный, засуетился, обещал непременно передать просьбу Алексия его святейшеству.

У столпа Юстиниана московиты чуть было не застряли. Задирая головы, дивились на медное подобие великого императора верхом на коне, с яблоком и жезлом в руках («Яблоко-то знаменует державу!» — тотчас подсказал греческий провожатый).

— Ишь ты, мир охапил в руце своя! — выдохнул кто-то из молодших за спиною, но уже и не было мига глянуть, кто, — начиналась София.

После пылающей солнцем улицы — мрак, после уличных воплей — звучащая стройная тишина, словно бы мрак расступался, наполняясь мерцанием светильников и согласным пением хора. Они шли, поворачивали, миновали первые, вторые, третьи двери. Миновали притвор святого Михаила; кланялись чудотворной иконе Богородицы, некогда воспретившей Марии Египетской, во гресех сущей, вхождение во храм; с опасливым удивлением оглядели двери Ноева ковчега; потрогали железную цепь, носимую апостолом Павлом; подивились на Спаса над дверьми храма и на великую стекляницу с исцеляющим маслом и наконец вступили в собор.

Дальнейшее было как в тумане, и сам Алексий лишь много позже, паки и паки посещая храм, мог восстановить последовательный порядок прохождения святынь: животворящего креста Христова; Авраамлей трапезы; столпа, на коем сидел Учитель, беседуя с самарянинкою; железного одра, на коем мучили святых Георгия и Никиту; ларца с мощами сорока мучеников; Богородичной иконы, заплакавшей, когда фряги взяли Царьград; Спаса, прехитро вырезанного в камении; могилы святого Иоанна Златоуста; мраморной великой, в шесть саженей, чаши, в коей крещает сам патриарх, — да и возможно ли было обойти враз и даже окинуть оком все диковины храма, в котором насчитывалось, по словам греков, восемьдесят четыре престола, семьдесят с лишком дверей и триста шестьдесят столпов из камения многоценного!

Патриарх Каллист все же принял русичей после литургии, благословил и беседовал кратко, отнеся и беседу и совокупное застолье к иным, удобнейшим временам.

Патриарх был сух и благолепен. Окружающие его греки в парадных ризах (Константинополь еще мог похвастать узорною шелковою парчою) глядели строго и недоступно. Все являло вид, будто Алексий тут и непрошеный, и чем-то всех заранее раздраживший гость. («Роман!» — догадал Алексий. По-видимому, тверской его соперник сумел многого добиться в Царьграде, пока они неспешно, по-московски, сряжались в путь.)

— Жаль, — скользом и как-то не глядючи в очи русскому ставленнику, посетовал Каллист, — что император Иоанн не возможет принять русичей, зане, по нынешнему гибельному разномыслию, силою удален из града!

Алексий едва не возразил, что они как раз и

прибыли к императору Иоанну, разумея Иоанна Кантакузина, но поперхнулся и удержал возглас, понявши вдруг, что патриарх разумеет Иоанна V Палеолога, с коим у Кантакузина шла война, и что, более того, Каллист, по-видимому, считает истинным императором не маститого, увенчанного короною полководца, занявшего ныне трон василевсов ромейской империи, а токмо юного сына покойного Андроника.

В патриархии Кантакузина явно не любили, и нелюбовь эту, в чем Алексию пришлось убедиться очень скоро, переносили на московитов, деятельно сносившихся с ним и даже помогавших императору русским серебром.

И застолье у патриарха совершилось в свой черед, но достодолжной беседы опять не получилось. Как сказали греки, до переговоров с императором (и уже неясно стало, с каким?) патриаршьи секреты решать что-либо не властны и не хотят. Каллист хотя и чел грамоту, собственноручно отправленную ему покойным Феогностом, но и чел как-то торопливо, исподлобья взглядывая в требовательные очи Алексия и тотчас отводя взор посторонь. Все это не обещало легких успехов, ни быстрого возвращения на родину.

Впрочем, пока устраивались, знакомились, размещали тридцать с лишком душ русского посольства по монастырям (только самому Алексию достало чести стать в келье при храме Святой Софии) — казалось не до того.

Надобно было посетить святыни, обойти чтимые обители, приложиться к мощам великих подвижников божьих, побывать в Одигитрийском монастыре, в Манганах, в церкви Спаса, у Андрея Критского, в Перивлептах, у Святой Евфимии и во множестве прочих монастырей, храмов и чтимых мест. И везде толпились нищие, увечные, больные, побродяги из деревень в лохмотьях и рубище, назойливо тянущие руки за подаянием, — живые печати увядания гордого города, коих Алексий старался не замечать. И везде и за все требовали мзду, так что бедному паломнику навряд и проникнуть было к святыням иначе, как по большим праздникам.

Простецы дивились греческим водоводам, устройству бань, да и сам Алексий, немного стыдясь себя, с удивлением разглядывал великий фонарь и огромную деревянную бочку, поставленную царем Львом триста лет назад, в окружении медных стражей, ныне изувеченных фрязинами, из которой непрерывно, столетиями, вплоть до латинского разорения, истекала вода в мовницу. Много дивились московиты также медяным змиям на Игрище, гладким разноцветным столпам, в коих можно было увидеть себя самого, как в зеркале, и многочисленным болванам, из камня и меди созижденным, расставленным по всему городу.

Около «правосудов» на Великой улице, тоже разбитых и изувеченных крестоносцами, меж русичей разгорелась настоящая пря. Иные не верили, что мраморные болваны отшибали зубами вложенную им в рот руку обманщика. Впрочем, о хитростях, измысленных в свое время Львом Премудрым, этим вторым Соломоном великого града, греки рассказывали на каждом углу еще и не эдакие чудеса.

Святыни посещали каждодневно, переходя от монастыря к монастырю, поклоняясь ракам подвижников, известных доднесь лишь по житиям и служебным минеям. В Апостольской церкви прикладывались ко гробам Константина и Елены, основателей святого града, во Влахернах поклонились покрову Богородицы, сокрытому в каменном ларце, в Софии с замиранием сердечным разглядывали мощи великого Иоанна Златоуста...

Бояре тем часом хлопотали о встрече Алексия с Кантакузином, а сам Алексий тщетно добивался неприлюдной толковни с патриархом.

Русские слуги, кто помоложе, озрясь в городе, уже шныряли по рынкам, украдкой бегали глядеть греческих плясуний и певиц, хоть Алексий и унимал, как мог, грозя изгнать гулен назад, в Русь.

Сам он тотчас взялся за перевод Четвероевангелия на русскую молвь, а уразумев, что чиновники в секретах сдерживают невольные улыбки, слушая его греческую речь, тотчас и круто положил исправить произношение, для чего через Михайлу Гречина нанял молодого грамотного послушника Агафанкела, с которым они на диво быстро сошлись до дружбы, невзирая на разницу лет.

Работали много, прихватывая часть ночи. Алексий чувствовал, что на Руси ему будет уже не до ученых трудов. Переводили не одно лишь Благовествование, скупали многие книги: творения отцов церкви, жития, хронографы, сочинения Пселла и Ксефилина, послания Григория Паламы... Агафанкел (русичи скоро стали называть его по-своему, откидывая окончание: Агафоном, Огафоном и даже Огашей) готов был носить книги и свитки целыми охапками. Греки продавали, словно в чаянье пожара или новой крестоносной беды, было бы серебро. Труднота явилась иная: как отличить истинные ценности от ложных, которые греки упорно старались подсунуть иноземцу. Помощь Агафона оказывалась в этих случаях неоценимой.

Как-то между ученых занятий Алексий, растирая пальцами усталые глазницы, вопросил его:

— Поедешь со мною в Русь?

— О! Кир Алексий! — с просветлевшим ликом радостно отозвался юноша.

«Как им нужда ныне разбегать с родины своей!» — подумал невольно Алексий, вчуже ощутив пугающую пустоту души человека, изверившегося в родимой земле.

Роман, ставленник Твери и Ольгерда литовского, как Алексий убеждался все более и более, напакостил им в чем только мог. Повсюду Алексий поневолею наталкивался на трудноты, заранее созданные мнения, умолчания и недомолвки. Вопреки ясному завещанию Феогноста, здесь, в столице христианского мира, все усложнялось и усложнилось неимоверно.

Он уже привык к путанице переходов, сводчатых палат, каменных лестниц, облепивших громадный Софийский собор, привык уже звать палаты катихумениями, начал вникать в непростую работу

патриаршей канцелярии, привык к жаровням, кухням во дворе, к незнакомым прежде греческим сладким овощам...

И всегда, и каждый раз, каждый день, — потрясала София, которую словно и не человеческие руки создали и возвели. Громадная, хоть и полускрытая пристройками патриарших палат, царских опочивален, переходов, приделов, камор, она внутри тем величественнее вдруг открывалась всею своею страшной величиной, грудою потерявшего плоть, вознесенного горе камня, этою круглящеюся в недоступной выси, с ликом Вседержителя, высотой, пронизанной по окружию светом многочисленных окон и потому словно бы отделенной от земли, словно бы висящей в аэре. Здесь, в Софии, паче, чем в развалинах Большого дворца или на просторе замолкшего ипподрома (русичи называли его по-своему, «игрищем»), языческое великолепие которого Алексий плохо понимал, становилась внятна ему прежняя великая Византия — центр мира, светоч веры, город — единственный на земле! И то, о чем ему позже толковал Кавасила, именно здесь, под сводами храма Господней мудрости, при звуках греческого торжественного пения, открывалось уму и сердцу с особенною силой. Он порою боялся даже и сравнивать, ибо казалось, что без малого весь Кремник Московский, и уж во всяком случае все храмы покойного Калиты, возможно уместить под этою величавою сенью. Даже храм Апостолов, дивно украшенный, не произвел на него такого впечатления, как это неземное сооружение, подаренное Юстинианом грядущим векам.

Но в тесных каменных сотах, облепивших Софию, где, казалось, от близости святыни надобно и ходить иначе, творилась неподобная возня, процветали зависть, злоба и подкупы, в чем неволею должен был участвовать и он сам. И не пораз, и многажды приходило вспоминать Алексию предсмертное наставление Феогноста: «Не жалей серебра!» — там, на Москве, резанувшее его слух, а здесь понятое им уже и досыти.

Дома, уединившись в своей каменной келье и утвердив на источенном червями столе тяжелую медную чернильницу, привезенную с собою, Алексий переводил пламенные слова Учителя, отвергшегося всякой корысти земной, и тут же поминалось, кому и какую надобно дать завтра мзду в секрете великого хартофилакта и кого не оскорбить, вручив взятку его кровному ворогу.

Ужасом омерзения веяло от рассказов знакомых греков про василиссу Анну, которую в сладостное содрогание приводил вид пролитой крови и растерзанных жертв, отрубленных рук и голов, вздетых на копьях... Анну, италийку, ревнующую об унии с Римом! И однако, в бедах своих греки почему-то винили отнюдь не ее, а Кантакузина, кто явно, кто исподтиха намекая на тайное властолюбие и коварство нынешнего императора.

По счастью, сам Каллист был почитатель Паламы и решительный противник унии. Но он-то как раз и не признавал Кантакузина законным императором!

Патриарший протонотарий был чем-то удивительно похож на того давнего грека, что посещал Москву и столкнулся с Алексием когда-то в споре о свете фаворском. То же гладкое лицо, та же расчесанная волосок к волоску борода, то же выражение вежливого превосходства, доведенного до нежелания спорить о чем-либо с «варваром».

— Ты же видишь, брат! — говорил он, слегка приподнимая брови и разводя пальцы правой руки нарочито беспомощным жестом. — Ваш великий Кантакузин возжелал оттеснить от престола законную династию! По милости его все безмерно запуталось ныне! Безмерно! Ужасы гражданской войны, коих вы, московиты, к счастью для себя, не видали... Да, да, вам это трудно постичь... Я понимаю, да. Потом чума! Власть держится на трех опорах: народе, синклите и войске. Народ истреблен чумой и разорен налогами. Войско наше погибло во Фракии. Синклит? Где он теперь и главное — кто в нем?! «У ромейской державы есть два стража: чины и деньги», — изрек в свое время великий Пселл. Денег, по милости гражданской войны, у империи не осталось совсем. Гражданские чины, да будет это вам, русичам, ведомо, расположены в определенном порядке, и существуют неизменные правила возведения в них, вернее — существовали до Кантакузина. Одни он отменил, другие упразднил, управление доверил родичам своей жены, а выскочек из провинции причислил к синклиту. Последовательное течение дел нарушено, нарушено почти непоправимо. Мы совершенно бессильны, наш дорогой русский собрат! Совершенно! (И в том, как протонотарий произносил это «совершенно», чуялось почти сладострастное торжество.) А поборы? Фракия разорена, провинции потеряны. Кантакузин отразил сербов? Но он содеял нечто гораздо более страшное — навел турок на империю! Дело Палеологов, дело мужей, воскресивших страну, отвоевавших великий город у латинян, ныне на краю гибели!

И протонотарий был отнюдь не одинок. В чем только не обвиняли императора в секретах патриархии. Ложь, хитрость, тайное властолюбие — были далеко не самыми страшными из приписываемых василевсу пороков.

Впрочем, Алексий, привыкший полагаться на личное мнение больше, чем на пересуды и слухи, с первой же встречи почувствовал расположение к Кантакузину.

Василевс, принимая русича во Влахернах, на коих также лежала печать едва прикрытого скудными поновлениями запустения, в палате, где выщербленные мозаики были грубо заделаны раскрашенною штукатуркой, а стены и ложа не подходили друг к другу, снисходительно пошутил о бедности империи, обведя стол и приборы царственным мановением большой, старчески красивой руки в узлах вен и шрамах, полученных в давних боях:

— Пока я был только дукой, то тратил на обед в десять раз больше, чем теперь!

Алексий, вглядевшись в накрытый стол, вдруг понял, что слова автократора слишком уж справедли-

вы для шутки, ибо выставлены были только простые глиняные, точеные, медные и оловянные блюда, чары и кувшины. Не то что золота, даже серебра не было на столе повелителя ромеев!

Председящие сдержанно засмеялись, улыбками давая понять, что они ценят шутку хозяина, но отметают от себя всякую мысль об истине сказанного. А Алексий, вскинув взор, углядел в глазах василевса невнятную иным мгновенную искру горечи.

В тот вот миг резкая до боли жалость к обреченному и непонятому великому мужу вонзилась в сердце Алексия, и судьбы их показались удивительно схожими: подобно тому, как Кантакузин мыслит спасти империю при ничтожном Палеологе, так и ему, Алексию, предстоит сохранить дело Калиты при нынешнем слабом государе.

После того памятного приема, выслушивая в секретах патриархии бесконечные упреки Кантакузину, Алексий с трудом сдерживал в себе желание в громком споре защитить царя. Виделось, что все они только говорят, говорят, говорят, а тот, один, пытается что-то содеять и оттого и потому сугубо ненавидим прочими!

Собственные нужды Алексия испытывали коловращение, подобное движению коряги, попавшей в омут, которая кружит и кружит, то выныривая, то утопая, но все не попадая на стрежень реки.

Каллист, мельком встречая русского кандидата, выспрашивал об его успехах в переводе с греческого, но все не находил времени или, вернее, не хотел поговорить о главном — нуждах митрополии и поставлении Алексия. В секретах сакеллария, хранителя утвари, и скифилакоса, великого эконома, к нему относились хорошо (да и не диво, памятуя серебряный русский дождь!), но в главном секрете великого хартофилакта, в коем хранился архив, соборные уложения, велись деловые бумаги и вся переписка патриархии, где составлялись указы и проверялось исполнение церковных установлений, — творилось совсем неподобное.

С Алексием были очень любезны, но чуялось нечто затаенное, не имущее ни вида, ни имени. Великий хартофилакт (по-русски — печатник, по-латински — канцлер), правая рука патриарха, вечно отсутствовал, как дологали — по болезни, а ежели бывал, Алексию никак не удавалось его поймать. А протонотарий, помощник хартофилакта, тот самый гладколицый грек, вел себя и вовсе безлепо. Обещал найти нужную Алексию до зарезу грамоту новогородцев (жалобу на покойного Феогноста с просьбою церковного отделения) и искал ее целый месяц. Алексий давал деньги, тем не менее грамота так и не находилась. Должен был списать противни с грамот патриарха в Литву и Галицию, о незаконно поставленном Феодорите, и не снимал. Жаловаться Алексий пока не хотел, чая на случай своего отъезда иметь добрые отношения в секретах, но и они не завязывались.

Наконец дьякон Георгий Пердикка из секрета великого скифилакоса объяснил ему сию трудноту. Великий-де хартофилакт предан Каллисту и недруг Кантакузина, к тому же подкуплен Романом, но доказать последнее невозможно, ибо он очень осторожен; а его помощник, протонотарий, поклонник известного Никифора Грегоры, историка и хулителя Кантакузина, ныне посаженного василевсом в тюрьму, с ним еще хуже: подкупить-де его невозможно, овиноватить — тоже. Но оба тянут, а остальные — боятся...

— Чего могут бояться они?! — требовательно вопросил Алексий.

Пердикка в свой черед начал вилять, вздыхать, так ничего и не объяснив.

Алексий пробовал заговаривать с разными чинами в секретах патриарха. Отвечали уклончиво, оглядываясь. Наконец один юный монах, получивший от него златницу, сунул Алексию записку с приглашением зайти в монастырь Святого Федора Студита к такому-то старцу. Туман, кажется, начинал рассеивать. Во всяком случае, приглашением сим никак не следовало пренебрегать.

Вечером Алексий, взяв посох, вышел один из покоев, наказав Станяте с Агафанкелом не провожать себя, и пошел не по Месе, ради лишних глаз и ушей, а, уклонившись за ипподром, спустился к гавани Кандоскамии, запиравшейся с моря железною решеткою, и оттуда, минуя церкви святых Фомы и Акакия, извилистою грязною улицей, идущей почти вдоль воды, по-за стеною, защищающею Константинополь со стороны Пропонтиды, устремился к западу, в сторону Золотых ворот.

Роскошные портики, хоромы знати, украшенные львами площади остались в стороне. Под ногами пока еще чуялась каменная мостовая из покореженных и полузасыпанных плит, но далее, ближе к Ликосу, улицы становились все грязнее, дома беднее и ниже, пустыри зримо надвигались на остатние жилые кварталы, в коих и жизнь теплилась едва-едва. Словно в деревне, бродили свиньи и козы, кое-как загороженные грядки с зеленью подступали к самой мостовой. Воняло падалью и отбросами, и даже ветер с Пропонтиды, натыкаясь на каменные стены, сникал, не в силах разогнать смрадный дух городских свалок, которые никто явно не собирался ни чистить, ни вывозить за пределы Константинополя. Только уже у самых Псамафийских ворот начали встречаться вновь мраморные палаты, некогда строенные в загородье и попавшие в черты городских стен после того, как была возведена нынешняя тройная стена Феодосия, перепоясавшая полуостров от Золотых ворот и до Влахерн.

Наконец, когда уже южная мягкая темнота оступила город и в сгущающемся горнем эфире началось первое, еще робкое, роение звезд, показался величественный древний монастырь, с возвышенным храмом и роскошною трапезною, воспетый греческими витиями и прославленный русскими паломниками, обитель, откуда Великий Феодосий Печерский получил устав, ставший каноном для русских монастырей, откуда вышли многие и многие подвижники церкви православной. В иную пору Алексий не

умедлил бы вновь и опять обойти все местные святыни и отстоять службу, но ныне ему было не до того. Он лишь на миг заглянул в пустой к этому часу храм с удивительными, словно усыпанными жемчугом полами, преклонив колена у нетленных мощей святых Саввы и Соломониды, прославленных чудесными исцелениями.

Рекомую келью пришлось искать довольно долго в путанице закоулков, иные из коих явно служили отхожими местами для монастырской братии. Наконец, когда Алексий уже отчаивался в своих блужданиях (спрашивать отца эконома или келаря, по необходимости открывая свое имя, ему вовсе не хотелось), в грубой, кое-как сложенной каменной стене показалась отверстая дверь, скорее дыра, в проеме которой стоял знакомый молодой инок (как оказалось, племянник старца), уже сожидавший Алексия.

В тесной каморе на грубом дощатом столе теплилась одна лишь глиняная наливная плошка с зелеными носиками для фитилей. Тусклая лампада освещала небогатую божницу. Ларь для одежды, да скамья, да глиняная корчага, да старинной работы поставец с немногими книгами, да жесткое ложе схимника, застланное рядном, — вот и все убранство бедной монашеской кельи.

— Старец вскоре грядет! — ответил по-гречески молодой монах на молчаливый вопрос Алексия. Тут же, приняв посох гостя и подвинув ему деревянное блюдо со смоквами, он принялся, уже не таясь, изъяснять то, что ранее постигалось Алексием лишь из отрывочных намеков и умолчаний.

При Каллисте в секрете хартофилакта часто бывал Никифор Грегора, постригшийся три года назад в монахи. Грегора заглазно изрыгал сугубую хулу на Алексия: де, неученый медведь, надеющийся на московское серебро, и вообще-де ныне греков покупают огулом и в розницу кому не лень. Сими словесами он весьма огорчил протонотария, ныне воспомнившего, что он — гордый ромей, коему негоже подчиняться северному варвару...

— Но почему меня словно боятся остальные? — хмуро спросил Алексий.

— В том-то и дело! Старшие нашего секрета считают... — Тут юноша замялся и опустил глаза.

— Что император и его приближенные долго не продержатся? — догадав, вопросил Алексий в лоб. — Но почему не страшатся иные?

— Другие еще верят в императора и его звезду! Я тоже верил... Но ему слишком не везет! Двукратная гибель кораблей, чума, землетрясение... Отец мой потерял руку, когда пожалел заключенных, убивших Апокавка. Семейство наше бедствует, живет только моим скромным жалованьем. Поэтому я, как видишь, осмелел... Но я тоже не ведаю, в кого верить! Одни ни во что не верят, другие верят еще...

— Но те, — уже не сдерживаясь, перебил Алексий, — кто стоит за Каллиста и молодого Палеолога, верят тверже, а сторонники Кантакузина на всякий случай ищут, как уцелеть, ежели...

— Да, так! — отмолвил молодой монах, опуская очи и покаянно вздыхая. — По слухам — пойми, русич, токмо по слухам! — сам Дмитрий Кидонис, обласканный василевсом, от коего зависит и твоя судьба, и тот ныне склоняет к Варлаамовой ереси и к союзу с латинами!

— Быть может, в людях, а не в судьбе причина неудач императора?! — с силою вопросил Алексий.

Юноша снова вздохнул, произнес неуверенно:

— У него было много верных сторонников. Но он хотел примирить тех и других, а вышло... Сейчас не разобрать концов. В том ли виноват император, что не отстранил Палеологов, или наоборот — в том, что воевал с ними?

В прихожей послышалось шевеление, и вошел старый монах, ширококостный, с кустистыми седыми бровями, со строгим взором на суровом, иссеченном временем лице, неся в руках блюдо со скудною трапезой из вареной капусты.

Алексий встал встречу хозяину, благословил и принял благословение старца, отнесшегося к нему как к равному себе, что и тронуло Алексия и разом расположило к схимнику.

Помолясь, в молчании приступили к еде.

Отерев рот платком и перекрестясь, старец сам повел речь, словно бы продолжая то, что до него говорил молодой:

— Концы надо искать в давнем! Еще там, где мы потеряли свой некогда могучий флот, без которого империи с ее тысячью островов и изрезанными берегами нельзя жить! Тогда, когда, разорив крестьянина, привыкли полагаться на наемников, которые больше грабили нас, чем защищали. А решающий удар нанес сам спаситель Константинополя, Михаил Палеолог! Он порушил все доброе, что отстояли Ласкари. Я слышал от деда своего, как скромны были никейские императоры, хозяйственны, доступны для любого крестьянина. Тогда наши пограничные воины, доблестные акриты, железной стеной обнесли Вифинию! Михаил Палеолог ослепил ребенка Ласкаря и уже тем погубил свою династию, которая до сих пор несет проклятие злодейства! Но он содеял и худшее. Ему нужны были деньги, чтобы отвоевать Грецию, и он непосильными налогами разорил храбрых акритов. Когда же те подняли восстание, разгромил всю Вифинию! И турки хлынули туда. Остались островки: Брусса, Никея, Никомидия, которые долго держаться не могли... Мы сами расплодили османов на наших землях! Ранее у османов было очень мало земли, и они вынуждены были бы века драться с сельджуками. Пустив их в Вифинию, мы позволили османам создать нынешнее государство Урхана! А ежели они теперь перейдут на наш берег, как предвещают упорно недруги василевса, империи настанет конец.

— Но разве Андроник Третий не пытался отвоевать земли Никеи? — возразил Алексий, коему противна была мысль о конечности любых потерь, столь многое, потерянное ранее, предстояло отвоевать Руси Владимирской.

Но старик, понурясь, покачал головой:

— Не пустить турок можно было, но отвоевать...

Пытались — были разбиты... Грекам уже неоткуда брать воинов! — Он поднял голову, помолчал и твердо вымолвил, блеснув взором из-под мохнатых бровей: — Вина Кантакузина в том, что он не взял власть в свои руки после смерти старого Андроника! Он остался верен семье покойного, но предал тех, кто верил в него, верил, что только великий человек мог спасти империю!

— Но... — Алексий не находил слова, — но... удаление законного императора тоже привело бы к междоусобной брани?

— Нет, — ответил старик. — Я был среди воинов, все были за него, все верили в Кантакузина, как в мессию! Ему не надо было убивать Иоанна Пятого, просто заключить Анну в монастырь, выслать ее вельмож да не давать воли злодею Апокавку... Ах, да что говорить теперь! Я бросил меч и доспехи воина переменил на схиму. Един Господь возможет ныне спасти нашу несчастную страну!

Следующею ночью Алексий уже сидел над списком «Истории» Грегоры, добытым для него Агафанкелом. Протонотария, не желавшего быть подкупленным, следовало подкупить доводами разума, а доводы сии лучше всего было почерпать из сочинений того, на чей авторитет опирался протонотарий в своем нелюбии к московиту. И Алексий, хмурясь, то отчеркивал ногтем иную строку Грегоры, то, откидываясь на сиденье и невступно глядя в пустоту, думал, порою занося найденную мысль своим мелким, красивым, убористым почерком на вощаницы. И даже Станята, сунувшись в келью и узрев лик Алексия, отпрянул, осторожно прикрыв за собою тяжелую дверь.

Упорство умного редко не достигает цели. В секрете хартофилакта Алексию удалось приобрести не то чтобы сторонников, но людей, понявших, что перед ними муж многих государственных добродетелей, необходимых по нынешней поре, и уже потому достойный сугубого уважения. Греков особенно тронуло, что этот скифский «медведь» прилежно изучает науки, собирает иконы, книги и утварь церковную, причем не как-нибудь, не расшвыривая направо и налево зряшное серебро, но проявляя и в сем непростом деле истинное разумение, ум и вкус, недоступные варвару.

Всем и всюду Алексий не уставал рассказывать при этом, что и там, в далекой России, идет борьба с латинами, мнящими одолеть православную церковь и уже премного укрепившимися в Ольгердовой Литве.

Греки вздыхали, соглашались, кивали головами, и все-таки дело не двигалось, и уже яснело, что вина лежала теперь уже и не на чиновниках секретов, а на самом патриархе.

В эти дни тяжких и беспрерывных хождений по канцеляриям Алексий и познакомился с Кавасилою, сподвижником императора, который нынче заставил его неволею увидать во сне торжественное шествие византийских владык.

Вчера, сопровождая Алексия в храм Сергия и Вакха, расположенный внизу за ипподромом, он затеял непременно показать московиту каменный терем Константина и лежащий в развалинах со времен крестоносного взятия Большой дворец, благо от патриарших палат в катихумениях Софии им было как раз по пути.

В Большом дворце императоры не жили еще со времен Комнинов, устроивших себе новое обиталище во Влахернах, пригородном дворце, совсем на другой стороне города, на берегу Золотого Рога. Уже тогда, видимо, содержать этот огромный многопалатный город-дворец с тысячами служителей было не под силу для оскудевшей императорской казны.

Взятие Константинополя крестоносцами и недавнее землетрясение окончательно погубили Большой дворец, хотя еще до крестоносцев многие ценности — резная кость и серебро, ковры, драгоценные столы и ложа, мраморные кумиры, золотые чеканные троны — перекочевали во Влахерны.

Крестоносцы разграбили все, что оставалось во дворце, а чего не могли увезти, доломали и дожгли в пору своего бесславного сиденья на троне греческих василевсов, когда последний латинский «император», не имея денег на дрова, сожигал в печах резную утварь и деревянную обшивку дворцовых стен.

Но и ободранный, но и частично обрушенный, с пустыми провалами вместо дверей и окон, с рухнувшими куполами и выщербленной мозаикой, дворец потрясал воображение.

...Они с Кавасилою были одни. Свита отстала, заблудившись в переходах Магнавры. Только Станята резво поспешал за Алексием, впрочем, по молодости своей и он не стоял близ, а совался во все расщелины и углы, цепким взглядом новгородца выискивая и озирая сохраненные случаем диковины.

Николай Кавасила, приближенный двора, друг самого Кантакузина, был в подчеркнуто простой полумонашеской хламиде (Алексия уже не раз поражало в греках это разномыслие не токмо во взглядах, но и в одеждах своих). В городе, где роскошь, подчеркнутая жалкою бедностью окраин и нищетою сбежавшихся в Царьград разоренных селян, подчас свирепо била по глазам, изливаясь на улицы блеском парчи и шелков, узорными нарядами знати, праздничными хитонами и далматиками, являющими собою чудо ткаческого искусства; среди этой непростой пестроты вдруг поразит глаз благородная бедность льняного хитона и серой, из некрашеной шерстяной деревенской ткани хламиды, наброшенной на плеча ученого мужа или придворного, про коего уже теперь возможно сказать, что со временем, покинув груз интриг и искательного соперничества, отринув само звание свое, уйдет он в какой-нибудь пригородный монастырь или скроет себя еще далее, на Афоне, и станет там предаваться умной молитве, исихии, да переписывать древние книги убористым греческим минускулом.

Таков был и Кавасила. Выйдя исчезнувшими дверями к полуразрушенному Фару, он только плотнее закутался в свою серую хламиду, отороченную по

краю неширокой синей каймой (один этот синий цвет и был намеком на его высокое положение), и замер, торжественно глядя вдаль. Ветер Мраморного моря отдувал его длинную нестриженую бороду и шевелил волосы непокрытой головы. Замер и Алексий, невольно охваченный нежданною красотою сего места и картиною, развернувшеюся под ними и окрест.

Они стояли на илиаке Фара. Внизу и вдали, в разросшихся благоухающих осенних садах, лежал арсенал и порт Вуколеонта, а совсем вдали серел и желтел турецкий берег, и синеющая Пропонтида властно опрокидывалась на них своею неукрощенной колеблемой ширью.

Пройдут века, окончательно падут дворцы ромейских императоров, изменится людская молвь на берегах вечного пролива, но все так же будет дуть теплый ветер с Пропонтиды, все так же глубокою синью и шелком отливать древние волны, помнящие походы язычников-русичей на Царьград, греческие триремы в водах своих, царя Дария, и Ксеркса, и осаду Трои, и поход аргонавтов за золотым руном, и едва различимую уже в дымке времени загадочную киммерийскую старину...

— Вот здесь был знаменитый Фар! Маяк василевсов Ромейской империи. В этой вот башне! Вот и храм Пресвятой Богородицы Фара! — со вспыхнувшим взором заговорил Кавасила, оборачиваясь к Алексию. — Здесь неусыпная стража принимала вести, передаваемые василевсу от фара к фару, от огня к огню, от самых границ империи: с Евфрата, Кавказа или Аравийской пустыни, — о движении персов, восстаниях, набегах сарацин... И тотчас повелением василевса стратиги подымали акритов и вели тяжелую конницу в катафрактах, чешуйчатых панцирях, отражать врага! Здесь, где стоим мы с тобою, некогда стоял автократор, коему принадлежали Вифиния и Понт, Пафлагония и Каппадокия, Армения, Лидия и Киликия, Исаврия, Сирия и Египет, и сама Святая Земля, и Ливия, и Африка...

Не договорив, внезапно угаснув голосом, Кавасила замолк на полуслове. Дальний скалистый берег, за коим еще недавно простиралась победоносная Никейская империя, ныне принадлежал туркам султана Урхана...

Кавасила медленно отвернулся от Фара. Овладел собою. Начал объяснять вновь, подавляя невольную горечь плетением звучных словес:

— А тут были — вникни! — целых три серебряные двери, каждая из которых стоила иного дворца в какой-нибудь варварской стране! — Он скользнул взглядом по лицу Алексия, поняв с запозданием, что тот мог принять «варварский» на свой счет, но Алексий лишь склонил лобастую голову, показывая сугубое неогорчительное внимание. — Через этот проем, где была главная дверь, заходили в Хрисотриклин. Он выстроен еще Юстином Вторым и, как видишь, напоминает церковь! Те же восемь камор, перекрытых сводами, и в центре купол. Вот в этой нише, на возвышении, находился царский трон, нет, целых два трона! По будням василевс садился на золоченое кресло, по воскресеньям — на пурпуровое. Вон там, в вышине, на своде, еще видна мозаичная икона Спасителя, хотя золотую смальту из нее выковыряли алчные латиняне, а кострами, которые они жгли на полу триклина, закоптили все своды...

Ты не можешь представить себе былую роскошь места сего! Какие висели ковры на этих мраморных стенах, какие золотые и серебряные светильники стояли у каждой ниши, какое роскошное серебряное поликандило свешивалось с высоты! А парчовые завесы! А скамьи из эбенового дерева!

В мрачном ободранном зале было пусто и гулко. С закопченных сводов сыпалась пыль. Вспугнутые голуби, хлопая крыльями, реяли кругами, пятная пол белыми пятнами помета... Но Николай Кавасила зрел красоту, утонувшую в веках, и, воскрешая словом древнее величие золотого триклина, заставлял видеть ее и Алексия.

— Есть только одно место, не уступающее Хрисотриклину, — продолжал Кавасила, — ныне обрушенная палата Магнавры! Там тоже была тронная зала, в ней василевсы принимали иноземных государей и послов. Именно там стоял трон Соломона с рычащими львами и поющими птицами. Там мы принимали вашу Ольгу, архонтессу, или княгиню, как говорят руссы...

В Магнавре была некогда высшая школа, где юноши из разных городов и стран изучали философию, риторское искусство, творения святых отцов и великие законы Юстиниана. Видел ли ты когда-нибудь дворец, в котором было бы столько тронных зал?! — спрашивал Кавасила, лихорадочно блестя глазами, как будто не развалины показывал он и не по развалинам они пробирались, обходя рухнувшие колонны и глыбы камня с провалившихся сводов. — Вот в этой нише, за шелковым занавесом, царь переодевался и надевал венец. В этой небольшой церкви, ныне заброшенной, хранилось царское облачение и многие священные реликвии, например жезл Моисея.

— Где он теперь? — оживившись, спросил Алексий.

— Похищен латинянами! — ответил за Кавасилу подошедший сзади клирик из свиты. — Похищен и вместе с крестом Константина увезен в страну франков!

Все трое смолкли на мгновение, как бывает при воспоминании о погибшем или опочившем ближнике.

— А вот тут выход в китон, царскую спальню! — продолжал Кавасила, поспешив разрушить тягостное молчание. — Это кенургий, построенный Василием Македонянином, приемная зала китона. Взгляни! Здесь были колонны из зеленого фессалийского мрамора, вот тут еще сохранились остатки изящной резьбы! Все стены здесь были покрыты золотой мозаикой, и по золотому полю изображены сцены царских побед и приемов послов. А тут был изображен сам автократор Василий с царственной супругою Евдокией. А вот здесь, на полу китона, в кругу из карийского мрамора, из разноцветных камней был сложен павлин со светозарными перьями и по углам — четыре орла с распростертыми крыльями, царские пти-

цы в рамах из зеленого мрамора. Потолок тут был усыпан золотыми звездами, и среди них сверкал крест из зеленой мозаики, а вдоль стен мозаичные узоры образовывали как бы кайму из цветов, и выше, по золотому полю, была изображена вся императорская семья... Все это похитили, уничтожили, разорили латиняне!

Там, далее, в жемчужной палате, находилась летняя опочивальня царей с золотым сводом на четырех мраморных колоннах, с мозаичными украшениями, изображавшими сцены из охотничьей жизни: тут псы, как живые, рвут оленя, и яркая кровь капает из его ран, там медведь встал на дыбы, стараясь достать охотника, выставившего копье, здесь вепрь кидается на всадника, обнажившего меч... Отсюда с двух сторон были выходы в сады, манившие прохладой и ароматами редких цветов...

В тех покоях, называемых карийскими, находилась зимняя опочивальня, защищенная от резких ветров, дующих в январе с Пропонтиды. Тут была и уборная императрицы, с полом, выложенным белым проконийским мрамором, вся украшенная дивною росписью. Но выше всего, доступного воображению, была спальня императрицы — удивительная зала с мраморным полом, казавшаяся усыпанной цветами лужайкой, со стенами, выложенными порфиром, зеленым крапленым мрамором фессалийским, белым мрамором карийским, с парчовыми, затканными золотом завесами, — представлявшая такое счастливое и редкое сочетание цветов, что и сама получила название мусики, или гармонии, ибо только в божественных звуках возможна подобная красота!

Были тут еще покои Эрота и покои порфировые, где рождались дети императоров, «порфирородные»; и от нас, греков, это название разошлось ныне по всему миру!

Представь себе, взирая днесь на эти развалины, домысли разумом великолепие дверей из серебра или слоновой кости, пурпуровые завесы на серебряных прутьях, златотканые покровы на стенах с изображениями чудесных зверей, каких только могла измыслить причудливая древность, большие золотые светильники и поликандила, инкрустации из перламутра, золота и резной слоновой кости.

Тут-то, среди этой неземной красоты, и жила «слава порфиры», «радость мира», «благочестивейшая и блаженная августа», «христолюбивая василисса», как приветствовал ее народ на больших выходах или в садах на пути в Магнавру, когда императрица шла принять ванну в Магнаврском дворце в сопровождении своего препозита, референдариев и силенциариев, избранных из числа евнухов дворца, несших благовония и одежды августы, в сопровождении опоясанной патрикии и девушек свиты.

Многие наши василиссы собирали у себя писателей и ученых, подобно мужам, умели толковать о тонкостях богословия и даже сами сочиняли книги! Особенно славились этим царицы из рода Комнинов. Ты многого не знаешь еще о величии нашей страны!

А когда императрица дарила императору сына, то через восемь дней по рождении дитяти весь двор торжественно проходил перед роженицей. В опочивальне, обтянутой шелками и златоткаными покровами, сверкающей огнем бесчисленных светильников, молодая мать лежала на постели, покрытой золотыми одеялами. Подле нее стояла колыбель с порфирородным дитятею, и препозит по очереди впускал к августе членов императорского дома. Затем следовали по старшинству жены высших сановников и наконец вся аристократия империи: сенаторы, проконсулы, патрикии, магистры, всякие чины кувуклия и синклита, и каждый приносил августе поздравления и подарки.

Великая Феодора, возвышенная Юстинианом с самых низов до престола ромейской империи, совместно с супругом своим управляла страной, являя в бедах нрав, мудрость и волю, достойные высокоумного мужа!

Идем отсюда! Мне самому тяжко взирать на то, что есть, зная о том, что было в века нашего величия!

Сейчас мы проходим по Лавзиаку. Тут стояли сановники во время больших выходов. Одна из дверей была отделана слоновой костью. Гляди, гляди! Там, сверху, чудом сохранилась пластина! Какая изящная резьба!

Отсюда проходили в Юстиниан, где был потолок с золотою мозаикой, а полы выложены разноцветными блестящими мраморами и плитами порфира, на коих останавливался сам василевс. Тут тоже иногда давались обеды приглашенным гостям. В этом рухнувшем триклине наша царица принимала вашу архонтессу Ольгу. Здесь они обедали с благородными женами из Руссии, а ее мужская свита обедала с царем в Хрисотриклине.

А вот тут, через вестибул Скилы, можно было выйти на ипподром. Выйдем и мы! Отсюда к храму Сергия и Вакха ближе всего.

Ты говоришь, у вас есть монах Сергий, коему ты прочишь судьбу великого подвижника? Мне о нем с твоих слов поведал Филофей Коккин, наш гераклейский митрополит, кажется, знакомый тебе? И ежели... — Тут Николай Кавасила, оглянувшись на свиту, следовавшую за ними в некотором отдалении, приблизил уста к уху Алексия и произнес скороговоркой, шепотом: — Ежели кто и может помочь в деле твоем, то он — и только он! Не патриарх, не Каллист!

И тут же, углядев приближающегося к ним прежнего клирика, Кавасила вновь поднял голос, расхваливая достоинства царских палат:

— Ты не видел еще тронную залу императора Феофила, Триконх ей имя. Потолок там вызолочен и опирается на колонны из красного оникса. Перед нами серебряная дверь, по бокам — медные! — Он опять говорил так, словно и вправду перед ними сверкали узорчатые металлические двери, хотя и серебряная и даже медные двери были давно перечеканены на монету. — Погляди еще нашу Сигму, балкон. Какой вид! Какие колонны!

— Были! — вновь уточнил прежний клирик. — Их

тоже украли латиняне, ибо они были из дорогого камня.

Свита Алексия тою порой столпилась в портике, дивясь своим отражениям в полированной глади сохранившихся колонн. Иные проводили пальцем по гладкому камню, не понимая, как можно было содеять такое...

Кавасила, снисходительно поглядывая на простецов русичей, продолжал объяснять, указывая мановением длани семо и овамо:

— Там вон дворец Дафны! В нем некогда стояла языческая статуя, привезенная еще Константином Великим. Тут, в Августее, короновали цариц! Вон там Онопод, Консистория, Триклин кандидатов, Лихны, Халка...

У Алексия давно кружилась голова от обилия звонких названий, от изобилия былой роскоши и цветного мраморного, хоть и разоренного, великолепия.

Кавасила, заметив наконец, что гость утомлен, вывел Алексия на очередной илиак и усадил на мраморную скамью.

Яркое солнце заливало огромный город, свежий ветерок с моря ласкал лицо. Не верилось, что уже ноябрь, самая пора осенних ненастий, слякоти, снега с дождем и первых суровых заморозков.

«Как-то сейчас на Москве? — гадал Алексий, щурясь, озираясь окрест. — Какая благодатная земля! Истинный рай!» — почти примиренно думал он, не понимая в сей час томительной волокиты в секретах и канцеляриях патриархии, волокиты, которая держит его с самого августа в неопределенном состоянии просителя, коему хотят, но почему-то не могут отказать.

Свита опять отделилась от них, перейдя на ипподром, и Алексий даже вздрогнул, когда Кавасила, ссутулившийся рядом на скамье, глухим, полным муки голосом выдохнул, невидяще глядя перед собою:

— Я ненавижу этот город! Да, русич! — с горечью продолжал он. — В эту роскошь, в это гнездилище всевозможных пороков и всесветной гордости ушла вся сила нашей империи! Со времен Юстиниана Великого мы вкладываем сюда все, добытое трудами и кровью наших селян и армии! И вот: создали великое скопище охлоса, изнеженных аристократов, жадных чиновников, и надо всем — синклит, что сумел разложить нашу великолепную армию, уничтожить флот, подорвать все силы ромейской державы!

Теперь они предают нашего Кантакузина... Они предают всех, они не умеют любить и даже ненавидеть не умеют!

У них на глазах сбросили великих Комнинов, и что же? Они венчали славою Андроника Первого! Узурпатора и убийцу!

Андроник разгромил провинцию; Вифинию, щит империи, залил кровью; уничтожил всех тех, кто умел и хотел защищать ромейскую державу!

А как он заигрывал с чернью! Сколько было слов о сокращении налогов, о льготах и вольностях... Для кого?! Себя повелел изобразить в одежде крестьянина с серпом в руках... Смешно! Плешивый сластолюбец, василевс, у коего на пирах громоздились леса дичи и холмы рыбы!

И что же? Норманны берут у него Салонику, второй город империи! Венгры безнаказанно отбирают Далмацию! А он? Трусит! И всего через два года тот же охлос, та же самая чернь, еще недавно прославлявшая в нем спасителя, забыв свои прежние клятвы, возит Андроника на паршивом верблюде по городу, посадив задом наперед, шпарит кипятком, колет мечами и забрасывает грязью. Но дело уже сделано, империя погибла! И сотворили это даже не синклитики, а наглая столичная чернь!

А затем — бездарные Ангелы, потерявшие Влахию с Болгарией. А затем, вскоре, пришли крестоносцы. И город — краса мира, совокупивший в себе семь чудес света, эллинскую мудрость и древние святыни христианства, столица величайшей в мире империи, падает к их ногам, как источенное червями яблоко; и грубые мужланы жгут, грабят и убивают на площадях богохранимого града, насилуют женщин, разламывают в слепой ярости бесценные эллинские статуи, позорят церкви, потешаются над святынями, обзывая ромеев трусами и бабами, коим прилично сидеть за прялкой! Тех ромеев, предки которых когда-то отбросили персов, отразили арабов и не раз и не два били западных рыцарей!

Так я скажу: слава тем, кто освободил нас от этого города, сожиравшего империю!

Когда осталась одна Никея, когда, казалось бы, все было кончено, то никейские императоры сумели остановить врага и на западе, и на востоке! Остановили латинян, отвоевали у турок Вифинию и берега Понта, разбили болгар, присоединили Эпир и Фессалонику... Оставалось одно: вернуть град Константина. И когда мы вошли сюда, воротились к этим дворцам, колоннадам и стенам, тогдашний друнгарий флота воскликнул: «Теперь все погибло!»

И все было погублено в самом деле. Палеологи начали с преступления, уничтожив законную Никейскую династию, Михаил Восьмой ослепил ребенка Ласкаря... Я понимаю, взрослого мужа, воина — но дитятю?!

Теперь они прославляют победы Михаила, ругая взапуски Кантакузина, который-де наводит турок на земли империи. А кто разорил поборами Азию и утопил в крови восстание гордых акритов, открыв османам ворота Никеи? Михаилу нужны были деньги, дабы отвоевать Грецию! Отвоевал он ее? Его победы совершались руками наемников, а не самих ромеев, и, вот видишь, там, перед нами, лежит потерянная навсегда земля, которая давала империи лучших моряков и лучших воинов.

Трон Палеологов проклят! Они уже почти погубили страну! Кантакузин делал, что мог: отразил турок в Дарданеллах, остановил сербов, отбросил болгар, вернул Морею. Но он... Да! Ты молча спрашиваешь меня! Да, отвечу я, многие корят Кантакузина. Армия требует от него коронации Матвея. Лучшие люди страны недоумевают, почему он не изгнал или не уничтожил василиссу Анну, кровожадную иноземку, раздающую направо и налево земли и богат-

ства империи. Почему терпел и терпит молодого Палеолога, ставшего теперь прямым врагом державы? Почему, почему, почему...

Но скажи, почему этого ничтожного потомка покойного императора именно теперь, когда он наводил сербов на Салонику, обещая Стефану Душану всю Македонию с Эпиром в придачу, намереваясь — о, мерзость! — свою жену Елену, дочь Кантакузина, передать сербам, яко пленницу, женившись на дочери Душана, когда он дарит острова и земли венецианцам и генуэзцам, нашим врагам, когда он осаждает Адрианополь, бежит на Тенедос и теперь, как враг, жаждет с чужою помощью захватить священный город, — почему именно теперь чернь возносит его до небес, а Кантакузина, спасителя империи, клянет на всех площадях, приписывая ему все грехи прошлых и нынешних Палеологов? Почему?!

Они устали от войны? Страшатся турок? Они жаждут покоя? Какого покоя? Генуэзцы в Галате издеваются над нами! Вон она, гляди, торчит над городом, башня Христа, выстроенная фрягами на захваченной у ромеев горе над Галатою! Она видна со всех дворов, со всех улиц! Неужели еще и этого мало?!

Армия давно требует венчать Матвея императорскою короной, чтобы утвердить род Кантакузинов на престоле. Каллист, конечно, решительно против. Он законник, и по «закону» считает истинным василевсом юного негодяя, бежавшего к нашим врагам!

— А Филофей? — встрепенувшись, начиная что-то понимать, вопросил Алексий.

— Филофей Коккин? Он мог бы занять престол Каллиста, но он очень напортил себе историей с Гераклеей, его родным городом, взятым генуэзцами в то время, как их митрополит пребывал в Константинополе. Коккин утверждает теперь, что он лечился, что он вообще тяготился кафедрой и мечтал о монашеской жизни! Он много пишет, сочиняет гимны, шлет письма во все концы. На выкуп пленных гераклеотов собирал деньги по всему Константинополю... Ты не слыхал про эту трагедию? О ней до сих пор судачат на рынках!

Генуэзский флот шел на помощь Галате, осажденной венецианским адмиралом Николаем Пизанским. Остановились у Гераклеи. Это наша лучшая крепость на Мраморном море, пойми! Генуэзцы стали, как водится, собирать овощи с огородов. Греки набросились на них, двоим отрубили головы. Тогда генуэзцы построили корабли в боевую линию и, пользуясь приливом, поплыли прямо к стенам крепости. Градской епарх тотчас бежал, оставя ворота открытыми. Жители ударились в панику. Город был сразу же взят, и начались резня, насилия, грабежи. Сперва мало кого и брали в плен. Трупы женщин, детей, стариков устилали берег. Только насытясь кровью, они полонили остаток гераклеотов и распродавали их потом в Галате всем желающим... Ромеи при Палеологах окончательно разучились воевать! Теперь винят Филофея Коккина, что того не случилось в городе.

— У нас бы судили градского епарха, бежавшего от врага, а не епископа! — отозвался Алексий, недоуменно пожимая плечами.

— Виноваты греки! — отмолвил Кавасила. — Они напали первые... Эх, да что искать, кто был виноват! Виноваты, конечно, те, кого рубили и обращали в рабов! Виноваты мертвые, а с мертвых какой спрос? Спрашивают с Филофея Коккина, друга Кантакузина, и с Кантакузина, друга Филофея. Поминают Коккину его еврейскую кровь, хотя бежавшие защитники Гераклеи все были чистокровными ромеями!

И вот мы отдали Азию, теперь отдаем Эпир и Македонию, скоро и Фракию отдадим... Чему? Этому городу, убийце империи, этим сбежавшим сюда после чумы, в обезлюдевший город, нищебродам и побирушкам, этой городской знати, ненавидящей свой народ и ненавидимой народом! Вырожденцам, Палеологам, наконец!

Я не знаю, о чем думает Кантакузин, и не знаю, на что надеяться самому... Уйти? От этих дворцов, развалин, от прошлого величия империи, от наших суетных разговоров, речей, энкомиев, славословий, от этой заплатанной пестроты? Мне уже не уйти!

Русич! Ты проходил когда-нибудь по Месе просто так, от форума к форуму, обозревая пестроцветные колонны, статуи, портики, под коими некогда философы вели ученые споры, и арки седой старины? Все эти чудом уцелевшие памятники нашей тысячелетней славы! О-о-о! — простонал Кавасила, закрывая лицо руками. — Как я ненавижу этот город... И жить без него не могу!

Станята неслышно подошел сзади, показывая глазами: время, мол, ждут! Алексий, мягко тронув спутника за рукав, первым поднялся со скамьи...

Да, день был труден, излиха труден даже для него! И затем пришел навеянный Кавасилою тяжелый причудливый сон, когда оживали дворцы и ползла змеею торжественная процессия во главе с автократором — самодержавным повелителем ромеев. Пышное действо, которое когда-нибудь — о, еще очень не скоро! — будет повторено на Руси в шествиях грядущих московских царей-самодержцев, ибо будут переняты и титул, и знаки власти, и даже одеяния... Не скоро еще!

Напившись воды с гранатом и отпустив Станяту, Алексий было задремал, но вскоре пробудился опять и уже не спал — лежал, думал.

Он и сам начинал чувствовать мертвящее, засасывающее очарование гибнущего города Константина, города, который так прекрасен показался ему с воды: изумрудный и многоцветный, весь в садах и башнях... И еще не было видно нищих, роющихся в отбросах и грязи давно не метенных улиц, ни разрушенных дворцов, ни пустырей внутри града, заросших буйною порослью кустов и бурьяна, перевитых плетями дикого винограда и плюща... Эти вонючие улицы, когда по ним в былые века торжественно проходил василевс, украшали коврами и шелковыми тканями, усыпали благовонными миртовыми и буковыми ветвями!

Он вспомнил, как разгневал спервоначалу, узнав, что серебро, посланное князем Симеоном на ремонт

Софии, Кантакузин употребил для расплаты с турецкими наемниками. Что скажет теперь князь Симеон? Не скажет... Разве узрит оттуда...

Алексий поймал себя на том, что говорит с князем Симеоном как с живым, и понял с остро прорезавшимся смыслом, что на Руси, на Москве, нет ныне достойного главы, могущего заменить покойного крестного и его усопшего старшего сына. Нет достойного главы, и он один... Только он?! Алексий поспешил отогнать греховно-гордую мысль, но она вернулась как упрек и призыв, и, нахмуря чело, он понял, что то не суета, а воля Господа и что он, и верно, один. И то, что на нем одном зиждется ныне судьба Владимирской Руси, отнюдь не гордыня, а долг и воля вышнего судии!

Сколь жалка показалась ему, впервые прибывшему в Константинополь, мысль покойного крестного, князя Ивана, что малый древянный град Московский возможет некогда наследовать второму Риму, городу Константина, древнему Византию, Царьграду русских летописей! Перед этим сонмом святынь в каждом монастыре, в каждой церкви градской! Перед роскошью узорного камня, перед величавою колонной Юстичиана с медяным подобием императора на коне, одержащего в руках державу мира! А теперь, ныне, видит он, что умирает огромный город, все медленнее бьется старое сердце империи и ищет, хочет, жаждет и ждет наследования себе!

Алексий успел уже и вторично повидать Кантакузина. Был за обедом, в покоях царя. И здесь, в малом кругу ближников, был столь же величествен, и грозен, и светел лицом несчастливый повелитель ромеев, упрямо, невзирая на коронацию, считающий себя только лишь наместником при юном сыне покойного Андроника Третьего.

Алексия на этот раз привечали во дворце с некоторым смущением. Виною тому были, почти наверняка, новые происки Ольгерда. «Не мыслят ли Каллист и синклитики опереться на Литву?» — приходило уже не раз ему в голову. Греки явно не хотели допустить ставленника Москвы до митрополичьего престола!

Отступить он не мог. Не предает ли его теперь сам Кантакузин?! Нет, Кантакузину можно верить! Только... только... Надобно ближе сойтись с Филофеем Коккином!

Довольно он угождал семо и овамо, держась, сколько мог, в стороне от патриаршей грызни!

Довольно он с видом школяра сидел над греческими рукописями и без конца совершенствовал произношение, дабы не казаться смешным ромейским витиям!

Будь что будет! И Христос требовал дел, а не слов!

Престол покойного Феогноста не должен перейти в руки Литвы и ни в чьи другие руки! Не должно допустить и гибельного разделения митрополии!

Он будет драться, он поддержит русским серебром Филофея Коккина против Каллиста!

Третьего дня патриарший скифилакос, принимая от него кошель с серебром, с кривою усмешкою вспомнил, что василевс в Великую субботу приносил к престолу Софии мешок с целым кентенарием золота (семь тысяч двести иперперов, или золотников, почти два пуда драгого металла!), а теперь они вынуждены восполнять иссякший поток монаршьих милостей серебром далекой России. Пусть так! Но и серебро, трудное русское серебро, не должно пропасть втуне!

Он изучит греческий язык.

Он окончит перевод Евангелия.

И он купит, купит у упрямых ромеев митру митрополита русского!

И еще: он переведет наконец митрополичий престол из захваченного Литвою древнего Киева туда, где ему и быть должно — во Владимир Залесский! Ежели он не свершит этого днесь, то митрополия, а с нею и духовная власть на Руси рано или поздно перейдут в руки Литвы. И тогда сама Русь окончит существование свое!

«И тебе, Сергий, я добуду потребное!» — пообещал Алексий, уже обарываемый дремою.

Напряжение ночи, мучившее его доселе, наконец спало с него, отошло, уплыло, покоренное твердотою принятого решения, и он уснул, так и не разогнав упрямую поперечную морщину чела, и уже не чуял, как потух, выгорев дотла, светильник, а на побледневшем высоком небе разгорается золотая заря.

До Алексия уже дошли смутные слухи о каких-то турецких бесчинствах молодого Сулеймана, сына Урханова, якобы вторгшегося на греческий берег и захватившего маленькую крепостцу Чимпе недалеко от Галлиполи.

Противники Кантакузина едко улыбались, судачили по углам:

— Вот его обещания! Вот куда привела его дружба с османами! Погодите! Мы еще будем горько вздыхать о Палеологах!

Все это говорилось шепотом, с оглядкою, с противным блеском глаз, как будто вторжение врагов в пределы империи доставляло им сугубую радость.

Алексий долго не верил, что слух о турках истинен, однако вскоре о событии толковал уже весь город, и Алексию со скорбью пришлось убедиться, что противники императора в этот раз оказались правы.

Тем более следовало спешить! Добиваться решительного разговора с Кантакузином, но прежде того неприлюдно и откровенно потолковать с Филофеем Коккином.

Впрочем, гераклейский митрополит, видимо, и сам искал жданной встречи с Алексием, и предлог для нее явился невдолге, ибо Коккин должен был выступить с речью «на хулящих исихию» перед слушателями высшей патриаршей школы, которую Алексий прилежно посещал. Среди преподавателей школы были такие светила, как Планудий и Мосхопул; слушатели приходили сюда хорошо подготовленные, и Алексию, которого к исходу шестого десятка лет начинала оставлять юношеская гибкость ума, зачастую приходилось излиха трудно. Он, однако, упорно хо-

дил на лекции, слушая все подряд, будь то медицина, астрономия, математика, риторское искусство или богословие.

Послушать гераклейского митрополита сошлось приметно больше народу, чем собиралось на обычных схолиях, и обширная сводчатая палата оказалась тесной. Иным не хватило мест, стояли или сидели на полу. Агафанкел с трудом оборонял припоздавшему Алексию его обычное место на скамье.

Филофей поднялся на возвышение. Значительно перемолчал шевеление усаживающихся слушателей, цепко обозрел взором палату и, не умедляя более, высоким звучным голосом, обличавшим в нем хорошего певца, начал:

— Недавно слышали мы на соборе господним промыслом отринутое учение латинянина Варлаама, утверждавшего, что Божество — о стыд, о горе! — не имеет ни энергии, ни воли, ни благодати... Полно бы и говорить о том, осужденном соборно, заблуждении, но коль многим эти споры внушили и все еще внушают страх и подозрение, то и надлежит ныне, ради новых лиц, коих вижу здесь среди вас, и могущего еще тлеть соблазна, кратко обозреть признанные писания великих отцов церкви, дабы показать, что не всуе и не попусту изрекал глаголы свои Григорий Палама, нынешний епископ фессалоникийский! И не вотще, и не суетная новизна — «умное делание» старцев афонских и возлюбленная многими и мною исихия, возлюбленная до того, что и я, грешный, мыслил отврещись суеты, и только отец Палама уговорил меня не снимать крест общественного служения с рамен своих!..

Филофей Коккин действительно был нездорово красен лицом, но не от злобы, как утверждал в своей «Истории» Никифор Грегора — Алексий не узрел свирепости в этом лице, — а скорее от болезни и, возможно, от излишней пылкости нрава, прорывавшейся в остроте жестов и чрезмерном порою возвышении голоса.

Толпа слушателей, взыскующих знания, сегодня отличалась особенною пестротою. Более половины было мирян. Брадатые мужи и юноши с первым пухом на щеках плотно теснились на скамьях. Многие принесли с собою складные холщовые стулья. Писали на вощаницах, положивши дощечки на левое колено, или просто слушали, отмечая себе стилосом самое главное, вскидывая глаза на гераклейского епископа, когда он произносил основополагающие суждения.

Когда схолия окончилась, к гераклейскому епископу тотчас кинулись, окружив его, ученики, завязав диспут, в коем Алексий по осознанию невежества своего не мог принять участия, тем паче что вокруг начались мирские разговоры о суетных делах: плате за поставление, доходах клириков и прочем. Давешний слушатель-сосед, так понравившийся было Алексию, привлек к себе сотоварища и с похотною улыбкой выговорил:

— Золото, нам, малым, в сей жизни заменяющее блеском своим фаворский свет! — И, понизив голос, продолжил: — Великая Феодора, когда синклит запретил танцовщицам выступать обнаженными, явилась пред зрителями, имея в виде одеяния на чреслах своих одну лишь златую цепь, коей... — подняв палец и скользом оглянув на Алексия, продолжил он, увлекая молодого спутника своего, — коей сумела привязать к себе великого Юстиниана, а с ним и всю ромейскую империю!

Слышать такое Алексию было соромно, и он уже было порешил исчезнуть, найдя другой, удобнейший повод для встречи, но тут Филофей, отослав настырных слушателей к трудам Синаита, разорвал кольцо остолпивших и сам подошел к нему, приветствуя Алексия на классическом древнегреческом языке, и, тронув русича за руку, примолвил тихо:

— Давно, брате, тщусь поговорить с тобою!

...Они шли под каменными сводами, минуя переходы и лестницы, ведя несущественную припутную беседу. Алексий понял, что время благоприятно для главного, а посему, не обинуясь более, пригласил Филофея в свою келью.

Коккин вступил в покой, мгновенно оглянувши позадь себя, словно проверяя, не видит ли кто из клириков или слуг его в сей миг. Алексия больно резануло это, уже ставшее привычным среди греков давнее их недоверие друг к другу.

— Я вижу, мой русский брат пребывает в похвальной бедности, — весело произнес Коккин, оглядывая палату, — меж тем как ручей русского серебра уже промыл себе многие русла в дебрях наших канцелярий...

Агафанкел подал хлеб и кисть позднего синего винограда, поставил кувшин с разведенным вином и побежал за рыбой, что готовил Станята на улице, на железной решетке.

Филофей, не чинясь, тотчас приступил к трапезе.

Любопытно обегая живыми, с восточною поволокою глазами келью, Коккин остановился на раскрытом Евангелии, прочел вслух:

— «Ежели ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом своим!» — Отчетисто произнося по-гречески слова Спасителя, Филофей вдруг померк, насупился, изронил глухо: — Братней любви очень недостает ромеям в днешней скорбной судьбе!

Алексий, заинтересованный последним тезисом только что прослушанной схолии, вопросил: верно ли он понял, что чувственное проникновение выше холодного умственного и вернее по постижению божества?

Как только речь коснулась искусства, Филофей Коккин оживился. Отставив чашу, убедительно и ярко стал живописать значение искусства как понятийного уровня для «малых сих», тут же процитировал Григория Нисского: «Мне кажется, что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа».

Алексий посетовал, что истинно великих произведений художества не достать в Константинополе. Коккин усмехнул:

— Не там ищешь, брат! Поезди или лучше пошли иного в Галлиполи, самому тебе не стоит подвергать себя военной опасности. (Да, да! Увы, все правда, я сам не вдруг поверил этой беде!) Туда притекают греческие святыни из Вифинии. Турки продают их христианам, и там ты возможешь купить действительно ценное!

Станята как раз внес блюдо с рыбою, и Алексий, переглянувши с ним, понял без слова готовно вспыхнувший взор новгородца. Поручение съездить в Галлиполи, очень небезопасное, было как раз по Станяте.

Уладив эту стороннюю нужду и легко коснувшись последних неудач императора (Коккин тоже считал, что Кантакузин стал нынче излишне осмотрителен и напрасно осторожничает с османами, захватившими Чимпе), Филофей скользом притронулся и к своим ранам:

— Василевса ныне хают многие! Меня, увы, тоже бранят за Гераклею!

Алексий до сей поры не намеривал касаться гибельного взятия города, но тут уж не выдержал, вопросил:

— Почто ругают тебя, брате, и не хулят сбежавшего епарха и той знатной молодежи, которая, затеяв ссору, после бежала впереди всех?

Коккин махнул рукою:

— Каюсь в том, что небрегал делами города! Но как трудно порою пастырю! Ежедневная пря с властителями и епархом, угрозы от должностных лиц, находящих удовольствие в неслыханных притеснениях и ограблениях бедных и неотступно преследующих всякого, кто дерзнет защитить разоряемых от неправды сильных мира сего! Брат мой! Льщу себя надеждою, что у вас, в варварской стране, не так нестерпимо угнетен труженик! Я давно искал тишины, — продолжал Коккин, утупив взор в столешню, — желал предать себя целиком книжной мудрости и исихии в уединенном монастыре... — Он поднял беззащитный взор на Алексия. — Даже ждал знака! Но медлил, поскольку въезд в столицу закрыли ради свирепствовавшей чумы. И вот в пасхальную ночь было видение... Вещий сон... Я стоял, вернее, сидел на коне, в городе, захваченном врагами. Ко мне подошла знатная женщина со служанкой, воскликнув: «Уйди!» Ударила плетью моего коня. «Быстро уходи, уходи отсюда!» — «Куда, — вопросил я, — прикажешь мне идти, госпожа?» — «В домик свой иди!» И все растаяло. Проснувшись и помыслив, я понял, что это Богоматерь так человеколюбиво позаботилась обо мне, и в конце Святой недели, покончив с сомнениями, ушел в Константинополь... Далее, ты знаешь, был собор противу варлаамитов, на коем я принял участие в споре православных с худославными... После чего лечил свою плоть и хлопотал перед патриархом, дабы мне вовсе уйти с митрополии на Афон. Тогда вот и явились генуэзцы!

Алексий знал иную версию, Никифора Григоры, но ничего не сказал Филофею. Осуждать или оправдывать кого-либо здесь, на греческой земле, пред лицом творимого всеми и каждым, было нелепо и невместно.

— Но я возродил город! — воскликнул, подымая голову, Филофей. — Собирал деньги, выкупал страдальцев, вся родня коих погибла во время резни! Созывал разбежавшихся граждан из других градов и весей!

— Но почему не дрались?! — не выдержал Алексий в свой черед. — Почему бежали, почему отступили со стен, почто оставили открытыми градские ворота? Почто сами, первыми напав на фрягов, не изготовились тотчас к защите города?! Откуда в греках, при столь глубоком разумении высочайших истин, такая неспособность действования?

Оба иерарха уставились в очи друг другу. В темно-прозрачном взоре Алексия было недоумение и гнев, в глазах Филофея — отрешенная грусть тягостного воспоминания.

— Нам остается верить! — погодя негромко отмолвил он. — Время дел миновало для нас! Вы молоды. У вас есть энергия! Вам токмо не хватает божественных знаний...

— Отче! — Алексий, сам не понимая, как и почему, начал сбивчиво, волнуясь и почасту не находя нужных греческих слов, рассказывать о Сергии, о его малой обители, наваждениях, одиноком подвиге, днешней славе инока и о тех слухах, что уже не раз доходили до Алексия, слухах о чудесах, а быть может, даже и не чудесах? А попросту о мужестве подвижника? И о знаменьях, сопровождавших рождение его...

Филофей слушал, не прерывая. Наконец (понял сам, без подсказки Алексия) произнес:

— Ему надобно возродить общежительный устав!

— Да, — возразил Алексий, — но я не хочу... не могу... Мыслю, совет о том должен изойти свыше, от самого патриарха!

Они опять поглядели в глаза друг другу и перемолчали, понявши, что едва не переступили незримую грань, далее которой любые слова пока были запретны.

— Но почему, брат мой, почему настаиваешь ты на переносе кафедры из Киева во Владимир?! — воскликнул Филофей почти с мукою, обращая к Алексию страдальческий взор. — Ведь митрополиты и так пребывают у вас, в Залесье! Святейший патриарх еще и потому противится твоему поставлению! Твой противник, Роман, оказался сговорчивей!

— Романа выдвигает Ольгерд! — жестко ответил Алексий, неумолимо глядя в эти страдающие (и такие еврейские в этот миг!) глаза гераклейского страстотерпца. — Еще когда Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир чудотворную икону «Умиление», ныне зовомую «Владимирской Богоматерью», уже тогда Киев уступил первенство и власть Залесской земле! Но теперь, когда в древней столице Руси вот-вот начнут править службы латинские попы... Да, да, отче! Да! Я ведаю, что говорю однесь! Ныне оставлять кафедру митрополитов русских там — это значит отдать, подарить русскую церковь Риму! Как

не ведаешь сего ты?! Ты, друг и сторонник Паламы, пламенный защитник правой веры, коего дивную речь слышал я всего час тому назад?!

Филофей простер обе руки вперед, молчаливо останавливая разошедшегося Алексия, и выговорил наконец главное, ради чего и творился весь днешний разговор:

— Русский брат мой, поддержи василевса, и он поддержит тебя!

«Серебром!» — добавил мысленно Алексий, поясняя слова Филофея, но вслух не произнес ничего, только утверждающе склонил голову.

На прощание Филофей с некоторым смущением развернул свиток и протянул Алексию. Это была молитва на пленение и освобождение гераклеотов, сочиненная Коккином в ту ночь, когда он узнал о бегстве плененных гераклеотов из Галаты в Константинополь. Алексий благодарно принял свиток, твердо пообещав поэту, не сдержавшему при этих словах невольной радости:

— У нас ее переведут на русскую молвь!

— И... Вот еще! — прибавил Филофей, вставая.

— Что это? — вопросил Алексий, вглядываясь в греческие строки и бегло (он все еще не научился мыслить на чужом языке) переводя на русскую речь:

Соделались мы срамом для соседей наших,
Издеваются над нами окружающие нас,
Городами нашими чужестранцы владеют
Прямо на наших глазах...
Рассеяны мы по всем языкам и землям,
Отвергнуты, как дети, позорящие родителей,
Род лукавый и огорчающий.
Железо пронзило душу нашу,
Причислены мы к жертвенным овцам,
И нет избавляющего нас!
Господи, возврати наших пленных!
Спаси сыновей погибших...
Прореки им в сердце хранить мир взаимный
Ради них самих, ради церкви твоей, ради всех твоих людей.

— Что это? — повторил Алексий. — Как хорошо!

— Это о нас, — ответил Филофей тихо. — О нашей беде и тоске!

— И это мы сохраним в сердце своем, брат мой! — ответил Алексий и вновь светло взглянул в очи Филофею.

Когда, проводив Коккина, Алексий воротился к к себе, обмысливая беседу, он по сердечной радости почуял, что в день сей обрел друга и ходатая пред лицом сильных мира сего. И теперь одно долило неизвестностью: как поведет себя Кантакузин?

Когда его через малое число дней позвали к царю, Алексий понял, что вот оно: подошло, прихлынуло наконец! Подступило! То, что сдвинет с мели застрявшее судно его посольства (сдернет или уж разобьет дозела). И что Кантакузин надумал наконец нечто, для чего надобен он, Алексий (или Алексиево серебро — неважно! Русское серебро может дать только он!).

И уже провидя, почти провидя, что, почему и зачем занадобилось от него царю (досыти наслушал уклонливых греческих речей за эти глухие месяцы!), Алексий, хоть и привык сдерживать себя, почуял вновь юношескую щекотную сухость в ладонях, и настойчивый бой сердца, и твердоту во всем теле, как бы собираемом к битве духовным поводырем своим, высшим разумом, который заключен не токмо в голове, но и в сердце, и — прав Григорий Палама — в сердце прежде всего!

У ворот Влахернского замка Алексия со спутниками ждал церемониарий. Каталонская стража в литых панцирях и круглых шлемах с поднятыми забралами расступилась, бряцая копьями. Повелителя ромеев охраняли испанцы-католики.

Алексий бегло оглядел своих бояр, вздевших самые дорогие порты, невзирая на цареградскую слякотную теплынь — собольи шубы, и клир. (Оба попа, Василий и Савва, также приоделись в лучшее платье.)

Вереницею, пройдя под аркой из тяжелых, гладко отесанных плит, вступили во двор. Здесь русичей встречали чины двора и сам Дмитрий Кидонис. В пурпурном, расшитом жемчугом скарамангии вышел встречу Алексию. Красивое лицо молодого сановника, обрамленное аккуратною, подвитою и умащенной благовониями бородой, было сдержанно-спокойно, как и во время прежних встреч, но в глазах читалось настороженное, внимательное и вряд ли дружелюбное любопытство. Был ли этот муж из Фессалоники, писавший некогда пылкие послания василевсу, проча ему славу и власть, а ныне — приближенный к престолу царя и правая рука Кантакузина, был ли он истинным другом повелителя ромеев и... благоволит ли к нему, Алексию? Подумалось с невольной тревогою, ибо от Кидониса слишком многое зависело при ромейском дворе!

Филофей Коккин, к счастью, был тут же и поклонился Алексию издали, когда сотрапезующие начали проходить в столовую палату дворца.

Гостей посадили на почетные места близ василевса, и смутная тревога Алексия несколько утихла. Вельможи, чины синклита, новелиссим, друнгарий и иные рассаживались согласно чинам и значению, блюдя обычай и ряд, так же как и думные бояре на Руси.

Кантакузин вышел к столу в шелковом алом дивитисии с широкими рукавами и разрезом спереди, расшитом пурпуром и золотыми цветами, и в золотом парчовом оплечье, но без хламиды и лора, в коих он показывался Алексию на торжественном приеме во дворце. Василисса Ирина, супруга императора, была зато в полном облачении: в голубой, сплошь затканной далматике с широченными рукавами, концы которых опускались едва не до полу, в драгоценном оплечье, с перевязью-диадимою и в царском головном уборе. Матвей Кантакузин, крупный, в отца, с тяжелым и сумрачным взглядом, тоже в парче, но с простою нашивкою патрикия на хламиде, опустился в складное кресло рядом с матерью. Гости встали, приветствуя и славословя императорскую чету.

Царь выслушал «Славу», склонив чело, с едва

заметною усталостью, и затем молча, мановением руки, велел всем садиться и приступать к трапезе. Пока слуги разносили блюда и кубки, а русские бояре неловко ковыряли рыбу вилками, сердито взглядывая на Алексия (на Руси век ели рыбу руками, вытирая пальцы нарочито разложенным рушником), творилась приличная застолью молвь, и все было словно бы как обычно, как пристойно, как и следует быть. Однако слишком виделось и другое — что, невзирая на исполненное славословие императору, присутствующие тревожно не уверены в нем и в себе. Минутами и речь и смех стихали и повисала напряженная, почти ощутимая по плоти тишина, такая, словно бы ее можно было потрогать рукой. «Чимпе!» — понял Алексий. То, о чем все знают и, зная, упорно молчат, ибо Чимпе, ежели турки не уйдут оттуда, это погибель Кантакузина, ежели не вовсе погибель ромеев...

Друнгарий флота вдруг отодвинул блюдо с плоскою морскою рыбой, залитою дорогим соусом, и сказал, сердито глядя на руки автократора:

— Повелитель! Моряки зело недовольны запретом служить на венецианских судах! Всепокорнейше прошу твое величие принять в слух сказанное мною, не гневая, иначе флот отшатнет от престола, как это уже делает наглая константинопольская чернь!

Стол словно бы замер, хотя разговоры на другом его конце и продолжались. Но все уши при этом явно были повернуты к тому, что сделает или скажет император.

Кантакузин поглядел внимательно на друнгария, слегка нахмурил чело.

— Что ж они, когда Николай Пизанский бился с генуэзцами, не приняли участия в битве? Сражались только венецианцы и каталонцы, коих погибло больше всего! А наши корабли постыдно уклонялись от боя!

Друнгарий смолчал, густо и враз покраснев. Крупная доля вины в позорном неучастии греческих кораблей в морском сражении была и на нем.

— Мы дважды создавали флот, дабы раздавить Галату! — твердо отмолвил Кантакузин.

— Буря... — начал было друнгарий.

— Да, буря! Чума! Иные бедствия! — прервал его Кантакузин, слегка возвышая речь (и словно бы дальний гром подступающей бури зазвучал в отвердевшем голосе василевса). — Буря! А что свершили они, когда я лежал больной в Дидимотике и без меня, без моего догляда вы позволили генуэзцам напасть на город и уничтожить все наши с такими трудами построенные суда? Я просил у сограждан поделиться своим добром ради общего блага, собрать деньги на новые корабли! Галата иссушает нас, генуэзцы собирают на своих пристанях впятеро больше золота, чем мы! Страдают все! Гибнет ремесло, хиреет торговля, нечем платить армии! И что же? Сограждане дали мне так мало, что пришлось отказаться от борьбы с Галатой! Я не вижу в ромеях воли к победе! Не лучше ли тогда поладить с генуэзцами, чем заключать вновь опасный союз с Венецией, который может стоить нам слишком дорого, ежели Стефан Душан тоже воспользуется этим союзом!

Друнгарий флота так и не поднял глаз. Сказав, Кантакузин обвел застолье, ожидая, быть может, чьей-нибудь речи, но все старательно ели и опять тщились показать, что ничего, в сущности, не произошло.

Отложив вилку, Кантакузин обратился к Алексию с вопросом: кто будет теперь, после смерти Симеона, великим князем на Руси?

— Иван Иваныч, брат покойного! — ответил Алексий и добавил, поняв, к чему было вопрошание, что Джанибек мыслит утвердить Ивана на столе братнем и на великом княжении, о чем была получена грамота. Кантакузин молча кивнул.

Дмитрий Кидонис в свою очередь поинтересовался, какие отношения сейчас у московитов с тверским княжеским домом, примолвив, что новгородцы хлопотали о передаче великого княжения в руки князей суздальских.

— Хан Джанибек был другом нашего покойного князя! — ответил Алексий, медленно и весомо произнося каждое слово. — Он не изменил этой дружбе и после смерти Симеона Иваныча! Чаю, не изменит и впредь! Примолвлю к тому, что митрополия остается у нас, в Московском княжестве, нерушимо, почто и прошу я, — отнесся он к Кантакузину, — ваше боговенчанное величие утвердить совокупное, мое и покойного Феогноста, ходатайство о переводе кафедры митрополитов русских во град Владимир, столицу Залесской Руси!

— Перевести кафедру из Киева, порушить старину? Это скорее в ведении патриарха! — задумчиво ответил Кидонис за царя. И вновь вопросил, не давая Алексию отмолвить (по-видимому, он уже заранее знал и взвесил все, сказанное русским претендентом Филофею Коккину): — Со времен обращения Руси в истинную веру митрополия всегда пребывала в Киеве! И ныне в Великой Литве не меньше православных христиан, чем в Залесье. Где же должна, по-твоему, находиться кафедра митрополита русского, ежели не разделять митрополию?

(Алексий кожей, всеми нервами почуял напряжение, какое бывает в воздухе пред грозой: вот оно, главное! Мы или Литва?)

— Престол митрополита при князе-язычнике? — отмолвил он Кидонису, усмехнувшись.

— Ольгерд обещает крещение Литвы! — значительно возразил Кидонис.

Алексий едва заметно перевел плечами. Русские бояре и клири уже давно оставили вилки и слушали, кое-кто даже приставя ладонь к уху.

— Верить Ольгерду, — медленно начал Алексий, оборачивая чело к императору, — возможно было бы, будь он язычник, но Ольгерд, к сожалению, уже крещен, один раз... и паки отринул Христа! Верить правителю, который говорит одно, а делает другое, — опасно!

Кантакузин молча внимательно слушал, прямо глядя в лицо Алексию и, кажется, одобряя.

— Ведомо твоей царственности, что католики, ед-

ва вступив в Галицию, почали закрывать церкви божии, поиначив православные храмы на латинское богомерзкое служение! Отдельная литовская митрополия будет неизбежно поглощена латинами, ежели не найдет себе опору в единоверческой княжеской власти! Ты, Дмитрий, — отнесся он к Кидонису, — хочешь верить Ольгерду. Но он уже начал преследованья православных христиан у себя в Вильне, и уже явились первые мученики за веру, имена коих ныне утверждены в святцах константинопольской патриархией! Прибавлю, Вильна полна латинских патеров, ревнующих обратить Литву в католическую веру, и ежели это произойдет, возможет ли уцелеть сама митрополия киевская? Ведомо вам самим, — возвысил голос Алексий, обводя глазами слушателей, — потерпят ли православие латиняне! Разумно, как мыслится мне, было бы дождать, чтобы Ольгерд действительно привел Литву к православию, а уже потом решать, кому подчинить митрополичий престол!

Алексий вновь и прямо поглядел на молчаливо внимавшего ему Кантакузина и примолвил негромко, как бы к одному василевсу обращаясь:

— Русь щедра! Мы уже давали серебро на ремонт Софии. Нам ведомо, что заботы правления не позволили твоей царственности употребить оное целиком на нужды церкви. Мы готовы помогать и вновь... Мог бы и я вручить посильный лепт — как русский митрополит, конечно!

Кантакузин кратко кивнул, молча приняв сказанное, и, отводя речь от того, о чем многим не следовало ведать, вопросил в свой черед:

— Патриарх беспокоится, что мирские заботы правления оторвут нашего русского друга от дел сугубо церковных, коими надлежит ведать митрополиту Руссии!

— Государь! — возразил Алексий. — Василевсы почасту вмешивались в дела церковные, что не мешало им, однако, управлять государством ромеев!

Уста и очи Кантакузина тронула улыбка.

— Но, однако, — вопросил он, любуясь настойчивым русичем, — не зрим ли мы ныне перед собою истинного главу древней Скифии, ныне называемой Русью?

Алексий первым понял всю опасность высказанной мысли (ибо любой смертный, даже вознесенный на вершину власти, не многое может сотворить, а главное — обещать наперед, ибо не ведает дня и часа своего!).

— Нет, конечно, не на мне одном зиждет судьба русской земли! Земля — это народ: бояре, воинский чин, купцы и смерды; и ежели у народа есть силы к деянию, он находит и вождей надобных, и правителей, достойных себя! (Это уже было едва ли не в око Кантакузину, но Алексий рискнул довести мысль до конца, а Кантакузин вновь показал свое величие, выслушав и не оскорбясь на правое слово.) Поверь, повелитель, что Русь на взъеме, она молода и полна сил, не токмо не истраченных, но порой еще и не осознавших себя, лишь пробуждающихся к деянию! Возможно задержать, возможно премного утяжелить наши стези, ибо поиски нового главы всегда оплачиваемы кровью сограждан, но остановить Русь ныне не можно! А Ольгерда в границах своих князь Симеон сдерживал, как ведаешь ты, даже не прибегая к силе меча!

— Ты почти убедил меня, русич! — задумчиво отмолвил Кантакузин, подъятием ладони останавливая раскрывшего было рот Кидониса. — Но что скажешь ты, ежели Ольгерд в свой черед потребует от нас учреждения своей, особой, литовской митрополии, чего литовские князья неоднократно старались добиться от ромейской державы?

— Государь! — воскликнул Алексий горячо. — Митрополия должна быть едина! Сам ведаешь, какие неслыханные беды посещают землю, в коей не обретено единой власти и паче того — единства духовного!

Кантакузин задумчиво поглядел в решительные, прозрачно-темные глаза русича, старого видом и такого пламенно-молодого душой, и ответил негромко, словно бы и не обреталось в палате иных председящих, только ему и для него одного:

— Ведаю, Алексие!

Китон василевса во Влахернах был совсем не так роскошен, как некогда китоны Большого дворца; и китониты, всего двое, совсем не торжественно, а быстро, по-деловому, разоблачили царя, отстегнув оплечье, сняв с него расшитые дивитисий со скарамангием, которые тут же упрятали в деревянный плоский сундук для праздничного платья, и, задернув завесу, скрывавшую нишу в стене, где помещался гардероб царя, удалились.

Оставшись в одном льняном хитоне, Кантакузин почти повалился на высокое кресло с подножием и гнутыми подлокотниками и прикрыл глаза. Он устал.

Предстоял разговор с сыном. Тяжелый разговор, который уже невозможно было более отлагать.

Ирина вошла стремительная, огненноокая, прекрасная и в старости.

Подошла, приложила узкие прохладные ладони к его вискам. Когда-то это помогало, сейчас — нет. Кантакузин улыбнулся вымученной улыбкой; только перед нею позволял себе, да и то иногда, обнаруживать минуты слабости.

— Ты еще не решил, Иоанн? — спросила Ирина, бережно разглаживая мужу виски и массируя затылок. Он промолчал. Сегодня они его, кажется, заставят решить. — Этот русич настойчив! — проговорила Ирина, продолжая растирать и гладить голову мужа. — Он нравится мне! Я ведь из рода Асеней, не забывай! И во мне славянская кровь!

— Да, они молоды! — отозвался Кантакузин.

За дверьми китона послышались тяжелые шаги Матвея. Ирина, отступив, уселась в гнутое креслице. Вошел Матвей. Большой, матерый. Второй сын Кантакузина Мануил, который нынче засел в Мистре, упорно вытесняя франков из Мореи, тот легче, светлее весь — и видом, и статью. И удачей! За Матвея, за его неуступчивый нрав и тяжкую судьбу, Кантакузину всегда было немного страшно. Матвей и сам чуял

вечное невезение свое, почасту гневая оттого на родителя.

— Садись, сын! — устало произнес Кантакузин.

Матвей молча и грузно опустился на низкое, застонавшее под ним креслице. Кантакузин, приоткрыв веки, встретил хмурый, ждущий, заранее обиженный взгляд сына.

— Что будем делать с Чимпе, отец? — спросил Матвей. — С Сулейманом было всего восемьдесят человек! Не составляло труда выбить их вон из города! Теперь турок в Чимпе, как передают, уже три тысячи!

— Я не могу сейчас ссориться с Урханом. Иоанн Пятый, по слухам, уже побывал в Никомидии. Ежели Палеолог теперь наведет османов на империю — всему конец. Лучше попытаться выкупить Чимпе. Я уже отправил послов к Урхану.

— Чем?! — почти выкрикнул Матвей. — Казна пуста! Или ты рассчитываешь заплатить туркам русским серебром будущего митрополита Алексия?!

— И об этом я тоже подумал, сын, приглашая кир Алексия ныне! — спокойно ответил Кантакузин.

— Ты еще не решил, отец? — глухо спросил Матвей.

— Я уже отдал приказ перестать поминать Палеолога в славословиях и проставлять его имя в государственных грамотах! — сурово ответил Кантакузин. — Но Каллист решительно против твоего венчания на царство!

— Каллиста надо снять! — грудным, глубоким голосом отозвалась Ирина. — Палеолог начал с нами открытую войну! Прошедшей весной, когда он подплыл к Константинополю, я едва удержала стены города! Ему уже хотели отворить ворота! Армия требует объявить наконец императором Матвея! Почему ты не хочешь этого, Иоанн? Я не понимаю тебя!

— Меня никто не понимает! — отозвался Кантакузин с горечью.

— И я не понимаю тебя, отец! — опять вмешался Матвей. — Почему ты так упорно поддерживаешь Палеологов? После всего, что они наделали! После казней, пыток, предательства и войны!

— Супруг мой! — синие глаза Ирины углубились и потемнели. — Я устала оборонять города! Когда я едва удерживала Дидимотику и слала тебе отчаянные письма, а измученные воины, не видя помощи ниоткуда, готовы были предаться врагу, ты продолжал прославлять Палеолога в каждом из своих хрисовулов! Гляди, как этот русич, Алексий, заботит себя, дабы власть была нераздельной и в единых руках! Устрой сына, и воины поверят в тебя, в нас, в дело Кантакузинов, наконец! Дело, которое не пропадет, ежели ты... ежели мы с тобою... — она задышалась, точно после бега, и смолкла, с глазами, полными слез, не в силах вымолвить жестоких слов о возможной смерти супруга.

Кантакузин стиснул ладонями инкрустированные резною костью подлокотники и весь подался вперед, почти выкрикнув с отчаянием в голосе:

— Пойми! Византия гибнет от этой вот постоянной борьбы за престол! Они там, в Руссии, мнят себе: как устроить власть? Им еще ряд веков хлопотать об этом, а мы уже при Юстиниане Великом устроили все! Империю, синклит, войско, святость власти, финансы, администрацию, пышные церемонии двора... И не добились главного: строгой, в поколениях, продолженности, несменяемости власти! И всё! Все теперь разбивается о вопрос престолонаследия! Борьба за власть разрушает империю! Сколько усилий, средств и лет, сколько человеческих жизней унесли восстания Варды Фоки или Склира, Маниака, Торника и тьмы других! Сил не осталось на отражение внешней беды! И ведь все они знали, что священное место василевса может быть занято кем угодно! Заметь! Никто из них не покусился уничтожить саму должность императора ромеев!

— И ты...

— И я хочу не выиграть одну-две войны, не захватить вновь потерянные Палеологами города и фермы, я хочу спасти империю! Единственную в мире! Светоч веры! Наследницу великой эллинской старины!

— Ты на худшем камени мыслишь создать великое, мой супруг и повелитель! — возразила Ирина.

А Матвей выкрикнул бешено, ударив по колену кулаком:

— Палеологи предатели!

— Тем более! Камень, отвергнутый зодчими, идет в основание угла! Здесь, где меня Бог поставил спасти и утвердить династию, я и утверждаю ее!

— Войско думает иначе!

— Ты мыслишь, мы должны были сменить Палеологов?

— Да, отец!

— Но так думает всякий рвущийся к власти! О себе! О своих успехах, талантах, удаче, мняще себя бессмертным в столетьях! Всегда только о себе! Довольно! Вспомни же наконец пример Господа нашего Иисуса Христа, отринувшего от себя венец и славу мира! Жизнь кончена, она лишь ступень перед высшим бытием! И ежели строить ее для себя, то лучше, разумнее всего — уйти в монастырь! Иначе жизнь — подвиг и отречение! Да, да, отречение! «Возлюби Господа своего», а значит, дело свое, судьбы земли, грядущее — «паче себя самого», паче жизни! Когда укрепилась Македонская династия — заметь, династия, а не один человек! — правившая сто пятьдесят лет подряд, империя достигла своего величайшего могущества, отбросив врагов на западе, севере и востоке, воротив Италию, смирив болгар, продвинувшись вновь до Евфрата, вступив в Антиохию и Эдессу! А с концом Македонской династии мы вновь обратились в ничто!

— Но к власти, отец, Василий Македонский пришел, совершив два предательства: клеветою убрав правителя, кесаря Варду, и убив затем законного императора. Что было бы с ромеями, не сделай он этого?!

Кантакузин, отрицая, потряс головой:

— Иная пора! Иные указы времени! Нам надобна жертвенность! Ее не стало у ромеев! Убить — это нынче слишком просто! Апокавк мне это именно и предлагал! Слишком просто — и, значит, неверно!

И потом, ты ошибаешься, Матвей! Македонская династия укрепилась не тогда, когда Василий зарезал на пьяном пиру своего благодетеля, а тогда, когда узурпаторы — правители страны Роман Лекапин, Никифор Фока и Иоанн Цимисхий, даже приходя к власти, даже возлагая временем корону на голову свою, упорно сохраняли династию, не отторгая от царствования ни Константина Багрянородного, ни его потомков, коим позволили в конце концов занять законный престол!

Пойми! Я был самым близким и дорогим другом покойного Андроника Третьего! Я был его советником, поверенным всех его мыслей. Мы были больше, чем Орест и Пилад! Анна и до сей поры упрекает покойного мужа, что он любил своего фаворита, меня, больше жены и детей. Я подписывал указы пурпурными чернилами, в походах жил в палатке самого царя, делил с ним стол и одежду. Я спасал его не раз и не два! Когда он, больной, лежал в Дидимотике, мы с матерью за свой счет нанимали отряды, прогнавшие турецких наемников Андроника Старшего!

Андроник сам назначил меня хранителем престола. На смертном одре он завещал императрице: «Не поддавайся обману и неверным суждениям некоторых людей, что тебе следует расстаться с этим человеком. Если это случится, погибнешь ты и дети, погибнет сама империя». Двадцать лет! Более двадцати лет мы были вдвоем!

Да, я знал, что Анна неумна, вспыльчива, мстительна, ревнива, подвержена страстям, падка на лесть, а в злобе способна на страшные жестокости, более того, что она ненавидит греков и по-прежнему предана своей родине и римскому католическому престолу, но не женщина должна была править страной, а род Палеологов! И не из Савойи родом был патриарх Иоанн, у которого, даже по словам моего хулителя Грегоры, только и было священнического что пастырский посох да одеяние! Иоанн, сделавший все, чтобы подвигнуть Анну на борьбу со мною! Уверявший василиссу вместе с Апокавком, что завтра-де Кантакузин всех вас убьет!

Когда я возложил после смерти друга корону на свою голову, у меня не было иной цели, как упрочить престол мальчика — юного сына покойного Андроника! Да, во всех указах, даже и в продолжение гражданской войны, я ставил имя императора Иоанна Пятого и его матери Анны на первое место, а свое — на второе. Я дрался не против Палеологов, а за Родину и за них!

— А они, — перебила мужа Ирина, — едва ты, наведя порядок в армии, уехал спасать империю, вонзили тебе нож в спину, конфисковали наше имущество, похватали твоих сторонников, разграбили их дома и усадьбы!

— Это Апокавк...

— Да! Ты верил ему, ты и эту змею, Апокавка, считал своим другом! Ты позволил ему вернуться в Константинополь! И вот они навели на нас турок Урхана, едва не отдали Душану всю Грецию! Для борьбы с тобою Анна пожертвовала даже церковными ценностями, были проданы образа, посуда, драгоценные украшения, оклады икон и отправлены в переплавку! На этом неслыханном разграблении дворца кто только не наживался! Тебя самого, нас всех травили, как диких зверей, имя твое предали анафеме, навели болгар, раздавали направо и налево земли империи! Кралю сербскому Анна обещала всю Македонию до Хрисополя, турки безнаказанно уводили пленных, рыдавших у стен Константинополя! Тысячи убитых, заброшенные поля, потерянные провинции... И всему этому Анна радовалась, говоря, что Кантакузину, если он победит, меньше достанется крепостей!

— Апокавк твоими сторонниками заполнил все узилища, — вмешался Матвей, — построил новую тюрьму прямо во дворце, где и был убит доведенными до отчаянья узниками! И что же сделала твоя Анна? Натравила на восставших родню Апокавка, взяла штурмом дворец, пьяная толпа злодеев убивала всех подряд, несчастных резали даже в алтаре церкви! Трупы наших друзей рассекали на куски, головы и руки убитых носили по улицам. Тех, кто осмеливался пожалеть покойных, по приказу Анны били плетьми! Даже когда ты победителем стоял у ворот Влахернского замка, Анна не хотела сдаться и на все уговоры отвечала грубой бранью! И теперь, вступив в Константинополь, ты объявил амнистию всем, разрешил Анне по-прежнему жить в тех же палатах дворца рядом с тобою и ничем не вознаградил своих пострадавших сторонников!

— Что же, они хотели бы, в свою очередь, грабить имущество противников и убивать?! Имя Христа у нас на каждом углу, а призывы его позабыты всеми!

— Но, отец!

— Они забыли, что я простил василиссе Анне смерть собственной матери. Вашу бабушку, Феодору, уморили в тюрьме по приказу Апокавка и Анны! Никто не смеет сказать, что его ноша тяжелее моей!

— И подарил наше родовое гнездо, Дидимотику, Палеологу! — гневно воскликнул Матвей. — А он за то пошел на меня войной и опять призвал врагов империи!

— А когда ты вызвал Сулеймана на помощь, — поддержала Ирина сына, — они стали кричать по всему Константинополю, что мы, именно мы, наводим турок на империю! Тебя ненавидит вся константинопольская чернь и половина синклита, тебя не поддерживает даже Григорий Палама, и он, вкупе с Каллистом, хлопочет о «примирении» с Палеологом! Вот чего ты достиг своею любовью!

Наступило молчание. Кантакузин, сгорбясь, прикрыл лицо рукою.

— Никто, никто не хочет понять! — прошептал он. — Когда я просил помощи у Урхана, он прислал мне своего палача, чтобы удавить Палеолога, сына государя, коему я был другом, коему поклялся сохранить семью! И, страшно сказать, мне кажется иногда, что — удави я его, заточи в монастырь Анну, это все поняли бы и приняли...

— Да, отец!

— Но тогда все даром, и не надобно все, что делал и делаю я! И, значит, империю не спасти... Не из-за врагов! Я в конце концов сумел отразить и болгар и сербов Душана! Но сами ромеи теперь стали худшими врагами своей империи! Порою я думаю, что и спасать уже становится некого на нашей земле!

— Я верю тебе, отец! — возразил Матвей. — Но скажи, многого ли ты добился своей верностью? Нынче никто никому не верен! Апокавк, когда ты отказался по его совету погубить Палеологов, тотчас перешел на сторону Анны и стал губить твоих друзей. Турки нынче захватывают Чимпе, хотя прежде ты говорил и торжественно обещал, что они никогда не переступят проливов!

— Сельджукский султан Омарбег был верен мне до последнего дня! С ним я не раз спасал Фракию от Душана!

— Омарбег мертв. А османы много опаснее сельджуков! Урхану ты отдал в жены Феодору, нашу сестру. Отдал христианку мусульманину, молодую девушку — старику. Елену ты отдал в жены Иоанну Палеологу, а он ее пытался подарить Стефану Душану как пленницу, женившись вновь на дочери нашего врага! Палеолог, получив Дидимотику, тотчас осаждает меня в Адрианополе... За твое благородство платим мы все, твои дети, отец! Почему ты вновь замирился с генуэзцами после всех пакостей, чинимых ими священному городу? Почему не поддержал Пизано, в конце концов?

— Почему?! И это вопрошаешь ты, Матвей, сам стоявший с войском у Галаты? Почему! Потому, что победила бы Венеция! Не мы, не ромейская держава! Венецианцы при доже Дандоло, натравившем рыцарей на империю, достаточно показали, чего они стоят! Они так же схватили бы нас за горло, как и Генуя, а сверх того — затеяли бы войну на море! Отдать Галату Венеции — не то же ли одно, что генуэзцам, если не худшее зло!

Я помню прошлое, а греки теперь не способны даже на это! Никем не помнится даже гераклейский позор! Им хочется служить на венецианских кораблях... Зачем тогда надобна империя, боже мой?!

Они устали от прежнего величия... Нам уже слишком дорого давалось удерживать Азию... Чернь ропщет, динаты разорены, торговля гибнет... И при этом — роскошь власть имущих, погоня за развлечениями, жажда жить сегодняшним днем... И — ненависть!

Да! Я отдал жизнь собственной матери этой неистовой в страстях итальянке Анне, ныне я подарил Палеологу Дидимотику — неужели и этого мало, чтобы научить вновь верить друг другу, без чего нам уже не жить!

Судьба! Я строю флот — его разбивает бурей, я восстанавливаю империю — ее опустошает чума...

Видит бог, я не хотел ни войны, ни вражды! Когда умер Андроник, когда на первом же заседании синклита враги начали оскорблять меня, я подал в отставку и ушел, сам! И что же? Солдаты явились во дворец приветствовать Кантакузина, осыпая угрозами патриарха Иоанна, и василисса Анна сама послала за мной! Просила заступиться, утишить бунт (Бунт! Лишь только я появился, смятение тотчас утихло и буря улеглась). Меня сама Анна упросила вернуться к власти! Я поселился с ее детьми во дворце, окружил семью василевса стражею, дабы никто не осмелился свергнуть вдову Андроника с престола. Теперь мне и это ставят в вину! Винят, что я грабил города, облагая налогами...

— Ты тратил деньги, спасая империю! — вновь вмешалась Ирина. — А василисса Анна меж тем заложила драгоценности греческой короны венецианцам для того только, чтобы нанять войско османов против нас!

— А они разграбили пригороды Константинополя, и опять виноват ты, а не Анна!

— И теперь Палеолог раздает острова и снюхивается с османами!

— Отец, родина ждет твоего решения нынче, теперь, иначе будет поздно!

Кантакузин смотрел на них обоих молча. И это самые близкие ему люди. Самые дорогие. Ближе — нет. Спросил наконец сына, тяжело понурясь:

— Чего хочешь ты?

— Того же, чего и армия. Чтобы ты короновал меня императором!

— Для того, повторяю вновь, надобно сместить Каллиста.

— Смести! И сверши!

— Ты не мыслишь, сын, что это будет началом конца?

—Ты забываешь, отец, еще об одном, — наступчиво возразил Матвей, — о Руси и о кир Алексии, у которого есть серебро и которому нужно утвердиться на престоле митрополита русского! Чего также не допускает Каллист!

— Уступи сыну, отец! — с мягким, но неодолимым упорством попросила Ирина.

Кантакузин затравленно поглядел на нее и промолчал, низко склонив голову.

Запрет поминать в славословиях Палеолога и слух о близкой коронации Матвея всколыхнул всю патриархию. Не было, казалось, ни догадки, ни участия, ни хотя бы понимания подступившей к порогу василевса трудноты. Было злое торжество: «Вот он наконец-то! Скинул волк овечью шкуру! Показал истинное лицо!»

Каллист произнес в Софии громовую проповедь, где, правда, не называя имен, обличал «неправых и лукавых рабов, мнящих обадити и истребити власть имущих, поставленных от Господа», после чего вскоре совлек с себя патриаршество и удалился в монастырь. Сделал он это картинно, в соборе, после службы, в присутствии клира и толпы прихожан, объявив, что не возможет увенчать короною недостойного. И тут же, сняв дорогое облачение и обувши дорожные сандалии, с посохом в руках, благословив на прощанье всех присутствующих, вышел в путь. Греки теснились по сторонам, забегали сбоку, прося благословить напоследях, а пастырь шел наступчиво вдоль по Месе, запахнув плащ, в долгой дорожной далматике, и ни-

кто не смел его остановить, ни отогнать толпу прихожан, следующих за своим патриархом.

Алексий, глядевший на все это действо с хор, почувствовал даже симпатию к гордому старцу и ожидал, что в многочисленных секретах патриархии, особенно в секрете великого хартофилакта, а также в секретах великого скифилакоса и сакеллария, где было большинство противников Кантакузина, услышит он теперь возмущение произошедшим и сожалительные слова о старом патриархе, — ничуть не бывало! Все, словно переменившись в течение одного дня, только и говорили о жданном назначении Филофея Коккина. (Хотя Кантакузину надобно было выбирать одного из трех кандидатов, в том, что он выберет Коккина, сомнений не было ни у кого.)

Алексию стало муторно от этой мгновенной переменчивости греков. Он ушел в триклин Фомаит, где помещалась патриаршая библиотека, сидел над развернутой рукописью Златоуста и думал, и будущее уже не представлялось ему таким радостным, как еще вчера.

Зима проходила трудно. Погода стояла мерзкая. Холодный ветр с Пропонтиды наносил не то дождь, не то снег. Как это было не похоже на веселое русское Рождество!

Переговоры Кантакузина с турками затягивались, хотя он и предложил за Чимпе огромную сумму в десять тысяч иперперов. (Впрочем, значительную часть денег Кантакузину, о чем мало кто ведал, давала Москва[1].) По слухам, василевс собирал войско, чтобы изгнать Палеолога с Тенедоса, меж тем как василисса Анна продолжала спокойно сидеть в Константинополе, во Влахернах, в соседстве с самим Кантакузином, и пользоваться всеми своими прежними привилегиями. Все это тревожило и было малопонятно.

Отошли Брумалии и Календы, на Руси превратившиеся в «коляду». Ряженые (мужики, окрученные бабами, и жонки — мужиками) бродили в личинах из дома в дом, пировали, пили, выпрашивали дары. Вином торговали во всех маленьких харчевнях, звучала музыка, славили и пели разгульные песни, водили ученых медведей и дрессированных собак, на перекрестках зазывалы приглашали посмотреть представления мимов и плясуний... Город жил, не ведая или не желая ведать нависшей над ним беды.

Алексий в эти дни трудился особенно напряженно. Он уже добрался до Евангелия от Иоанна и теперь, когда сам переводил знакомые строки, переживал заново и по-особому углубленно огненные слова евангелиста, бывшего любимым учеником учителя истины. «Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», — читал Алексий, будто бы и про себя и в укор себе: все ли он сделал для Руси, для земли и языка своего? По редким известиям, с трудом доходившим до Константинополя, на Москве творилась какая-то нелепица, и следовало скорее, скорей возвращаться назад! Но возвращаться — только победителем. Он и погибнуть теперь не имел права!

С Филофеем, который деятельно готовился к поставлению, они теперь почти не встречались. Гераклейский митрополит явно до времени избегал долгих бесед с Алексием.

Собор, утвердивший наконец кандидатов на патриарший престол, состоялся в конце февраля. Было много споров. Приезжал сам Григорий Палама из Солуни. И Алексий сумел, хотя и мельком, повидать знаменитого проповедника и даже перемолвить с ним. Кантакузин, как и ожидалось, из троих ставленников избрал Филофея Коккина.

В Галлиполи для покупки церковных святынь Алексий отрядил священника Василия с дьяконом и Станяту. Духовные немного робели, а Станька был рад безмерно, и уже виделось, что он поведет всю братию за собой. Отплыли на легкой парусной лодье с небольшим навесом, где можно было спать и кое-как стряпать себе еду в глиняной походной печурке.

Греки — их было четверо на лодье — подняли парус, враз упруго выгнувший грудь по ветру. Лодья пошла ходко, вспенивая волну. Станята, с удовольствием вдыхая влажный соленый ветер, долго стоял на корме, махая шапкой провожавшему их Алексию, пока башни Константинополя не стали тонуть за волною и маленькая фигурка на берегу вовсе не исчезла в отдалении.

Все дальше и дальше уходили скалистые берега, холодный ветер пахнул зимой и родиной, и сладко было ощущать качание моря, сладко глядеть в дымчатую, тающую даль неба и воды.

Старый грек покрикивал на молодых помощников. Укрепив парус, греки достали оплетенную корчагу с вином, мигнув, подозвали Станяту, тот не стал отказываться. Предложили выпить и клирикам. Дьякон с удовольствием приложился к глиняной бутыли, а поп Василий лишь отрицательно покачал головой — его мутило.

— Мне, Станята, теперича, — признался старик, веселым слезящимся глазом взглядывая на новгородца, — иная посудина надобна!

Ветер был свеж, и моряки, от которых пахло дегтем и рыбой, порешили не заходить в Гераклею.

— Ходом к ихним островам пойдем! — объяснил Станята старику Василию, а тот только умученно кивал головою. Ему уже не пораз приходилось высовывать голову за борт.

В полдень поснидали печеною рыбой и ячменным хлебом, запивая то и другое темным греческим вином. Низило солнце, крепчал ветер. Греки, усевшись в кружок, пели что-то свое, высокими голосами с горловыми украсами, схожими с восточным, быть может турецким, пошибом. Поп с дьяконом дремали,

[1] Мы можем полагать об этом достаточно твердо, ибо в казне василевса ромеев золота не было совсем, и уже прежний Симеонов присыл, о чем сохранены летописные известия, пришлось Кантакузину употребить для расплаты с турецкими наемниками. А что касается василиссы Анны, то она еще в пору гражданской войны спустила все ценности короны венецианцам, оставив победителю одни голые стены дворцов. На строительство флота Кантакузин просил денег у граждан Константинополя. Тут же ни о каких общественных сборах не было речи. Источник предполагаемой выплаты мог быть только один — московское серебро.

прижавшись друг к другу. А Станята все глядел, вольно вдыхал полною грудью ветер, и все не проходила, длилась и длилась в нем беспричинная радость бытия.

Солнце угасло, облив на прощание полнеба густеющим красным пожаром. Лиловые тени, смешиваясь с туманом, заволокли окоем, и вот уже первые звезды начали свой мерцающий хоровод в высоком бледном эфире, меж тем как тьма, подкрадываясь, сочилась над самой водой.

К островам подходили уже в полной темноте. Упруго пели под ветром где-то высоко, на урыве скалы, греческие низкорослые сосны, одним черным узорным очерком проглядывавшие отсюда, с воды, на фоне бархатно-синего неба.

Грек-хозяин поднял над головою слюдяной фонарь. С берега ответили, размахивая таким же фонарем. Потом на причале запалили костер. Греки ровняли паруса, опускали в воду тяжелые длинные весла.

Скоро вся троица русичей сидела в каменной хижине у очага, отогреваясь и хлебая из глиняных мис дымное варево, поданное горбатой старухой работницей.

Духовным хозяева отдали деревянную кровать (и напрасно, отец Василий после жаловался, что клопы заели совсем), а Станята, избрав благую долю, вышел в хлев и пристроился на соломе в углу, где и выспался преотлично под вздохи осла с коровою, в соседстве с козами, но зато вдали от зловредных насекомых.

Утром все было в холодном тумане и росе. Выйдя во двор, Станята поежился. Странная у них тут зима! Прежняя горбатая старуха в сером шерстяном хитоне шла через двор и молча покосилась на Станяту. Зашла под навес и, наклонившись почти до земли, стала черпать вино из большого, врытого в землю пифоса. Начерпала кувшин и, поставив его на плечо, понесла к дому.

Скоро в каменном очаге запылал огонь. Искусанные русичи выползли на свет божий, с завистью оглядывая Станяту, избежавшего дорожной кары. Греки, ходившие вычерпывать воду из лодьи, расселись в кружок вокруг грубого дощатого стола. Вышел носатый хозяин, зевая, поздоровался с русичами. На столе явились хлеб, вареная капуста, соленые оливки и рыба, снова по кругу пошло разбавленное водою темное греческое вино и, когда восстающее солнце начало пробивать плотную завесу тумана, путники, завершив трапезу, уже вновь забирались в лодью. Стихший к полуночи ветер с зарею посвежел, весело надувая просмоленный рыжий парус, и остров с редкими сквозистыми соснами на вершинах скал, напоминавшими о вечности, скоро сокрылся в отдалении неба, воды и белесого утреннего тумана.

Вечером второго дня подходили к Галлиполи. Берега сузились. Город, расположенный у самой воды, в сумерках был трудно различим. Только разноголосый собачий брех да редкие огни по-за стеною говорили о размерах поселения.

Ворота уже были затворены, и кабы не греки, проведшие русичей укромною калиткою в городской стене, где сводчатый лаз почти царапал головы, путникам пришлось бы заночевать на берегу. Долго искали знакомого иерея, к коему было письмо из патриархии, долго стучались в ворота, долго не открывал хозяин, испуганный ночною суетой. (Тут, как выяснилось, все боялись нежданного набега турок из Чимпе, и потому каждый дом к ночи превращался в маленькую крепость.)

С утра началась беготня по городу. На мощеный дворик ихнего галлиполийского хозяина Станята являлся едва не затемно. Отец Василий изнемогал и больше посиживал дома, охраняя шкатулку с серебром, а дьякон, скупой на слова, но толковый мужик с веселым прозвищем Ноздря (по имени его никто, кажись, и не называл), тоже, как и Станята, совался из лавки в лавку, разыскивая перекупщиков, сумевших уже, как оказалось, и с турками из Чимпе завести торг, скупая у них краденую церковную утварь.

Ноздря и обнаружил ту, слоновой кости, резную иконку Спасителя с предстоящими, из-за которой у них восстала пря едва не на целую ночь, ибо отец Василий отказался платить за нее: «бо всех драгих вещей в Константинополе все одно не скупить, а серебро надлежит, по слову Алексиеву, тратить токмо на писаные иконы и книги». Но в конце концов оба совокупными усилиями убедили старика. Иконка была и вправду чудной работы. Но уже добившись своего и купив, оба, Станята и дьякон, крепко задумались: одобрит ли их куплю Алексий?

Иконы были, икон было много, и древние, и недавние, разных писем — из Цареграда, Солуни, Никеи и Никомидии, с Кипра и даже из армянской Киликии и Антиохии. Но то запрашивалась несусветная цена, то троица русичей после долгих пересудов и споров сама отступалась, находя, что икона «не казовита» или же «не про нас». Пока еще только несколько образов — поясной Никола, Благовещение, Оранта да деисусный чин, добытый с великими трудами у прижимистого грека, — украшали покой русичей, тесную каменную клеть под камышовою крышей с единым окошком на задний двор, уставленный рядами полуврытых в землю пифосов с вином, пшеницей и оливковым маслом.

Город жил своею обычной жизнью. Ковали, чеботарили, торговали и ругались ремесленники и купцы; крестьяне в одеждах из козьих шкур привозили на рынок сыры, битую птицу, овощи и оливки, приводили осликов, груженных огромными охапками хвороста; рыбаки предлагали свежую рыбу в плетеных корзинах. Греки покупали, спорили, суетились, варили и жарили, к ночи разбегаясь по своим каменным или плетенным из камыша и обмазанным глиною клетушкам, крытым где черепицею, а где и попросту соломою да тростником. Стража становилась у запертых ворот, и городок засыпал, чутко вздрагивая от каждого звука подкованных конских копыт в застенной пугающей темноте.

Турки иногда подъезжали снаружи к башням, кричали что-то по-своему и смеялись, хлестнув коней,

уносились прочь. И опять было непонятно: что это? Война или не война?

Ту, «дивную», как потом называли ее, икону Станята нашел не вдруг, а уже, почитай, перезнакомясь со всеми торговцами церковным товаром, узнавши, что почем и где можно достать.

Грек Никита Стифат, коего они с Ноздрею по-своему перекрестили в Стипу, показав образ, запросил двести иперперов, цену немыслимую ни по каким законам естества, хотя как только Станята узрел этот крупный лик ангела с прядями золотых волос, окаймивших лицо самой совершенной неземной красоты, и завораживающим колдовским взглядом мягко-огромных глаз, то и понял, что образ надобно добыть во что бы то ни стало.

Станята и отца Василия таскал в лавку Стипы, и самого грека часами уговаривал уступить, но тот уперся твердо, ни в какую не сбавлял даже и первой названной цены. Станька аж похудел с того горя.

— Отступись! — пенял ему, жалеючи, отец Василий.

— Не отступлю! — мотал головой Станята. — Украду лучше!

— Зарежут тогда нас с тобою тут, тем и окончим! — возражал Василий. — И серебро отберут за так!

В тот день, второго марта, Станята с утра сбегал на рынок и только еще собирался жарить рыбу на угольях, по-гречески, когда отец Василий зачем-то позвал его в дом. И первое, о чем почудило грехом, что Ноздря замыслил какую шутейную каверзу, пото и налетел сбоку, пихнув изо всей силы в плечо. Станята, недолго думая, развернулся дать приятелю плюху, но и тут же не устоял на ногах. Каменный пол дернуло из-под него, плиты расселись, а иконы начали одна за другою валиться со стены вниз, и сверху на головы им посыпались глина и камышовая труха. Мало соображая, Станята ринул к стене спасать иконы, но стена на глазах качнулась и начала распадаться на отдельные камни.

Дьякон почему-то оказался у него в ногах, а самого Станьку бросило головою вперед, туда, где под обрушенным столом жалостно вопил отец Василий: «Станюша, помоги!» Станька подхватил старца под мышки и, отмахиваясь от целого дождя камыша с глиною (крыша, сообразил он, падала им на головы), ринул к выходу.

Во дворе, покрытом извилистыми трещинами, земля вновь вздрогнула, швырнув его навзничь. Над городом стояли гул и грохот и разноголосый вой. Из дверей обрушенной ихней хоромины полз дьякон с безумно вытаращенными глазами, прижимая к себе ларец с серебром.

— Трус! Землетрясение! — первым сообразил Станята, припомнивший рассказы греков о трясении земли в Константинополе. И тут у него в голове родилась отчаянная мысль.

— Ройте тута! — прокричал он отцу Василию с дьяконом, а сам, схватив из рук дьякона ларец и выхватив оттуда, не считая, малую горсть серебра, стрелою вырвался за ограду.

Заячьим скоком — земля то и дело вздрагивала, сбивая его с ног, — Станята помчался вверх по улице, расталкивая мечущийся народ, смятенных мужиков и простоволосых жонок, туда, туда, за поворот, первый, второй... Не опоздать бы только! Удар как будто в самые подошвы подкинул его вверх и обрушил в кучу пыли и мусора. Видимая в конце улицы башня городской стены на глазах расселась надвое и рухнула, подняв облако пыли. Какие-то мелкие камни, обломки падали, рушились со сторон. Но Станька, вставши сперва на карачки, с запорошенными глазами, все-таки поднялся и вновь побежал.

Наконец — вот он! Но что это? Стипиного дома не было. На месте хором высилась груда искореженных бревен и камней. «Неужели погибла?» — охнул про себя Станята и кинулся прямо в колышущиеся, рассыпающиеся развалины, бешено разгребая доски и сор на месте иконной клети.

Откуда-то вывернулся рыдающий, растерзанный Стипа с криком: «Помоги!» Станята, опомнясь, помог ему приподнять рухнувшую балку. Вытащили еще живую Стипину жену, всю в крови, и двоих оставшихся целыми, перепуганных до смерти малышей. Баба кончалась. Неведомо отколь взявшаяся старуха (как и уцелела, карга?) начала причитать. Станята, прихмурясь, помог прибрать мертвую, постоял и все же, сжав зубы, начал разбирать завал над Стипиной кладовой. Грек то плакал над женою, то бестолково совался к Станьке, а тот, жмурясь от пыли, выдирал и швырял греку то одно, то другое: платно, корчагу, измятый и замаранный каравай хлеба...

Так он работал молча и рьяно час, и наконец стали показываться иконы — иные расколотые пополам, иные с попорченной, порванною паволокою и сбитым левкасом. Грек, вновь подошедший к нему, начал завороженно принимать от Станьки иконы одну за другой. Глубже, глубже... «Лишь бы не ухнуло еще раз!» — молился Станька. Наконец показалось «то». Образ был цел. Станята сел на камни и впервые отер грязное потное лицо порванным рукавом рубахи.

— Беру его у тебя! — сказал Станька сурово греку. Тот, не в силах еще обмыслить все зараз — и смерть жены, и гибель дома, — тупо покивал головой. Станька скинул с плеч свиту, завернул ею образ, обвязал поясом и взвалил себе на спину. «Теперь пусть хошь и трясет, не отдам!» — мысленно пообещал он. Грек кинулся было следом, расставя руки, но Станька свирепо глянул на него, рыкнув, аки медведь:

— Жонку, детей тебе выволочил! Иконы, гляди, отрыл! Да и... заплачу! Вот, держи... сколь тута есть...

Грек, приняв серебро, остоялся, растерянно глядя вслед рысью убегающему русичу, так и не понимая еще, помогли ему или ограбили?

Турки появились нежданно-негаданно, и разом, еще ничего не поняв, жители побежали вон из города. Ревели ослы, плакали дети и кричали женщины. Греческие воины отступали, не принимая боя.

Трое русичей, брошенных на произвол судьбы (ихний иерей-хозяин так и пропал невестимо), не ведали, что им вершить. Сообразили, впрочем, при-

прятать серебро — и вовремя. Во двор верхами въехали двое турок, потом еще пятеро. Некоторые соскочили с коней и, словно не замечая русичей, принялись ворошить развалины, выискивая добро. Один на заднем дворе присел у пифоса и, вороватo озрясь по сторонам, черпнул пригоршнею вина и выпил, потом обтер усы и, оглянувшись, не узрел ли кто из братьев мусульман, лихо вскочил в седло. Русичей грубо ощупали, с отца Василия содрали дорогой цареградский зипун, у Станяты турок отобрал шапку. На иконы никто из воинов не обратил и внимания. Думалось — пронесло. Но тут черный усатый турок вдруг развернул аркан и, накинув на плечи дьякона, поволок Ноздрю за собой. Станята ринул следом. Увернувшись от плети и второго аркана, он бежал по улице, крича то по-гречески, то по-татарски:

— Поп! Пресвитер! Мулла! Нельзя! Суфий! Нельзя трогать!

Но турок, словно не понимая, рысил вперед, волоча за собою дьякона, которому приходилось, дабы не упасть, бежать за конем вприпрыжку.

Так, догоняя дьякона, Станята вылетел вслед за турками на площадь и чуть не врезался в высокого всадника в простых холщовых шароварах и рубахе, но в красных сапогах и на дорогом коне, с богато отделанною сбруей, который ехал во главе кучки окольчуженных воинов, вольно опустив поводья и поглядывая по сторонам орлиным взором повелителя. В ухе всадника сверкала украшенная бирюзою серьга. На лихо заломленной шапке перо было укреплено золотою пряжкой с крупным алмазом.

«А, будь что будет!» — подумал Станята и, как в воду кидаясь, уцепился за стремя всадника.

— Князь! Великий хан! — закричал он. — Окажи милость! Русичи мы! Гости! Вели свободить дьякона нашего! — Он тут же повторил все по-татарски.

Сулейман (это был он) удивленно поднял бровь. Обернувшись к своим, спросил:

— Что говорит этот грек?

— Не грек я, русич, русич, Руссия! Москов! Золотая Орда! Хана Джанибека подданный!

Сулейман плохо понимал по-гречески, но когда ему перевели, всмотрелся в Станяту пристальнее, по рубахе и портам признал, что перед ним не грек, а услышав имя хана Джанибека, подумал, прищурился и кивнул головой, примолвив кратко:

— Освободить!

Тотчас освобожденного от веревки растерзанного Ноздрю поставили рядом со Станятой.

— Кто ваш господин? — спросил Сулейман.

— Наш господин великий князь московский, а сам он подданный царя Золотой Орды хана Джанибека! — ответил за обоих Станята.

— И что вас занесло сюда? — насмешливо вопросил Сулейман.

— Иконы купляем, книги церковные! — вновь ответил Станята. — В нашу землю везем!

— И много у вас серебра? — усмехаясь, продолжил Сулейман.

— А почитай все и растратили! — возразил Станята. — Накупили икон, а ныне и домой ехать не на чем!

— Домой, это в Константинополь? — уточнил Сулейман.

— Ага! — Станята неотрывно глядел в голубые беспощадные глаза Урханова сына, чуя нутром, что эдак-то лучше. — Набольший наш, митрополит русский, тамо сейчас, ставиться приехал!

Сулейман раздул ноздри.

— А ежели я прикажу обыскать вас обоих и обнаружу золото? Греки так изолгались, что их приходится нынче поджаривать на огне, чтобы из них закапало наконец золото!

Воины дружно расхохотались шутке своего повелителя, и Станяте стало муторно, а у дьякона так и вовсе повело в глазах.

— Твои воины уже обыскали нас! — ответил Станята.

Сулейман расхохотался, довольный.

— А ты молодец, — примолвил он, — не трусишь! — И, согнав улыбку с лица, выговорил важно: — Передайте вашему большому попу, пусть он скажет самому Кантакузину, что десять тысяч иперперов за Чимпе мне теперь мало! Я хочу получить в придачу всю Фракию! Видел ты это, русич?! — продолжал он с сумасшедшим блеском в глазах. — Стены города пали, греки бегут, а мы наступаем! Ваши боги мертвы! Велик Аллах!

Воины дружно подхватили мусульманский клич. Сулейман натянул повод, отстранился, подумал и примолвил, взмахнувши рукой:

— Дайте этим русичам осла, пусть увозят свои иконы, и мой фирман, чтобы их не раздели дорогою!

Ослов, потерявших хозяев, растерянно бродивших по захваченному городу, было много. Им тут же подвели одного из них.

Получив грамоту, весь переполненный радостью (пока писец, не слезая с седла, готовил фирман, он все показывал турку на пальцах: трое, мол, нас, трое!), Станята, ухватив осла за повод и дьякона под руку, повлек обоих к разрушенному дому, где отец Василий терпеливо и безнадежно сожидал или возвращения спутников, или какого иного последнего конца.

С фирманом за пазухою стало можно жить. Разделив натрое остатнее серебро и завернув в онучи, они начали собирать уцелевшие иконы, укутывая их в любое попадавшее под руку тряпье, и увязывать вервием. Икон и книг набралось неожиданно много, и осел едва не зашатался под тяжкою ношей.

— Не сдюжит! Повозку нать каку-нито! — произнес, опомнившись, дьякон.

С повозкою (нашлась одна с отвалившимся колесом) провозились до вечера. Руки, однако, были привешены как надо, что у Станяты, что у Ноздри, и к вечеру возрожденная повозка уже стояла, доверху нагруженная и готовая к походу. Только тут все трое почуяли, что надо немедленно поесть, и принялись рыскать по клетям. Нашли сыр, сухари, овощи, прихватили корчагу вина.

Раз пять к ним во двор заезжали турки, смотрели

фирман и, пожимая плечами, поворачивали и пускали вскачь. Читать из них, по-видимому, никто не умел, но печать Сулеймана действовала безотказно.

...Только к исходу ночи путники, сбившие в кровь ноги, серые от устали и дорожной пыли, догнали отступающее греческое войско.

В ночи раздавались стоны и плач, скрипели на на разные голоса повозки, беженцы шли и ехали, в панике оставляя свои хижины. Гнали скот. Надрывно блеяли козы. Греческие воины молча шли за потоком беженцев, прикрывая уходящих с тыла и с боков.

В канавах по сторонам дороги валялось брошенное добро, ржали обезножевшие брошенные лошади, копошились выбившиеся из сил, отчаявшиеся поселяне. Отдельные фигуры брели, покачиваясь на неверных ногах, назад, к оставленным очагам, к врагам — или же к новым господам? Все равно!

Пока добирались до Константинополя, насмотрелись всего. Проходили нищие деревни разоренных налогами и войной париков; слышали проклятья и ругань вослед отступающим войскам; видели целые побоища, когда греки у греков выдирали из рук добро и скотину, и не понять было по озлобленным, искаженным лицам, кто тут похититель, а кто законный владелец.

В лохмотьях, почти босые, черные от усталости и голода, входили они в Константинополь вместе с толпою беженцев, ведя под руки, со сторон, полумертвого отца Василия, но сохранив и даже приумножив дорогою иконы и книги.

Алексий тихо ахнул, увидя свое посольство в таком состоянии, и повелел всех немедленно накормить и вымыть.

Отец Василий уже и идти не мог, его внесли в монастырь на носилках, а Станята с Ноздрей тотчас из-за стола устремились в греческую баню, где уже и повалились без сил на горячие камни, под которыми, обогревая их, проходил по глиняным трубам огонь. И только одного не хватало им теперь: ржаного квасу и русского березового веника!

К вечеру Станька, умытый, переодетый и гордый собою, сбивчиво и горячо повествовал Алексию о своих подвигах. Были достаны и расставлены вдоль стен привезенные святыни. Алексий глядел, то собирая брови хмурью, то улыбаясь, оценивал, а Станята называл стоимость, немного, совсем немного и привирая. Указывая на несколько, добытых дорогою, присовокупил:

— А эти в канаве подобрал! Ни за что пришли!

И только сбереженного ангела не торопился показать, а уже напоследях развернул и поставил на казовое место.

Золотые волосы, уложенные крупными прядями, мягко сияли в сумраке покоя. Нежный овал лица был почти женственно обаятелен, и большие, неземные, завораживающие глаза словно смотрели оттуда, из сияющей глубины непостижного.

— Такие вот лики, — прошептал Алексий, — и являют нам, по слову Ареопагита, зримое, возвышающее нас высшими, чем людская молвь, глаголами к божественному созерцанию Истины!

Станята, не поняв сразу сложной мысли, чуть ошалело поглядел на наставника, боясь переспросить, и все-таки понял, сказавши по-своему:

— «Оттудова» смотрит?

Алексий молча привлек Станяту к себе и поцеловал в кудрявую бедовую голову.

Захват Сулейманом Галлиполи всколыхнул весь Константинополь. Толпы подходили к Влахернскому дворцу, кричали обидное. Каталонская гвардия то и дело разгоняла чернь.

Кантакузин вновь послал посольство к Урхану, предлагал уже сорок тысяч иперперов, лишь бы турки покинули европейский берег. (Половину этой суммы обещал достать Алексий.) Урхан все медлил с ответом. Но события уже грозили стать неподвластными Кантакузину. Приходило спешить. В апреле был возведен на патриарший престол Филофей Коккин и тотчас засел с Алексием за составление грамот на Русь.

В секретах патриархии творилась прямая бесовщина. Сам Филофей не единожды уговаривал Алексия, с тоскою глядючи на него, отказаться хоть от четверти своих требований. Но Алексий, что называется, закусил удила. Да и русское серебро должно было быть оплачено. И Филофей Коккин это понимал, и понимал Кантакузин, и понимали в секретах, а поэтому дело медленно, но продвигалось к своему завершению.

В Новгород вслед за отсылкою крещатых риз новому архиепископу Моисею пошла патриаршья грамота, подписанная Коккином; требующая от новгородцев сугубого подчинения владимирской митрополии. Готовился долгожданный акт о переносе кафедры из Киева во Владимир. Уходили одна за другою грамоты к епископам луцкому, белзскому, галицкому и волынскому. Улаживалось дело с грамотою для Сергия, и уже подходил срок неизбежного, как виделось, поставления самого Алексия, но тут в Константинополь прибыл вновь соперник Алексия Роман, и дело вновь замедлилось, как замедляет свое движение корабль, попавший в тину. Роман тщательно скрывался от Алексия, но его присутствие обнаруживалось на каждом шагу. Одно спасало, что Ольгерд, кажется, пожадничал и не снабдил тверского ставленника великими деньгами.

В апреле был коронован Матвей Кантакузин. Торжество — едва ли не случайно — происходило не в Софии, а в церкви Богородицы во Влахернах. По городу судачили, что сам Григорий Палама плыл в Константинополь, чтобы воспрепятствовать венчанию Матвея, но его корабль был взят османами как раз во время захвата Галлиполи и фессалоникийский епископ угодил в плен к туркам. (Теперь Кантакузина добавочно обвиняли в том, что он не спешит выкупить великого подвижника.)

Кантакузин постарался придать венчанию сына подобающую пышность — вероятно, мысля хотя бы этим поправить падающую популярность своего императорского дома.

Церемонию предваряло всенощное бдение. С утра

начали собираться приглашенные гости и народ. Алексий со спутниками едва пробились в храм, хотя их и встречали и проводили внутрь придворные церемониарии.

В церкви стояли одни мужчины в праздничных дорогих одеждах, плотно, плечо к плечу. Женщины — василисса, патрикии, жены сановников двора — глядели с хоров, скрытые тафтяными занавесами. Певцы все были в широких камчатых ризах, напоминающих стихари, в оплечьях, шитых золотом, бисером и кружевами.

— Яко на иконе написано! — перешептывались в восхищении русичи за спиною Алексия, любуясь хором. Алексий кивнул. Его самого дивило обилие иноземцев во храме. Римляне и испанцы, фряги из Флоренции и Галаты, венецийские фряги и угры — кого тут только не было! При этом каждый язык стоял в особину, знаменуясь своим одеянием — в багряных и вишневых бархатах, иные в темно-синих и черных, отороченных белым кружевом, кто в расшитом жемчугом нагруднике, кто с золотым обручем или цепью на шее, — каждый по навычаю и достоинству своей земли.

Под хорами возвышалось царское место, закрытое алым черевчатым бархатом, приуготовленное для Матвея. В первом часу дня Матвей, в роскошном скарамангии, сопровождаемый двенадцатью телохранителями в железной броне и с обнаженными секирами на плечах, главными, царскими дверями вступил в храм. Перед ним, в алом, шли знаменосцы, а перед ними — приставы с посохами, украшенными жемчугом, расчищавшие путь.

Хор дивно звучал, звуки лились, словно стройные волны, наполняя храм. Матвей выступал медленно, и торжественная процессия — ежели бы не обнаженное начищенное железо — напоминала церковную. Перед тем как начать всходить по ступеням, он, прихмурясь, оглядел слитную толпу, узрел отца и мать на золотых тронах, чуть дрогнул бровью, измерил взглядом путь к предназначенному для него золотому седалищу и начал тяжело восходить по ступеням, словно жданная корона уже и не радовала его. Впрочем, быть может, так показалось одному Алексию?

Матвей восходил, и волны согласного пения возносили его все выше и выше, и звучала радость в голосах хора, и тихо волновалась скованная ожиданием толпа.

Вот Матвея начали облачать в багряницу и диадиму, вот вынесли царский венец и положили на возвышение рядом с золотым троном, на который опустился Матвей.

Началась литургия. Алексий понял, что Филофей старается изо всех сил — как-никак, а это его первое столь торжественное патриаршье служение!

Длилась служба, вздымал свои голоса хор, в алтаре совершалось таинство проскомидии, иноземцы стояли смирно и лишь по времени отирали потные лица шелковыми платами. Творилось древнее, повторяемое уже тысячу лет, величавое действо, а Алексий вспоминал живой рассказ Станяты и ужасался тому, сколь по тонкому льду ступает сегодня новый ромейский император...

Наконец подошло время выхода. Два великих архидиакона с уставной неторопливостью приступили к Матвею, сотворив малый поклон. Матвей шел к алтарю, по-прежнему в сопровождении вооруженной охраны и знаменосцев. Они так и встали, развернувшись, перед алтарной оградою, когда Матвей вступил в алтарь, где на него надели священный фелонец, тоже багряный, и дали ему в руки свечу. Филофей взошел на амвон. Склоняя головы, слуги, одетые в белые стихари, вынесли царский венец на блюде, закинутый шелковым покровом. Церковь примолкла. Вот Филофей — сам в золотых ризах и патриаршей митре — перекрестил склонившего голову Матвея. Вот вложил ему в руку крест. Вот поднял с блюда засверкавший венец и водрузил его с благословением на голову Матвея. Увенчан!

Теперь Матвей, очень прямо держа голову, движется назад, к золотому трону, опять в сопровождении своей бронированной дружины. И длится служба. Когда кончается херувимская песнь, новый царь, опять вызванный архидьяконами, снова вступает в алтарь и идет с горящею свечою в руках уставным медленным шагом впереди великого собора, впереди златотканого шествия со святыми дарами и хоругвями. И звучит херувимская, и движется, шествует из алтаря и в алтарь священная процессия во главе с царем. Там, в алтаре, Матвей будет кадить у престола и причащаться святых тайн. И затем причащается Кантакузин, и затем Ирина, которую для причастия вводят в алтарное крыло.

А уже в соборе, теснясь, сошедшие на торжество горожане разрывают на куски, делят червленый занавес престола, кто сколько сумел ухватить, уничтожая временное Матвеево седалище. И странно, и безлепо зреть свалку во храме, хоть и то идет от седой, старопрежней старины.

Наконец Филофей Коккин в патриаршем облачении выходит из алтаря (Алексию все еще дивно видеть его в парчовом великолепии риз), садится на резной патриарший престол. Матвей в багрянице и диадиме подходит к нему для заключительного благословения. Отчетисто в замершей тишине звучат слова Коккина, наказующего Матвею неколебимо соблюдать заветы православия, блюсти уставы, не захватывать чужого, стяжать в себе прежде всего страх божий и помнить о смерти. «Яко же земля еси и паки в землю отыдеши». Все — как надлежит и надлежало по древним уставам. И только одного — мрамора для будущей гробницы не показывают Матвею. (Да мрамор ему и ни к чему! Меньше чем через три года он, схваченный сербами и выданный Палеологу, вынужден будет отречься от престола.)

Тотчас после патриаршего благословения начали подходить к сыну Кантакузина патрикии и чины, стратилаты, ипаты и воины, всякие вельможи двора, и было их много, очень много, гораздо более, чем надобно, чтобы отбить у турок Галлиполи!

И потом был выход из церкви. И осыпание нового

царя золотыми номисмами и серебром. И безобразная свалка горожан, расхватывающих даровые монеты...

Поставление самого Алексия состоялось только в июле. Кантакузин не отступил от своих обещаний, и вот Алексию, помазанному и облаченному в митру, в соборе Господней мудрости вручили драгоценную грамоту — решение константинопольской патриархии о переводе митрополичьей кафедры из Киева во Владимир, — воистину драгоценную грамоту! Ибо с ее помочью Алексий намерен утвердить Русь и справиться с Литвой.

И не беда, что далеко не все грамоты еще утверждены и подписаны, и не беда, что само решение патриарха потребует тьмы дополнений и уточнений, что в секретах патриархии его еще будут томить и томить... Он победил! И Русь, его Русь ныне получит своего, русского заступника и ходатая, и уж престол из Владимира в Киев, к Ольгерду, больше не перенесут, об этом позаботится он при жизни своей! И — какая слепительная судьба открывается ныне пред русскою церковью и землею!

«Вы, покойные — крестный мой, Иван, коему при гробе обещал я вздеть этот крест на себя и не ослабеть в трудах, и ты, Симеоне! Видеши оттоле днесь славу родимой земли? Господи! Верую! Верую в помочь твою всякому, прилагающему труд свой на добро ради земли своея и не ослабевающему в усилиях!»

Вечером того дня они сидели за трапезою всею дружиной. Алексий во главе стола, бояре и клирики по сторонам и далее — все до последнего русского слуги. С ними был и Агафон, сбирающийся ехать на Русь и поэтому тоже свой. Дементий Давыдыч весь сиял, любовно оглядывая Алексия, Артемий Коробьин буйно выкликал здравицы, Семен Михалыч расчувствовался до слез, и его утешали всем хором, воскресший Василий тоже плакал и ходил лобызаться с Алексием, шумела дружина, ликовал клир, и лица светились, и сейчас, не разбирая чинов, все они были в одно — малый остров на чужой, раздираемой смутами земле, малый остров надежды и веры, веры в Грядущее и в то, что оно светло.

Тут бы и ехать домой! Но по Цареграду бродил Роман, судьба василевса была очень неясной, и Алексий положил себе довершить все дела митрополии до отъезда. Добивался полного оформления и отсылки грамот, утверждения актов патриархии, дабы не можно стало что-либо перерешить или поиначить наново. В хлопотах проводили сентябрь.

Меж тем попытка Кантакузина отбить Тенедос не удалась. Императору явно начало изменять его всегдашнее военное счастье.

Турки не соглашались и за сорок тысяч золотых покинуть Галлиполи. Кантакузин решился на отчаянный шаг. Сам поехал в Никомидию, к Урхану. Но и тут судьба изменила ему. Урхан, ссылаясь на болезнь, попросту не принял ромейского императора.

— Я не понимаю твоего отца! — кричал он, брызгая слюною, Феодоре, пытавшейся хлопотать перед мужем за старого родителя своего, оказавшегося впервые в унизительной роли просителя. — Я не понимаю твоего отца! Он хочет отдать престол Палеологу? Пусть даст! Зачем мне ему помогать? Хочет взять сам? Зачем тогда Палеолог?! Я посылал ему моего палача! Убей — и владей! Я не могу помочь теперь твоему отцу, коли он сам себе не хотел помощи! Пускай идет в монастырь!

Я не могу сдержать Сулеймана! Он молод! Он мой сын! Я уже отхожу! Молодые живут! Да! Твой отец дервиш? Пусть идет в монастырь! Он губит себя и своих детей! Иоанн Палеолог расправится с ними, как его предок Михаил расправился с сыном Ласкаря! И деньги пропадут зря, что деньги? Их заберет воин в бою, а греки перестали быть воинами! Прости, ты сама гречанка, и тебе тяжело слышать правду... Но я не приму твоего отца. Мне нечего ему сказать теперь, когда он сам отрекся от власти!

Власть — это кровь, да! Он не переступил через кровь, и что теперь? Я был честен с ним. Но за сына, взрослого сына, я отвечать не могу и не буду. Сулейман был во Фракии по зову твоего отца. Он рвется туда опять. В конце концов, греки сами бежали из Галлиполи! Плод, падающий с дерева при дороге, подбирает любой!

Мне нечего сказать твоему отцу. Передай, что Урхан болен тяжело. Я не приму его. Я сказал!

Алексий еще раз сумел повидаться с императором. Василевс принимал его келейно, в своем покое, в присутствии немногих близких друзей. Алексий углядел новые пряди седины в волосах царя, появившиеся после трудной поездки к Урхану. И взгляд явился иной: взгляд не от мира сего. Долго ли продержится он на престоле империи? Пожалев царя, Алексий не стал спрашивать его о судьбе Паламы, доныне пребывавшего в турецкому плену.

И в радость близкого возвращения вливалась печаль, как чуялось, последней встречи с царем и тревога о том, что может совершиться в великом городе, ежели Кантакузин не устоит.

Минул октябрь. Ноябрь уже был на исходе. Наступала вторая цареградская зима. Почти все было сделано, и хотя отплывать в эту пору, когда на море свирепствовали ветра, представлялось опасным, русичи деятельно готовились к отплытию.

Алексий в эти последние недели заканчивал свой, отложенный было за хлопотами, перевод Евангелия и ныне сидел над главами Иоанна, живописующими последние дни жизни Спасителя.

Одиноко теплился огонек глиняного светильника. Мрачные тени наполняли покой. В кое-как заложенное окно несло холодом. Верно, там, в Иерусалиме, была в ту пору такая же, как и здесь, в Константинополе, безлепица и кутерьма. Те же нищие на улицах великого города и у дверей храма; римские стражники и чванные фарисеи в одеждах из виссона, умащенные аравийскими благовониями, с золотыми кольцами на руках... Шумный, богатый, крикливый город в канун Пасхи! И тайная трапеза верных, среди коих один — Иуда. Который предаст. И бденье в Гефсиманском саду, наполнившемся вдруг гулом и криками и шумною толпою стражей. И такая же тьма, и холод, и треск факелов, и костры...

Весь еще во власти древних речений, он, услыша шум за окном и топот ног, мгновением решил было, что это воскресла та самая ночь и что за стенами каменного терема сейчас будут брать живым Учителя истины.

Он слепо выбежал на глядень катихумений. Мокрый ветер с Пропонтиды разом облепил одежду, хлестнул в лицо. Спустя минуту рядом с ним возник встрепанный со сна Станята.

Тут, с открытой галереи, и видно, и слышно было лучше. В темноте творилось неясное шевеление теней, мелькали огоньки факелов. Качались черные очерки мачт за Одигитрийскими воротами, и тяжело и гулко било в берег смятенное море.

Кто-то выбежал с фонарем из нижних покоев и размахивал, подавая знаки кораблям. Приглушенно звучали возгласы, и согласный топот многих ног не давал ошибиться в том, что проходили вооруженные воины.

Алексий все еще не в силах был постичь до конца, что это — не из святой книги и предают уже не Спасителя, а кого-то иного. Он оборотил беспомощный взгляд к Станяте. Из-под низких лохматых туч на мгновение вынырнула быстро бегущая луна, и Станькин лик в резких тенях, в черных западинах щек под скулами, показался незнакомо-строгим. Поворотя к Алексию мрачное лицо, он молвил вполголоса: «Кантакузина! — И ладонью черкнул по горлу. — И наши дела...» — Не докончил, отмахнул рукой.

Луна провалилась в облакс, и вновь стало совсем темно, и только внизу все хрустело и хрустело под ногами пробегающих воинов. Видимо, кто-то из патриаршей челяди или, скорее, из клира впустил их в ворота крепости и в здание арсенала Эптаскалона, где сейчас что-то гремело и лязгало и роились торопливо перебегающие огни.

— Вота што ! — вдруг решительно произнес Станята, крепко беря Алексия за предплечье. — Счас ступай в келью, владыко, и, тово, заложись, не открывай никому! А я вызнаю, да и наших упредить надо!

Алексий не успел ни опамятовать, ни возразить. Станька решительно почти выволок его с галереи, втолкнул в келью, приладил засов, переобулся погодному, схватил шапку, суконную свиту и исчез. Алексий долго прислушивался, но ни крика, ни возни внизу не услыхал. Значит, Станька проскользнул невредимо. Он плотно закрыл дверь кельи, потушил светильник и во мраке, едва разбавленном лампадою, опустился на колени перед божницей.

Так он и ждал весь остаток этой дурной и бессонной ночи, то представляя себе Учителя перед толпою стражей и рабов Каиафы, то вспоминая лицо Кантакузина в вечер последней встречи... Конечно, Кантакузин не Христос! Но сколько предательств объяснено именно этим: что тот, и иной, и третий — далеко не Христос! Да и само предательство Учителя не тем же ли, в сущности, оправдывали, говоря, что-де он не истинный мессия!

И он молился. И вновь совмещались две ночи, разделенные бездною в тринадцать столетий. «Господи, стали ли люди хоть немного лучше с той давней поры? Господи, укрепи меня в вере моей!»

В исходе ночи он услыхал осторожный стук в дверь и голоса — своих, русичей:

— Владыко! Это мы, не боись!

Вошли поп Савва, Михайло Гречин и Парамша с могутным Долгушею. Оба последних прятали под свитами широкие хлебные ножи.

— Пойди, владыко! — торопливо вымолвил Парамша. — Артемий с молодшими на дворе тебя ждут, проводят к нашим, а мы тут постережем. Книги, да иконы, да узорочье... Ежели чего, не дадимся вдруг!

Спускаясь наружною лестницей, Алексий украдкою вытер невесть с чего явившуюся в уголке глаза слезу.

На дворе его тихо окликнули. Артемий подошел близ, перекрестился.

— Слава Богу, владыко! А мы уж... струхнули маленько! Весь город на дыбах! Слышно, бьются у Золотых ворот альбо во Влахернах!

Семеро кто чем оборуженных кметей плотно окружили Алексия и быстрым шагом повели в монастырь, «до кучи», как сказал один из русичей. Добрались без беды.

Дружина москвичей успела устроить настоящий укреп в монастырских стенах, и теперь, встретя Алексия живого и невредимого, обрадовались донельзя.

Отсутствовали трое. Дементий Давыдыч с ночи пошел по знакомым вельможам выяснять, что к чему, и еще не ворочался. Не было Агафона, и Станька как отбыл, так и пропал невестимо. Посылать кого за ними было нелепо и некуда. Приходилось ждать.

Дементий Давыдыч со Станятой явились уже на полном свету оба вдруг, едва не столкнувшись в дверях нос к носу, хотя были в разных местах, даже в разных концах города.

Дементий отпил виноградного квасу, уселся, покрутил головой, оглянул весело:

— Ратитьце удумали? Не с кем вроде! — И, уставя кулаки в колени, рек: — Ну, так! Ты, Станька, видел с улицы, дак, почитай, ничего не ведашь, тебя опосле послушаем! Дело таково створилось: Иван Палеолог вошел в город. Приняли ево! До рати с Кантакузином не дошло у их и не дойдет. Нынче мирятся, слышь, Кантакузин своим приказал сдаться. Родичи все же, тесть... Теперь неясно, то ли он будет при Палеологе, то ли нет, а только все, почитай, от царя уже отшатнулись. Сам Дмитрий Кидонис — и тот! Да и народишко... Ты видал, Станька, сказывай!

Станькин, прерванный поначалу, рассказ был невесел. В городе открыто ликовали, и в возок Кантакузина, когда он утром с зятем выехал из ворот, швыряли камни, крича:

— Долой Кантакузина! Слава Палеологу!

— Озлобились на царя! — заключил отец Василий, свеся голову. — А что ж еговые ратные?

— Дак... дружина-то царская — испанцы с тур-

ками — у Золотых ворот стояла! Некак было и послать за нею!

— А Матвей? — спросил Семен Михалыч.

— Матвей в Андрианополе сейчас! — отозвался Дементий.

— Стало, будет еще война?

— Другой-то сын еговый, Мануил, в Мистре сидит?

— Поглядим, увидим! — заключил Дементий Давыдыч.

Агафанкел явился ближе к вечеру и, разом покончив со всеми слухами, один другого нелепее, которые доходили до монастыря, поведал, что Кантакузин сам, добровольно, сложил с себя власть и ныне будет постригаться в монахи.

Переправил Палеолога, оказывается, богатый генуэзец Франческо Гаттилусий, сам от себя плававший на двух галерах в поисках приключений по греческим морям. И, конечно, ежели бы не предательство и не общая нелюбовь к Кантакузину, Иоанн Палеолог добиться ничего не сумел бы.

Когда Влахернский замок был окружен, Кантакузин сам вышел к воинам в царской далматике, повелел опустить оружие и стоял недвижимо. Ринувшие было на него воины отступили, и тогда он произнес громко и спокойно:

— Я жду императора!

Лишь после этого Иоанн Пятый решился сам показаться из-за спин ратников и подойти к нему.

Начались переговоры, причем оробевший было Палеолог предложил тестю соправительство. Но когда горожане начали бросать камни в возок василевса, Кантакузин решительно отвергся власти и порешил уйти в монастырь. Причем Кантакузин тем же утром остановил могущее быть кровопролитие, приказав гвардии у Золотых ворот, которая могла и хотела вновь захватить город, сложить оружие, оскорбив тем своих верных латинян.

Уже спустя несколько дней, когда о пострижении Кантакузина под именем Иоасафа в Манганском монастыре стало известно всему городу, свидетели пересказали последние горькие слова супруги императора василиссы Ирины (она тоже постриглась под именем Евгении в монастыре святой Марфы), обращенные к мужу в тот скорбный последний день: «Если бы я некогда обороняла Дидимотику, как вы обороняли Константинополь, вот мы уже двенадцать лет спасали бы наши души!»

Кидонис в тот самый день, когда Алексий отсиживался в монастыре, говорил речь с амвона Святой Софии, обращаясь к народу:

— Проклято время наше, и неслыханны грабежи постоянно призываемых полчищ Омар-бея и Урхана! Наступило время божьего заступничества, ибо народ изнемог и теряет веру! Много христиан сделались споспешниками турок. Простонародье предпочитает сладкую жизнь магометан христианскому подвижничеству. Мы стали посмешищем проклятых, вопрошающих: «Где Бог ваш?» Пресвятая Богородица! Все мы теряем имения, деньги, тела наши и надежды. Ни на что не уповаем, кроме помощи от твоей, Богородица, руки!

Словом, стало ясно, что Дмитрий Кидонис, как и многие другие отшатнувшиеся от императора, сохранит и при новом государе место среди синклитиков.

Об отъезде на Русь теперь не могло быть и речи, да об этом и не заикался больше никто.

Иоанн Пятый, легко поладив и с Генуей, и с Венецией (он подарил тем и другим богатые греческие острова и надавал массу долговых обещаний), деятельно вступал в бразды правления. Молодому, добившемуся наконец власти императору, избавленному от опеки Кантакузина, все казалось легко и радостно, и он дарил, раздавал, жаловал, не понимая иногда толком, что дарит и что раздает и осталось ли еще что-нибудь в империи не розданное и не подаренное? Меж тем выкупать из плена Григория Паламу и он отнюдь не спешил, не желая, видимо, отяготительных для себя укоризн строгого наставника и патриота империи, коим был знаменитый епископ.

Ему пришлось, впрочем, после чувствительной военной неудачи, признать власть Мануила Кантакузина в Мистре и еще никак не удавалось справиться с Матвеем во Фракии.

Меж тем начались Брумалии, вновь пошли ряженые по городу, и про турок, захвативших Галлиполи, все разом дружно позабыли, будто бы Галлиполи и всегда было турецким владением. Даже и судьба Паламы, протомившегося в турецком плену более года, словно бы перестала интересовать константинопольских ромеев.

Словом, получилось, что вина Кантакузина была преимущественно в том, что он пытался повернуть колесо истории и не позволить империи разлагаться и гибнуть, распродавая саму себя направо и налево.

«Ромейская держава! — с горечью восклицал Никита Хониат. — Ты подобна блуднице: кому только не отдавалась!»

Это произошло, кажется, на пятый день после воцарения Палеолога. Алексий подымался от Фомаита к себе в келью и тут, на лестнице, нос к носу столкнулся с Романом, ранее всячески избегавшим Алексия.

Тверской соперник впервые шел, не опуская очей, не шел, а шествовал, и Алексий ждал, как ему казалось, бесконечно долго и передумал много чего, пока тот спускался по каменной лестнице ему встречь.

Они должны были поздороваться. Какие-то миги Алексий думал, что это произойдет и — кто кого должен приветствовать первый?

Но тут в нем поднялась от сердца горячая волна гнева: встречу шел не соперник, не один из возможных к избранию, ибо еще не сложилось на Руси того, чтобы дело велось само, заведенным побытом; встречу шел — какими бы талантами ни был он наделен неложно, коими бы знаниями ни блистал, — встречу шел человек, от коего, попади он на престол митрополии, зависела гибель Руси! Не спасение! Ибо он не мог заменить его, Алексия! Встречу шел даже не тверской ставленник, но Ольгердов! Ставленник

жестокого и умного врага, могущего, ежели это ему удается, погубить и дело русской церкви, и дело русской земли, предать ее в руки Литвы, а затем и в руки немецких католиков.

И Алексий ждал, каменея, и гнев стремительно разгорался в нем, сдерживаемый только волею и воспитанным годами подвижничества терпением.

Видимо, эту яростную волну, этот страшный душевный напор почуял и Роман (бывший как-никак не мужиковатым увальнем-медведем, что, ничего не чуя, валит напролом, а мужем смысленным, у коего и душа и сердце могли воспринять чужую духовную энергию), почуял и, неуверенно замедляя шаги, вдруг бледно и кривовато усмехнувши, свернул куда-то вбок, в бесконечные переходы секрета хартофилакта, и исчез.

Только тогда Алексию стало дурно. Он привалился к перилам. Перед глазами плыли разорванные темные круги. Предстояла новая и долгая пря, но он знал теперь: в этой борьбе — победит!

Началась бесконечная борьба взяток. Роман, как стало известно, послал в Тверь, требуя себе с тамошних духовных серебра на поставление. Алексий, вскипев, послал в Тверь с тем же требованием. Тверской летописец позже скорбно заносил в харатьи, что была истома всему духовному чину, ибо тверичи из осторожности послали серебро и тому и другому.

В эти трудные месяцы невольно нож в спину Алексию вонзил Филофей Коккин, собравшийся уходить с патриаршей кафедры. Алексий пытался его уговорить, отговорить... Глядя в потерянное лицо Филофея, на котором сейчас резче обозначились еврейские черты, в его тоскующие глаза, Алексий глухо негодовал. Сам он никогда не ушел бы со своего стола так просто, без всякой борьбы!

Но Филофей Коккин тоже был ромеем закатной поры. Он не умел драться, а мог только понимать и сочувствовать. То, что смог, он содеял для Алексия. Выстаивать на брани предстояло самим русичам.

Уход Филофея очень и очень осложнял дело. При новом патриархе могли быть пересмотрены и отменены все решения Коккина. Русь спасало то, что у нового василевса, Иоанна Пятого, средств было еще меньше, чем у Кантакузина. И Дементий Давыдыч, превзойдя себя — он два месяца подряд почти не спал, кое-как ел, но зато сумел наладить приятельства и знакомства решительно со всем новым окружением Иоанна Палеолога, — добился наконец достаточно вразумительных обещаний по известному торговому правилу: ты мне, а я тебе!

Русское серебро, полученное Алексием в течение апреля, мая и июня, как раз и «пришло по пригожеству». (Был получен тверской выход, затем владимирский, да Иван Иваныч, воротясь из Орды, тоже подослал изрядную толику московского запаса, вкупе со слезным молением: поскорее воротить в Русь!)

Упрямством, серебром и совокупными усилиями русичей были утверждены и подтверждены наконец все грамоты, все прежние решения патриархии, и стало мочно собираться домой.

В конце июля, урядив дела, московиты отбывали на родину.

Алексий знал, что сделает это, а ежели поступит иначе, то себе не простит.

В один из последних дней поздно вечером он взял страннический посох и, никого не беря с собою, отправился в Манганы, чтобы проститься с Кантакузином.

— Старец не принимает! — сказали ему в дверях.

— Он должен меня принять, — твердо возразил Алексий. — Скажите, что пришел русич, монах. Он поймет!

Ждать пришлось долго, около часа. Наконец Алексия провели узким каменным коридором и впустили в кирпичную келью, скудно освещенную и еще скуднее обставленную.

Огромный старик в монашеском одеянии медленно разогнул сутулую спину и оборотил к Алексию суровый лик с остраненным взором отшельника.

Кантакузина не было. Перед ним сидел старец Иоасаф, и даже в чертах этого лица с трудом угадывалась схожесть с грозным повелителем ромеев.

— Прости, брат! — тихо сказал он, указав рукою на скамью, и только в мановении тяжелой царственной длани промелькнуло прежнее, промелькнуло и скрылось, чтобы уже не возникнуть вновь.

Они сидели молча, глядя в глаза друг другу. Беседа не завязывалась. Император, ставший монахом, и монах, готовящий себя к государственному служению. Все было в прошлом у одного и в будущем у другого, и потому почти не находилось взаимных слов.

Наконец Алексий встал и молча распростерся ниц перед Иоасафом. Тот так же молча поднял его и благословил. Показалось мгновением, что они так и расстанутся, ничего не сказав друг другу. Но тут Кантакузин, уже стоя, отверз уста и вымолвил, глядя куда-то вдаль, мимо Алексия:

— Ничего не можно и не должно вершить внешнего, пока люди не переменились внутри себя. Все было заблуждением и суетою! — Голос его слегка отвердел. — Среди нас всех единственно правым был старец Григорий Палама! И я оставленные мне Господом годы употреблю на проповедание его слов! — Он помолчал, словно хотя сказать еще что-то, но только лишь повторил: — Прости, брат! — и осенил Алексия крестным знамением.

Накануне отъезда Алексий вновь вспоминал вырванное им у греков соборное определение: «Хотя подобное дело совершенно необычно и небезопасно для церкви, однако ради достоверных и похвальных свидетельств о нем и ради добродетельной и богоугодной его жизни мы судили этому быть, но относительно одного только кир Алексия, и отнюдь не позволяем и не допускаем, чтобы на будущее время сделался архиереем русским кто-нибудь другой, устремившийся оттуда. Токмо из сего богопрославленного, боговозвеличенного и благоденствующего Константи-

нополя должны быть поставляемы митрополиты русские».

И еще они обязали его каждые два года являться в Константинополь с отчетами. Не беда! Он все-таки победил!

Уже готовились к отплытию, таскали сундуки, ящики, тюки и укладки на корабль.

Бремя власти, взваленное им на себя!

И утлое судно, вместившее все эти дорогие решения.

Грамоты Новугороду, приговор о переводе митрополии во Владимир, соборные акты... Все же как много он успел и сумел содеять!

И утверждение на престоле Феогностовом, и законченный перевод Четвероевангелия... Он опять прикрыл вежды, повторяя начальные слова Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово... Без него ничтоже бысть, еже бысть». Бог — Слово. Логос. Волевой призыв к деянию. Незримые энергии, пронизающие и творящие мир. Творящий дух в ветхой земной плоти. Как мал человек и как велик Господь, осиявший его светом своим! Коликого мужества требуешь ты, великий, от меня, малого и грешного, дабы исполнить волю твою!

Грек Агафанкел машет ему с берега, он намерен приехать позже, с Георгием Пердиккой, которому надлежит привезти Сергию грамоту Филофея об устроении общего жития. И с тем Русь получит наконец в своих монастырях опору духовного единства, из языка станет превращаться в государство. Да не пошли Господи через века и века слепительной славы России, не пошли и нам разброда и шатания днешних византийских греков!

Судно отчаливает. Подымают паруса. Станята хлопочет у снастей. Низкие тучи рваными лохмами бегут с Пропонтиды. Судно кренит, почти черпая бортом. Со звоном враз натянувшихся, точно струны псалтыри, снастей полногрудо наполнились ветром паруса. Вновь под ними колеблемая зыбкая хлябь, и отходит, отваливает, отплывает, в садах и башнях, тьмочисленный и прекрасный, становящийся все более прекрасным в отдалении, священный город, близящий к закату своему.

IV

БЕЗ ХОЗЯИНА ДОМ — СИРОТА

Величие истинно великого мужа современники познают после его смерти. Только когда Симеона Гордого не стало, восчувствовалось, чем он был, что держал волею своею и что значил для Руси Московской и для всей Русской земли.

Вновь подняли головы укрощенные было соседи; суздальский князь устремил в Орду добывать великокняжеский ярлык под Иваном; в боярских которах враз ослабла сила Москвы; Ольгерд начал свой победоносный поход на земли Северских княжеств; и все, казалось, начало рушить внутри и окрест, обращая в ничто восстающую было Московию. За малым дело не дошло до того, что и вовсе по-иному стала бы строиться судьба великой страны!

В Новгороде Онцифор Лукин ударил кулаком в стол:

— Довольно, бояры! Вси передрались, вси раскоторовали уже! Уличя с уличей и те немирны суть! Сказано: обча теперь будет власть, ото всех концей! При владыке нашем, новогорочком! И быть посему! Не про то надобно баять, господа, кого нынце из нас в совет посадниць всадить, безлепо спорим и не о том совсим! Князя Семена нету, дак — не упустите Руси! Пора на Волгу посылать наших молодчих громить бесермен! Пора строить новую Русь!

— Резов ты, Онцифор! — хмуровато отвергли за столом. — Переже Новгород Великий надлежит путем устроити!

— В Сарай Смена Судокова послали с дарами, цего ж больши? Суздальский князь тоже... Осильнеет да как почнет мытное да лодейное в Нижнем с правого и виноватого брать...

— Всею пястью! — хохотнули шуткуя, не взаболь.

Поддержать перед ханом князя Константина Василича в ущерб Москве решали и решили всем Новым Городом.

А все же зацепил Онцифор. Смолкли. Задумались. И верно ведь! Князя Симеона уже и нет!

В просторной тесовой палате владычного двора, окаймленной опушенными лавками, с малыми слюдяными оконцами в рисунчатых свинцовых переплетах, украшенных вставками синего и красного стекла, где высят расписные лари с грамотами и казною дома святой Софии и строго глядят со стен огромные, в три четверти роста, иконы новгородского, древлекиевского и византийского письма, за дубовым неохватным столом, накрытым красною, с золотыми парчовыми цветами, шелковою узорною скатертью и уставленным драгоценными сосудами из серебра, золота, расписного капа, веницейского хрусталя и поливной восточной глазури с многоразличными квасами, легким медом и красным фряжским вином, сидят бояре, собранные со всех концов великого города. Сегодня обсуждают «сами о себе», хоть и в присутствии архиепископа, кому быть в измышленном Онцифором Лукиным совете господ — новом органе управления, впервые и навсегда отныне долженствующем свести воедино противоборствующие до сих пор партии кончанской знати, поскольку каждый из них будет посадник отныне, каждый будет иметь печать и власть решать кончанские дела, и уже из своей среды, боярской, посадничьей, будут они выбирать сменяемого ежегодно председателя — степенного посадника.

Совет, по мысли его создателей, должен прекратить навсегда кончанские споры и грозные всплески мятежей меньших, которые, начав с отдельных, неугодных вечу бояр, кончали иногда погромом всей Прусской улицы.

Знает ли Онцифор Лукин, предлагая новое устроение, знает ли он, что абсолютный порядок всегда есть начало конца? Что вятшие отныне будут все более наступать на интересы меньших и в тех ослабнет воля к борьбе, к защите города, и — чем окончит тогда вечевой строй северной республики? Что пока

есть бурление сил — есть жизнь, и пусть кипение силы нарушает все время «грани закона», но порядок без силы — гибель! Знает ли?! Но знает и то, что рознь и свары тоже ведут к неизбежной гибели!

Порядок в стране (городе, коллективе, семье, наконец) появляется в двух случаях — и это неизбежность всей мировой истории: на подъеме, когда молодую нацию (город, семью) объединяет осознанная дисциплина, чувство плеча, чувство общего долга и порядок устанавливается как бы общей волею, направляя все силы народа к одной цели; и на упадке, на спаде, когда уже кончается, исшаивает, никнет кипение сил, когда порядок исходит сверху, от велений власти или обычая, и принимается не от осознания целей и общей нужды, а от безразличия, привычки или слабости перед властью. Обманчив, ох как обманчив порядок такой!

В хоромах, в просторных палатах, в кабинетах, устланных коврами, заседает, правит, велит и судит власть. А там, внизу, вдалеке, в деревне, в назьме где-то, — изгнивает оскудевший земледелец и пока еще «сполняет», что «велят» ему... до часу, до последней трудноты. Но в час грозный вдруг оказывает он робость на рати и некому становит защищать дивное с виду устроение, и все рушит в ничто: и хоромы, и палаты, и канцелярии, и кабинеты министерств, или «секреты», как их называли в Византии...

Управлять победоносно можно только сильными, «управлять, опираясь на сопротивление». Это трудно! Легче согнуть, сломать и — остаться без защиты в грозный, неотменимый и непредсказуемый час совокупной грядущей беды.

Знал ли, догадывал ли Онцифор за сто тридцать лет про роковую Шелонь?

Но и отсутствие власти во времена упадка народного духа, в пору одряхления народов, тоже ведет к роковому разномысленному толчению, трагической борьбе друг с другом перед лицом общего врага. Ведал ли, догадывал ли Онцифор о грядущих временах Ивана Третьего?

А те, кто сидят ныне за столом, знали ли они, ведали?

Верно, не ведали, и не блазнило им, что будет с городом через полтора столетия!

Да и собственные силы, воля, власть не давали им ума поглядеть подалее. В этих лицах, чаще жестоких и властных, упрямых и умных, чем светлых и примиренных с судьбою, в этих насупленных взорах, в этих жилистых дланях, в твердоте плеч хозяев града, землевладельцев и воинов, было много заносчивой воли и не было дальнего тайновидения, свойственного скорее схимникам, отрекшимся мира сего, чем людям дела и власти, каковые собрались здесь.

Жарко горят в серебряных свечниках свечи чистого, ярого, первосортного воску, разоставленные без меры и счету по всему покою, и желтые столбы света, вырываясь из окон, ложатся искристыми коврами на морозный снег. Бояре сидят в соболях и сукне иноземном, в бархате-скарлате, рукава в тончайшем полотне и хрустком шелке выглядывают в прорези ферязей, стянутые парчовыми и жемчужными наручами. У иных золотые цепи на плечах — изодели лучшее ради великого дня. В свете свечей сверкают перстни — яхонты и лалы мечут огнистые лучи. Во главе стола — владыка Моисей в фиолетовой мантии, на которой горят украшенный рубинами золотой крест и обложенная жемчугами панагия, в клобуке с воскрылиями, тоже украшенном надо лбом византийскою драгоценной перегородчатою эмалью. Маститый старец, некогда сведенный с престола Софии и замененный Каликою, ныне дождался наконец часа своего. Он высушен временем и сединою повит, но во взоре владыки, когда Моисей подымает глаза, столько собранной властной силы, скованной его невольным двадцатилетним заключением в Сковородском монастыре и тем паче явившей себя теперь, что не всякий может и вынести владычного взгляда!

Только что пришло известие, что Моисею из Царьграда везут долгожданные крещатые ризы (полученные покойным Каликою и потому, и непременно, надобные и ему, Моисею, в свой черед!), везут долгожданную грамоту царя Ивана Кантакузина и патриарха Филофея Коккина и золотую печать. О тех грамотах, что вытребовал Алексий, паки подчиняющих новгородскую архиепископию владимирскому митрополиту, Моисей еще не ведает. И потому, удоволенный в гордом самолюбии своем, владыка Моисей милостиво и спокойно слушает Онцифора, не поминая в душе давней дружбы его семьи с Василием Каликой.

Мнилось ли кому из них, стойно Онцифору, про второй Рим, налаженное государство с выборною властью, устроенными законами и армией, распространившее себя на всю страну, оттеснив и вытеснив собою княжескую власть потомственных володетелей? Быть может, где дома, в разговорах, за книгою... В живой жизни было не до того. А потом — и Рим не устоял, не сохранил свою демократию, пал жертвою огромных, захваченных его армиями областей, вынужден был согласиться на абсолютную власть цезарей, из демократии обратился в монархию... Не такие уж они были дураки, «вятшие» Великого Новгорода, читать умели, и читали немало и с толком.

А нынче и вовсе было не до того. Близкое, днешнее тревожило и лезло в очи. А потому и вопросы были к Онцифору о ближнем, о том, к чему прилегла злоба дня. Кого выбирать? Кто будет в новом совете?

— Никого не нать из стариков! — говорил Онцифор. — У всих у нас кровь на руках! У всих зазноба немалая к братьи своей! Выбирать надобно молодых! Вот како постановили от концей по сколь бояринов, тако и положить, а старых не нать никоторого!

— Окроме тоби, что ль? — с тяжелым укором уронил Рядята.

— Степенным, степенным кого?! — возникли сразу несколько голосов.

— Я и сам отрекаюсь степенного посадницьства! — возразил Онцифор. — Како сказал, тако и бу-

ди! Ни на степень, ни в посадники кончаньски — ни! Пусчай молоды деют! А молодым — вот мой сказ: Новгород Великий у вас отныне в одном кулаке, дак надобно шире ноне глядеть! Одолеет суздальской князь в Орды — ваша будет воля! Смен Судоков пишет: де хан ни тому ни иному стола пока не дает, а — шлите дары! Наш будет волжский путь, наш кафинский, дак вот она — рукою подать — и великая Русь! А Иван Иваныч пущай с Ольгирдом да Рязанью которует! Сядут суздальские князи на владимирской стол, Москва и вовсе погинет!

— Твери не забудь, Онцифор! — остудили опять за столом.

— В Твери нестроенья ныне! — отмахнул Онцифор рукою. — Князи промеж собою доселе не сговорят! (О том, что чума поправит нежданно дела тверского дома, не ведал Онцифор, как и никто другой.) Тверь нам теперь не страшна!

— Степенным коли не тебя, то кого? — вновь вопросили настойчивые голоса. — И с тысяцким како повершим?

Умные глаза Онцифора сошлись в лукавом прищуре:

— Олександра, Дворянинцева брата! — предложил он.

И — переглянули и утвердительно склонили головы. Никто, как он, брат убитого на вече Остафея, годился ныне на эту степень, постепенно забираемую великими боярами в свои цепкие руки.

— А степенным на срок предлагаю... — Онцифор значительно перемолчал. — Обакуна Твердиславича!

Смолкли бояре. Задумались. Умен Онцифор, ох и умен! Всем сумел угодить! Задвигались, заговорили разом. И вроде не стало спора, руки потянулись к кувшинам и чарам, ожили бархат и парча. Улыбки и смех прошли волною по грозно настороженной еще миг назад палате. И как-то стало мочно понять, допустить, принять Онцифорово: «Пущай молодых! Пущай они, в сам дели, деют!»

— Мы рази заможем? — толковал Онцифор, уже по-приятельски хлопая по плечу соседа, плотницкого боярина, держа чару в руках. — Сообча-то? Да ни в жисть! У меня батько в земли! Старых свар да котор — невпроворот!

И сосед-соперник согласно кивал, соглашаясь:

— Молоды пущай! Топерице им! Мы счо?! Мы свое сделали...

— Не жаль власти той? — спрашивал Онцифора из-за стола с усмешкою знакомый прусский боярин.

— Ни! — весело отвечал Онцифор, усмехаясь в ответ. — Все в делах да трудах, притомился, тово! Землю обиходить нать!

— Народишко иного ждал от тебя! — подзудил издали Рядята.

И Онцифор опять ответил лукаво, будто и не он водил рати, не он на Жабьем поле громил шведов и стоял во главе грозного народного мятежа:

— А ты хотел, чтобы шильники, как допрежь того, боярски хоромы жгли да грабили?! Народишко надоть поцясти за Камень, на Югру водить! Оттоле с прибыком воротят вси — потишеют враз. Свое добро, оно тишины требоват, спокою!

Молодых посадников в грядущий совет выбирали почти безо спору...

На улице Онцифора обняла морозная новгородская ночь. Гурьбою, теснясь и переговаривая, шли, провожая своего воеводу, ремесленники и кмети, сожидавшие Онцифора на улице.

— Ну, как тамо, цьто порешили-то? — спрашивали его заботные, строгие, тревожные голоса. — Ты-то усидишь ле? Тоби верим, никому иному!

— Кабыть со советом ентим черному народу хуже не стало в Новом Городи! Тысячкое забрали, поцитай!

— Не предал ты нас, Онцифор Лукин?

— Предал, детки! — отвечал он, глядя мимо лиц в далекий сумрак ночи. — Предал, а только друг на дружку с дрекольем ходить — и вси погинем той поры! А сам ухожу! Ухожу, други! Не буду больше с има!

Молчавший всю дорогу Милошка Круглыш тут неожиданно подал голос:

— Помнишь, воевода, Станяту, Станьку-монаха? В монастырь есчо подалсе потом?

— Рыбака? — уточнил Онцифор.

— Ну! Видели его наши в Царьгороди, с владыкой Олексием!

— Вишь! Почто тамотко? — невесело усмехнувши, возразил Онцифор. И не сказал, а подумалось всем само: бегут потихоньку, начинают бежать из города!

— Много нам дали ратных на шведов? — вопросил Онцифор, остановясь, и, бодливо склонив голову, глянул на Круглыша. Тот утупил очи, промычал в ответ, ответить нечего было.

— То-то! — присовокупил Онцифор Лукин, обрывая ненужный разговор.

Трещали факелы в руках холопов. Спорили, ярились, укоряли и жалились мужики. Скрипел под ногами снег, и черный, так и не застывший посередине Волхов дымился морозным паром в темноте. Дремали полувытащенные лодьи, вмерзшие в лед обережья.

И когда, спустившись по Пискуплей, он речными воротами вышел к берегу, чтобы оттоль подняться уже в Неревский конец и по Великой улице дойти к себе на Кузьмодемьяню, и когда стал прощаться с вольницею, отваливавшею на Великий мост (кто и целоваться полез напоследях), и стоя слушал хруст удаляющихся шагов и прощальные оклики, а в лицо повеяло духом морозной воды, и кровли, и вышки, и маковицы Торговой стороны черным обводом, лишь кое-где разбавленным желтизною слюдяных окон, перетекли в очи — сердце сжалось и заскорбело на миг, словно в минуту разлуки, словно бы навсегда оставлял он все это: и громозжение Торга, темного и немого в сей час, и восстающие на гребне Славенского холма величавые соборы, сейчас снизу, от воды, сановитыми изломами кровель и черными куполами волнисто изузорившие темные, в звездной

пыли, холодные небеса. Будто уезжал, будто прощался навек! И Великий мост, низко осевший в воду, и там, вдали, едва видный Антониев монастырь... Хотя и никуда не уезжал и не уходил, а напротив, навовсе оставался в своем городе беспокойный боярин новогородский Онцифор Лукин — Катон без сената и Цезарь без армии, ежели искать ему знатных соотчичей в истории римской (известной русичам, как и греческая, по многочисленным пересказам византийских историков).

Был ли он прав? Спросим себя теперь и — уж повторим возникшее наше сравнение!

Что мог бы сделать в Риме Катон, победи он Цезаря? Неодолимо события римской истории шли к установлению императорской власти, и личная честность Катона уже не перевесила бы рокового хода времени, рушившего римскую демократию.

Что мог сделать Цезарь, не имей он армии из ветеранов, которые служили пожизненно и верили уже не в безликое государство, а в своего вождя и могли идти на Рим так же спокойно, как на какие-нибудь города Аквитании или землю бельгов?

Онцифор Лукин был бы, может быть, больше и того и другого, вместе взятых. Ему верил, за ним шел народ, он был одним из самых дальновидных политиков своего времени, и он был к тому же блестящим полководцем.

Но... народ был разорван на кончанские партии, в смутах тянул к боярам своего конца, и противустать вместе с народом всему боярству было невозможно ни тогда, ни много спустя. Не сразу, не вдруг, но дело и тут, в Новгороде, неодолимо шло к поискам своего Цезаря. Но мог ли Онцифор, не имея преданной (и противопоставленной народу!) армии, стать Цезарем? И мог ли им стать хотя кто в Новгороде Великом? Не мог ни он и никто другой.

Величие великому человеку придают те силы, которые оказываются у него в руках. Александр Македонский без греческой армии, подготовленной его отцом, не дошел бы даже до Галиса. Сумасшедшая храбрость и воинские таланты одного бесполезны, когда за ним нет множества. Онцифору не дали развернуть его полководческий дар, ни разу не вручив ему большой армии.

Да, историю творят люди. Но творят соборно, все вместе, и этого тоже не надо забывать! (И ответственность круговая на нас: отсвет величия и клеймо позора от дел совокупных ложатся на каждого в отдельности, будь он героем среди трусов или подлецом среди героев — все равно. И как нам ни хочется, разделяя совокупные успехи, избегать наказания за совокупное, соборное, нами всеми сотворенное зло, — не удается никак! И ответственность падает на всех, даже еще не рожденных, по слову сказанному: грехи отцов падут на детей.)

И величие Онцифора Лукина сказалось в том, в чем могло сказаться оно в пору свою и в тех условиях времени. В том, что он сам, своею волею отказался от величия своего. Отрекся, ушел, содеял и поставил точку, кипучую энергию свою направив в хозяйственную прозу жизни, посвятив остаток лет и прок сил, далеко еще не растраченных и немалых, тому, что уже не история, но жизнь, по которой история расцвечивает узоры свои: хлебу и сену, умолоту ржи, сыроварням и копчению рыбы, выделке шкур и покупке рабочих лошадей. И этой жизни его мы уже не знаем совсем, о ней молчат летописи Господина Великого Новгорода, и ежели б не десяток обрывков берестяных писем, посвященных хозяйственной прозе жизни и подписанных самим Онцифором, так никогда и не узнали бы мы, куда ушел, чем занялся этот великий человек, ставший рачительным хозяином, въедливым ворчуном, любителем пшенной каши, строгим отцом, воспитавшим дельного сына Юрия, выдающегося дипломата Новгородской республики, а значит, все-таки утешенным в старости своей, как всегда бывает утешен родитель, зрящий успехи сына, наконец — стареющим землевладельцем, над которым в свой, не отменяемый ни для кого, черед без всплеска сомкнулись волны быстробегущего времени.

Константин Васильевич Суздальский был истинным князем, великим далеко не по одному лишь высокому званию своему. Высок, сух, поджар, породист, деловит; он умел собирать воедино братьев-князей в борьбе с Москвою, бояр держал в строгости, был тверд и даже жесток, когда этого требовали заботы власти, и вместе с тем, заселяя край, умел примениться к нуждам насельников, и потому люди шли к нему охотно и его любили.

Он обладал к тому не частым среди сильных мира сего умением видеть грядущее. В путанице днешних, сиюминутных забот и дел прозревать неясные зовы далеких веков. Именно он, Константин Васильич Суздальский, начал заселять Поволжье, создавая здесь, в глухих мордовских лесах, основу будущего промышленного центра Великой России. Ему принадлежит честь превращения Волги в великую русскую реку. И делал он это тогда, когда испуганная и разоряемая Русь устремлялась к северу, в глухие дебри Заволжья, на Сухону, Вагу и Двину. Когда Русь отступала, он первым означил и повел наступление ее, смело перенеся столицу Суздальского княжества в Нижний Новгород, на край земли, край, обращенный к Орде, к дикой степи, к землям чужим, мордовским и все еще едва знаемым...

...Вот он стоит — высокий, уже седой! Хватило сил, ума, настойчивой деловитости, не хватило малого — времени жизни! В 1354 году ему уже было семьдесят лет... Стоит, запахнув долгую ферязь, в бобровой шапке, чуть выставив вперед короткую седую бороду. Князь дальнозорок, и ему хорошо видны не только рубленые сосновые городни крепости, сбегающей вниз, к причалам, но и лабазы, и лавки, и лодьи, насады, учаны и паузки, облепившие берег, и дальние, за Волгою, луга и леса, красные боры, волнисто уходящие в еще не покоренные дали.

За ним высит над кручею недавно свершенный храм Боголепного Преображения, куда он перенес из Суздаля древний, греческого письма, образ Спаса — великую святыню своей земли. И, подобно лавре Ки-

евской, духовный кладезь также открыт в его новой столице! Невдали от города, в пещерах, живет и проповедует, подобно великому Феодосию, и уже отстраивает монастырские хоромы монах Дионисий, пламенный проповедник, зовущий князя к открытой борьбе с Ордой, о чем, к сожалению, знают уже и в Сарае! Но как скрыть до времени святого мужа, к которому идут не сотни уже, а тысячи? И время то, время подвига ратного, еще не подошло, не наступило! По дороге и на дороге странно неодолимая Москва, неясный Ольгерд (пока, противу Москвы, союзник, а далее — кто знает?) и Тверь, на время — о, только на время! — вышедшая из тяжкого спора о вышней власти, и Новгород Великий, что стоит в начале пути, конец которого означен *его* Новгородом, Новгородом Низовским, Нижним. Новгород Великий, о который ломалась не раз и не два тверская сила и который теперь, к великой удаче суздальской, дружен ему и о нем хлопочет в Орде! И митрополия, которая, ежели Алексия одолеет Роман, тоже должна откачнуть от Москвы...

Впрочем — думал ли о том суздальский князь? Был ли он против Алексия? Но прежде спросим себя: кто был тот самый Роман, соперник Алексия, едва не перемогший его в споре о митрополичьем престоле?

Греческий историк Грегора сообщает, что Роман «родственник по жене свояка королева» (то есть Ольгердова). Но свояком Ольгерда, кроме Симеона Гордого, был тверской (Микулинский) князь Михаил Александрович, на сестре которого, Ульяне, был женат вторым браком Ольгерд. Связь Романа с тверским княжеским домом и вообще с Тверью проглядывает очень ясно хотя бы в том, что Роман в споре с Алексием посылал за деньгами в Тверь, и тверское духовенство ему платило. (Что и явилось причиной последующего нелюбия Алексия к тверскому владыке Федору.)

Но жена Михаила Александровича Евдокия — дочь суздальского князя Константина Васильевича. Таким образом, ежели Роман — родич Михаила Александровича по жене, то он родственник, ни более ни менее, суздальского княжеского дома! А с Тверью его породнила, возможно, последующая монашеская стезя. (По каким-то причинам все-таки именно Тверь помогла Роману деньгами!)

Спросим далее. Ну, а кто же тогда этот Роман? Сведения о князьях суздальских у нас чрезвычайно скудны. И мы не ведаем, например, было ли мужское потомство у старшего брата Константина — Александра Васильевича. Роман мог быть, скажем, неизвестным его потомком или даже неизвестным сыном Анны, первой жены самого князя Константина Васильевича, каковая была гречанкой, дочерью греческого манкупского князя Василия. Все прочие дети Константина — от второй жены и родились достаточно поздно: младшие, когда отцу уже подходило к пятидесяти годам.

Однако представить, что старший сын суздальского князя ушел в монахи и об этом не осталось никаких следов в летописях или житиях, тоже трудно. (Но, во всяком случае, скажем и то, что Роман был не молод — он умер вскоре, по-видимому в преклонных годах, — и, безусловно, очень образован.)

Можно допустить еще одно, что Роман был родичем (братом, например) первой жены Константина Васильевича, приехал с нею на Русь и тут, на Руси, ушел в монастырь. Возможно, сделал это не сразу, а после смерти сестры, и ушел в тверской монастырь, а не в суздальский, по каким-то неясным для нас причинам... И вот откуда отличное (природное!) знание греческого языка и византийская образованность. И вот почему тверское духовенство поддерживает Романа и поддерживает Ольгерд, всяческий родственник и суздальскому и тверскому княжеским домам: на сестре Михаила Александровича женат сам, а дочь отдал за сына Константина Васильевича Бориса, и все эти браки, естественно, не простые, а династические, с дальним прицелом, с попыткою сколотить союз противу Симеона Гордого, единственно препятствовавшего Ольгерду начать широкое наступление на Северскую Русь.

Все это, увы, предположения. И остановиться на одном из них, избрать какой-либо вариант я не могу и даже не имею права. А вдруг в греческих, к стыду нашему, не переведенных до сих пор хрониках и переписке того времени обнаружится точное указание на происхождение и родственные связи Романа?!

Во всяком случае, Роман, без сомнения, был ставленником не одной Твери и не одного Суздаля и даже не одного Ольгерда — он был кандидатом от всех трех совокупных сил, противостоящих Москве, и был реальною и грозной заменою на митрополичьем престоле московского ставленника Алексия.

Несколько противоречит высказанным предположениям лишь то, что никаких зримых следов поддержки Романа суздальским княжеским домом летопись нам не оставила. Но... князь Константин Васильевич слишком скоро умер, умер вскоре и сам Роман (ставший решительным сторонником Ольгерда), и грозный союз, направленный противу Москвы, распался, не состоявшись, раздробясь в мелких разновременных действиях бывших союзников. И потому летопись очень могла и не отметить забот князя Константина Васильевича о кандидатуре Романа... Да и о том ли одном молчат анналы прошедших веков?!

Понимал ли, однако, суздальский князь (ежели все предположенное — правда), что кандидатурою Романа воспользуется Ольгерд — как то и произошло вскоре, — дабы разорвать митрополию и ослабить Русь?

Но мог понимать и то, что Ольгерд — язычник и не захочет крестить литвинов.

Князь, который стоит сейчас на урыве высокого волжского берега, уже послал к Джанибеку своих бояр. Он сам уже был в Орде и теперь явился лишь на миг — подторопить союзников, взбодрить ростовского родича (на его дочери Анне женат сын Константина Васильевича Дмитрий). Он, возможно, уже и не стоит на круче волжского берега, а находится

там, в Сарае, в степях, в ставке ханской... А это — лишь его тень, образ, его ночное видение...

Какие дали! Какой простор на великой реке! Что можно помыслить здесь, перед этой текучею бездной воды и аэра? Что может помыслить муж, решивший (в старости!) перенести сюда стол и дом, основать новую родину в этом спорном, окраинном, торговом и молодом городе? Видит ли он купеческие дома на кручах, каменные лабазы, затейливую белокаменную резьбу? Палаты толстосумов, гоняющих караваны по суше и воде от Кяхты и до Лондона? Зрит ли он первые, неведомые, непредставимые даже пароходы на Волге, грохот промышленных строек, гарь заводских труб и стонущий вой железных машин? Стальные мосты через эту громаду воды, кирпичный и каменный город, переплеснувший в Заволжье? И красный, торжественный, кирпичный Кремль за спиною, ставший уже только памятником прошлых веков?

Князь не ведает того. Но тогда что же толкнуло его повести, начать, означить этот путь вперед, туда, где за гранью рек, гор, лесов и степей лежит далекая Синяя Орда и за нею опять леса, горы и степи и великие реки, текущие все поперек пути, который (все равно!) пройдут русичи вплоть до «последнего моря» там, на далеком Востоке огромной, еще не завоеванной, не заселенной, еще даже и не означенной страны?!

Своя правда была у каждого из тех, кто, не мельчась в злобе «нынешнего», создавал в XIV столетии от рождества Христова основу Великой России. И князь Константин достоин бронзы, вот так, как стоит он сейчас, на исходе лет и жизни своей, над обрывом, над кручею — высокий, сухой, величавый, в долгой сряде своей и круглой княжеской шапке на долгих, по обычаю XIV столетия, волосах, глядя вдаль, в еще не покоренную, чужую, ордынскую степь.

С князем Константином Васильевичем Симеону Гордому справляться было труднее всего. Ему одному уступил упорный сын Калиты: уступил Нижний, отступился бояр, заложившихся было за него, Симеона, и едва не уступил, едва не потерял само великое княжение владимирское.

Но вот Симеон умер. И старый семидесятилетний князь нашел в себе силы на склоне лет опять устремиться в Орду.

Поехал, чтобы вновь терпеть режущий ветер степной ордынской зимы, дарить дары и сорить серебром, одолевая теперь уже не Симеона и не слабого, заранее согласного на все Ивана Красного, — одолевая тень Симеона, его память в Джанибековой орде, добытое и нажитое здесь упорным московским князем...

И ведь право — древнее, лествичное, да и родовое право Ярославичей было, почитай, за него: московским Ивановичам князь Константин доводился хоть и не родным, а дядей! Он был старшим в роде теперь! (И суздальский летописец, напуская туману в давние семейные счеты Ярославичей, тянул родословие князя Константина теперь уже не от Андрея, а от Александра Ярославича Невского, от старшего, дабы и тем унизить ненавистную Москву!)

В Орде, трясясь от степной застуды, баней и травами прогоняя хворь, все еще верил старый князь, что на сей раз одолеет московского соперника. Верил и Смен Судоков, посол Господина Великого Новгорода, верили многие, и верили дельно, полагая, что без князя Симеона не стоять Москве. И беки были подкуплены, и серебра роздано несчетно, и Константин Васильевич, вставший наконец на ноги, еще более худой и высокий, совсем уже иконописный ликом, весь серебряный, но по-прежнему прямой и упрямый духом и статью, начал опять объезжать и обходить ордынских вельмож...

И он бы передолил. Хватало всего: и серебра, и воли, и помочи новогородской! Не хватило одного — любви. Джанибек решил и поступил так, как не мог и не должен был поступить даже в интересах самой Золотой Орды. Но — как подсказала ему тень, память, загробная воля московского князя Симеона Ивановича Гордого.

Они сидят одни в покое княжеском. За бревенчатою стеною бушует мерзкий колючий и сырой ветер, гонит сор по долгим улицам Сарая, ерошит гривы лошадям, сбивая в кучи мерзнущих баранов в загонах. Татарская охрана и та попряталась, кутая носы в курчавый овчинный мех просторных тулупов, прижимая к себе древки обындевевших копий. Узкие, ничего не выражающие глаза с неохотой взглядывают в ночную тьму.

Итиль дышит, как большой дремлющий зверь, окутанный белым паром, под ненадежною коркой льда стремительно пронося черную страшную воду и тупорылые, сонные тела больших рыб. Редко, с хриплыми оттяжками, взлаивают сторожевые псы.

Только что вышли из покоя, теснясь и переговаривая, подручные князья и думные нижегородские бояре. Речь велась долгая и нудная все о том же — о подкупах, взятках, грамотах и дарах.

Хозяин, Константин Васильевич Суздальский, задержал, на правах старшего родича, Константина Васильевича Ростовского, и теперь они сидят вдвоем, неспешно попивая: ростовский князь — подогретый белый «боярский» мед, хозяин — заваренный крутым кипятком липовый цвет с сушеной малиной и несколькими каплями красного греческого вина.

Константин Васильевич по уходе соратников устроил с помочью постельничего высокое взголовье из подушек, кошмы и ордынского тулупа и теперь удобно полулежит, откинув породистую голову и утопив ее до висков в густой, завитой в тугие шелковистые кольца овчине. Длинное лицо князя кажется оттого еще более длинным, еще более изможденным и породистым, как у борзого хорта. Мелкие капельки испарины выступают на высоком челе, и он время от времени прикладывает к лицу вместо плата прохладный полотняный убрусец.

Константин Ростовский сидит перед ним на низкой раскладной скамеечке, слушает, хмуря чело, кивает согласно. Он теперь тоже не молод, когда-то молодой, красивый ростовский князь! Ему перевалило за сорок. Дома подрастает многочисленная семья, и

видеть, как ростовское серебро плывет и плывет в московские бездонные карманы, ему все более тяжко. Смерть князя Симеона разом развязала его нравственно, освободив от того невольного почтения и трепета, которые внушало ему всегда железное упорство московского шурина. И только одно пугает теперь князя Константина — здоровье суздальского свата, без которого ему совсем никогда уже не сладить с Москвой.

Он то взглядывает с заботною тревогой в лицо Константину Васильевичу, то опускает глаза и в эти мгновения вспоминает лицо жены Маши, сестры Симеоновой. (Как-то и тут Ивана Ивановича почти что не принимают в родню, хоть и ему Маша приходит родною сестрою!) Маша по смерти Симеона плакала. А теперь сама хлопочет, как бы добиться ослабы от Москвы.

Суздальский князь допил до конца дымящийся достокан с откидною крышкой. Поглядел на увернутый в стеганую одежку кувшин, отдумал, отставил достокан на низкий столик. Углы просторной, но низкой хоромины тонули в сумраке. В дымнике завывало протяжно и тонко. Ежели бы не дорогая божница да несколько узорно окованных и расписных ларей по стенам — были бы ордынские покои князя точь-в-точь похожи на избу зажиточного крестьянина где-нибудь на Кудьме или под Городцом.

С минуту он молчит, полуприкрыв глаза и слушая, как, укрытые овчиною, постепенно согреваются ноги. Выговаривает наконец:

— Видел сам сегодня наших соратников! Тут и поражения бойся, а победы — вдвойне. Вся сила Москвы — в нашей слабости!

Он поглядел на ростовчанина испытующе, опять помолчал. Молвил:

— У Нюши с Митей лад. В детях мы не обманулись с тобою!

Константин благодарно склоняет голову. Анна пошла замуж почти без приданого. Кроме родового имени мало что мог дать за дочерью ростовский князь.

Жалобно завывает под кровлею. Ветер колотится в ставни слюдяных окон. Незримые знобкие струи, прорываясь в щели, текут по покою. И кажет, что при жарко натопленных печах в палате холодно.

— Ты хорошо пашешь, Константин? — спрашивает вдруг суздальский князь у ростовского. — Сошник из борозды на обороте не вырывает у тя?

Ростовский князь нерешительно пожимает плечами. Шутит, что ли, суздальский сват? Или иносказание какое?

— Пахал парнем! — неохотно, как о стыдном, отвечает он.

— А я пахать обык! — возражает Константин Васильевич с нехорошим блеском в глазах — видимо, у него опять подымается жар. — Ныне, как осаживаю народ на мордовских росчистях, дак не пораз за рогач браться приходило! Покажешь, первую борозду пройдешь — тут уже поверят мужики, что свое, что не на час, и навек дадено! Да и слава потом: «Князь пахал, сам!» Дал волю смердам места выбирать себе. Глянул потом на эти деревни — самому любо-дорого стало! Умеют селиться, умеют и хоромы поставить! Тут тебе и вода, и лес, и пашня, и огороды — все под рукой, и места высокие, красные, здоровые, боровые, и озор красив!

По лицу старого князя бродит улыбка, глаза, как в тумане, глядят куда-то вдаль.

— Заселю Волгу! А ты — Сухону заселяй! Наше все русское хлебопашество — по рекам! Убей реки, запруди — и Русь убьешь! В поймах — луга заливные. По воде — путь. На крутоярах, где сухо, — села, города, храмы! Пашня под лесом, а где чернолесье, болота где, тут тебе и влага на сухой год, и землю напоит и согреет тою водою болотною, морозы смягчит, снегу добавит в поля, да и от ворога за болотами завсегда отсидеться мочно!

Князь помолчал, задышал хрипло, прокашлял, заговорил снова, и Константин понял наконец, что у свата не бред, не усталь от долгой толковни с боярами, да и не насмешничает он вовсе над ним, а говорит надуманное давно, наболевшее, пото и рассказал про пахоту свою! Не ведал того ростовский князь, даже не догадывал про свата такое. Как-то больше представлял его в думе, в совете княжом, верхом на коне или на пирах, во главе стола...

Так-то сказать, работать умели, почитай, все, а многие даже и любили иную работу: косили, плотничали отай, но баять о том почитали неприличным — не княжеское дело, не боярское! Князь — правитель. Его дело — суд да война. Но и управлять надобно, зная то дело, коим заняты подвластные тебе люди! На то, верно, и намекает суздальский сват? Либо опыт хочет свой передать молодшему? Константин Ростовский, многое испытавший в жизни, стал слушать и вникать внимательнее.

— Ведаешь, чем мы, русичи, от иных народов отличны?! — страстно спрашивал суздальский князь. — Ото фрягов, франков, немцев, угров, греков, болгар? Не ведаешь? Тем, что мы — перешли рубеж! Рубеж холода! Зимы долги в нашей земле, скот во хлевах более полугода стоит. Хлеб насеять да убрать — мало времени того дадено! И погоды не те! Тут народу воля нужна! Обязательно воля! Иначе — не одюжит земли. Широта, простор! Пахарь наш в летнюю пору почти не спит, чуешь? Черный народ на Руси богат и должен быть богат, иначе не стоять Русской земле! А села — редки, раскидисты, в лесах! Лес береги, коли мочно, лес защитит ото всего: и от мраза, и от ветров, — чуешь, какие здесь погоды? А там, на Двине, того больше! С Ледовитого моря ветра! Лес русскую пашню бережет от ветра, а самого пахаря — от лихого находника. Имя нашей земле — Залесье, помни про то, Костянтин! Зимы суровы, земля неродима, население редко, а враг подступит? Богатый смерд сам пойдет воевать! А бедный, нужный, ежели б и захотел, дак и то не заможет! Князь Иван, покойник, леготу давал смердам, пото и выстала Москва! Татей казнил, черный народ берег, торговому гостю давал от лихих воевод бережение... Хлеб, мясо дешевы на Москве! Мы, што ль, не заможем того? Да у нас с тобою, Костянтин, и

земли и простору поболее, и пути торговые в наших руках! Вникни! Гляди! — говорил, блестя глазами, хозяин. — Гляди и помысли! Вот Волга! Где мой Нижний — Ока с Волгою сходят в одно. По Волге — путь, по Оке — путь. Олег держит и Оку и Проню. И Лопасню отбил у Москвы, а коли Коломну возьмет — рязанская она, Коломна, — тут уже путь чист хоть до Брянска, хоть до Чернигова, хоть и до Цареграда самого! Ниже по Волге — Сура Поганая, там осаживаю людей. Выше, на устье Унжи, у меня Юрьевец, Унжу запирает. Выше по Волге — Кострома. Кострому надо отобрать у московита. Жаль, Василий Давыдович, ярославский князь, рано помер! Самому Калите окорот давал! Дальше, гляди, по Мологе: Устюжна, Бежецкой Верх, а там пойдут Торжок, Волок — все то новгородские волости. На верхней Волге — Тверь, дальше — Ржева. Чаю, Ольгерд Ржеву у Иваныча теперь отберет! А там уже Днепр, Смоленск, на запад пути, в Киев, в тот же Царьград по Днепру. Ну, а от тебя по Шексне к Белоозеру путь, Кубена, Каргополь... Там уже реки к холодному морю текут: Сухона, Двина, Вычегда, Вага... Сколь простору! Не упусти! Великий Устюг не упусти, Галич!.. А там уже Новгород опять... Вот она, Русь! На реках вся! Много земли-то! Невпроворот земли! А Москва, что Москва?! Без тех волостей далеких да необжитых задохнется она! Будьте лишь вы дружны! А то кажный из вас, как вот енти...

Константин Васильич кивнул на дверь, куда вышли князья-союзники, выдохнул с болью и силой:

— Не делить надобно, Костянтин, а приобретать, заселять, осваивать! Научись пахать, Костянтин! Сам кажи пример, стой у мыта, у весчего стой! В руках держи! А то вы все, ростовские князи, токмо делились да спорили! Вот и доспорили, и делить стало нечего... На север гляди, на восток! Широко гляди! Я бы, князь, на месте твоем, может, в Устюг и столицу перенес! И всю Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Заозерье, все бы позабирал под себя!

— Новгород Великий не даст... — возражает, пошевелясь и коротко взглядывая на свата, Константин Ростовский.

— Знаю! — протяжно отзывается Константин Васильевич. — Опаздываем! Опоздали уже... Мне вот тоже жизни не хватило! — с горечью признается он. — Да не смотри ты так жалобно на меня! Ета болесть — не болесть, завтра-послезавтра выстану! — прибавляет он, вновь отирая лицо убрусом. — Налей вот еще горячего! Так! И меду подай теперь, нетвореного. Там, в поставце!

Пора было уходить, постельничий уже заглядывал раза два в двери, и князь Константин поднялся.

— Передолим? — вопрошает он напоследях, сурово сводя брови, и чуть было не сказалось: «Симеона Иваныча». Усмехнул невесело, поправил себя: — Ивана Иваныча?

Суздальский князь взглядывает серьезно и устало, думает, медлит, отвечает:

— Содеяно все, что мочно, а чего не мочно, того не содеять уже... А передолим ли? Не ведаю!

Иван Иваныч, разувшись, в носках, мелкими шажками подошел к рукомою. Молился на сон грядущий всегда с чистыми руками.

На улице холод, сырь — жуть! И главный «ворог», суздальский князь, в пяти шагах от него, в своем подворье. Сейчас бы посидеть с Костянтином Василичем за столом, потолковать, послушать... Князь старый и уважаемый человек... Он вспомнил, как давным-давно здесь же вот колотился в ворота сын Александра Тверского, Федор... и — содрогнулся.

Он ни к кому не чувствовал зла, и зло давило, обступая его со всех сторон. Давеча в кирпичной палате дворца Джанибекова (где тот почти не жил, то и дело уезжая в степь, как и теперь, тотчас после спора) — сором! Доставали старые грамоты, бранились неподобно, исчисляли взаимные обиды аж за полста лет и кто там кого спихивал со стола при дедах-прадедах... До хрипоты, до хватания за бороды спорили бояре! Посидеть бы вместе за столом подобру, похорошу, послушать старого князя...

Как устроить так, чтобы удоволить всех? Господи! Днем, на людях, он еще держался. Таким, как сейчас, его, слава богу, не видал никто. Но сейчас... Господи, помози!

Сложив ладони, он стоял на коленях и молился, горячо и просто, как в детстве. Ему хотелось домой, к жене. Шура была сильная, и она защищала его от наглых слуг, от настырных ключников...

Семен тяготил его, часто унижал. Но Андрей всегда был ему защитою, и без Андрея (почему не он, а я должен стать великим князем?!), без Андрея, который ему, почитай, и Шуру высватал, не чаялось, как жить, как быть. Иван... Иваныч! Свалившееся на него княжение давило, пригнетало к земле.

И дома страшно. Олег захватил Лопасню. Иван не гневал на Олега, понимая, что тот отбирает свое, рязанское, но ему было стыдно перед боярами, страшно перед покойным Семеном, который не допустил бы такого никогда и сейчас словно сам послал сюда его, Ивана, и смотрит — следит оттудова, чтобы, ежели надо, тряхнуть за шиворот или жестоко выругать (и выругал бы, и тряхнул — за Лопасню!).

А вдове и боярам покойного брата надо возместить потерю. Вот что надо! Это уж, как Семен мог... я не могу, но хоть возместить! Из своего возместить... Я же виноват-то, Господи!

И бояре в споре. Алексей Петрович хочет быть тысяцким... Брат не любил его, а почему? Алексей Петрович ему Машу высватал! Любить надо всех! Так заповедано Господом... И теперь, после стольких гибелей от черной болести етой... Ежели б вместе с Костянтин Василичем... Вместях как-нито...

Понимаю, Господи! Все понимаю, а не могу! Веришь мне? Человек я! Не ведаю, как брат все это держал на плечах! Не по мне этот крест, не по плечам, не по силам! И никто не позволит уйти! Даже Алексий!

А ежели Джанибек решит дать стол Костянтину Василичу? Бояре съедят! Нельзя! В Москву не пустят! Шура, Шура, хочу к тебе, к детям! Не хочу вышней власти! Зачем умер брат, а не я?!

И в монастырь не пустят. Один! Не на кого престол оставить! Да я и не хочу в монастырь! Разве — с Шурой. Ах, что я, заговариваюсь, видно! Батюшка не прочил меня к власти совсем! Зачем она мне? Велят! Все велят, все приказывают!

Ежели бы мне только сидеть, а правил бы Костянтин Василич! И доходы бы ему можно отдать с Владимира... Чтоб только не уходило от нас вовсе... Детям, внукам там оставалось... Говорят, у каких-то царей цареградских было так — у Костянтина Багрянородного, кажется... Бояре б в спокое были, а там Митя да Ваня подрастут... Почему это плохо — быть просто человеком, любить жену и детей, никому не хотеть зла, почему это плохо, Господи?

Зачем тогда убили Федора, Федю, зачем? Сёма баял, на всех на нас проклятие с той поры, кровь на всех... И на мне кровь?! Да? Правда? Но зачем же ты тогда оставил меня одного в живых, Боже?!

Он валится наземь, на ковер, приникает лбом к полу; приподымая мокрое, в слезах, лицо, шепчет:

— Господи, пощади!

Осторожный, но настойчивый стук в дверь заставляет его подняться с колен.

Врываются гурьбою, тормошат — веселые, злые, задорные. Кричат: «Княже!»

Он вертит головой, глядит растерянно то на Дмитрия Александровича Зернова, то на Феофана Бяконтова — двух старых бояр отцовых в этой толпе беснующейся молодости, единственно почтительных, но и деловито-тревожных. И Феофан поясняет ему — без улыбки, но словно бы малому дитю:

— Надобно к Товлубию, батюшка! С твоею милостью надобно!

Прочие не спрашивают Ивана, волокут. Акинфичи — Григорий Пушка с Романом — ведут его под руки. Семен Жеребец (в отца, в Андрея Кобылу, пошел молодец статью!), подхватывая Ивана сзади под мышки, легко, без натуги приподымает над землей, и тут же юный Федор Кошка с Данилой Феофанычем в четыре руки наматывают ему портянки, суют его, словно куклу, ногами в красные сапоги, ставят на пол. Сыны Дмитрия Зернова, Иван с Митей, подают ферязь, шапку, охабень, холоп расчесывает кудри...

Ивана вертят, почти не спрашивая, точно куль с овсом. На молодых, румяных, сияющих лицах — задорная радость битвы. Внимательно-деловитые глаза старших бояр оглядывают его со сторон, словно бы не замечая, что с ним творится.

— С Товлубием ищо твой батюшка, Иван Данилыч, уговор имел! — скороговоркою поясняет Феофан. — Как он решит, так и станет, и сам Чанибек не перерешит!

— Почто?! — с тихим отчаянием прошает у него Иван. — Дарили ведь!

— Дарили! Должон сам ему честь воздать! — строго возражает боярин. — Сила у ево. Слух есть, суздальски бояра добрались до Товлубия, не было б худа!

Иван никнет и, уже не сопротивляясь, отдаваясь полностью течению дел и сильным рукам своих бояр и молодшей дружины, которые и мыслью помыслить не могли бы хотя в чем отступить или уступить суздальскому князю, волочится сквозь холод, ветер и ночь к всесильному ордынскому вельможе пленять старого татарина девической свежестью лица и шелковыми кудрями, умягчать его сердце подарками — новыми связками соболей, новыми слитками серебра, новыми чашами, поставами сукон и парчи, жемчугом, рабынями и конями... Только потому, что такие же — или похожие — дары были поднесены сегодня утром Товлубию боярами суздальского князя, ревнующими о господине своем!

Влажный ветер осаживает сугробы у юрт. Кони, фыркая, разгребают тяжелый снег, выедая желтую траву. Урусуты косят травы длинными кривыми ножами и складывают в большие кучи. У них иначе нельзя.

Джанибек в долгом тулупе стоял на снегу, узкими глазами глядел в темноту ночи, где двигались кони и нукеры, недвижно замерев, остриями копий прочерчивая едва видную полоску ранней зари, стерегли своего господина.

Уже который месяц в Орде творится возня подкупов, слухов, чужих и жестоких воль. Властный суздальский коназ вновь рвется к владимирскому престолу. За него хлопочут новгородцы, у которых какие-то перемены в ихнем городском управлении. Что там творится, он плохо понимал. Города чужие. В городах царствуют золото, яд, и кинжал, и женщины из чужих земель, тонкие, с раскрашенными глазами, подобные змеям... Ему опять захотелось выпить горячего вина — ширазского или греческого — или урусутского хмельного меда, все равно. Теперь, сам не признаваясь себе в этом, он уже не мог долго обходиться без хмеля.

...И сын! Любимый сын Бердибек начинал пугать. Впрочем, детей много и кроме Бердибека, будет кому...

Странно: старший брат, которого он убил своею рукою, не поминался ему совсем. Поминался, даже снился по ночам младший — Хыдрбек.

— Ну вот, и чего ты достиг, Семен? — спросил он, глядючи в темноту, почти вслух. — Дети твои, твои мальчики, умерли. Умер и другой брат, и теперь остался один этот, Иван!

(И опять, непрошенный, возник перед глазами Хыдрбек, с перерезанным горлом, трепещущий, с жалким взором загнанного сайгака, и уже мертвый, черный... Что же, и ему бы, умри он от чумы, наследовал младший брат? А Бердибек? Нет, пускай Бердибек!)

— Так чего ты достиг, Семен?! — спросил он опять. Лошади фыркали в темноте, и он узнавал любимых коней по звуку. — Ничего ты не достиг, Семен, и умер, оставив меня одного! Я не порушу твоего улуса, дам власть этому брату твоему! Ты этого хочешь, Семен? Ты хочешь этого! — повторил он, кивнув головою.

Пускай они просят все... А если бы потребовал того же самого Товлубег? Но Товлубег куплен московитом! Куплен покойником...

Его охватила усталость. Надо было идти в юрту и пить вино. И позвать жену, любую. С наследниками Тайдула поможет, она выберет достойного, все мальчики, от всех жен, у нее на руках...

Что понимают они все! У меня был друг! Я придумал друга себе! И теперь он уже не обманет меня, он мертв! И не я убил его, убила черная смерть! Он был честен со мною, коназ Семен! И он не убивал братьев своих... И теперь, после смерти, прислал брата своего ко мне. Слабого брата. Пугливого, словно женщина. Брата, которому не удержать власти. Единственного оставшегося в живых...

О чем ты думал, Семен?! Что ты знал такое, чего не знал я? Ты знал... Или твой большой поп знал. Не тот, не греческий, другой... У тебя поп, у суздальского князя поп Денис, но тот хочет войны. Ты тоже умный, коназ Костянтин, но ты не получишь великого стола!

У меня был друг, слышите вы все! И он не предал меня! Понимаете это вы? Вы все, предающие повелителей своих, как только они начинают терять силы! Ты будешь коназом, Иван! Будешь сидеть на столе, пока я — тут!

— Слышишь, Семен?! — спросил он вслух мертвого урусутского князя, и нукеры дрогнули, решив, что господин зовет их к себе. Джанибек запахнул тулуп, надо было воротиться в юрту и выпить вина сейчас же, немедленно, выпить горячего вина...

— Маша, помоги Всеволоду! — Микулинский князь Михаил сидит вольно. Прискакал в Москву на семейный погляд, к родной сестре Маше, Марии Александровне, великой княгине, вдове Симеона Гордого.

И теперь вот она — сестра Маша, сильно раздобревшая от частых родов, уже немолодая, тридцатилетняя княгиня московская, владелица сел, городов и вотчин, скотинных и конинных стад, ратников, челяди и холопов, владелица трети Москвы, владелица Можайска и Коломны, самых крупных городов княжества, «с волостьми и бортью», сел: Напрудского, Островского, Малаховского и иных — под Москвой, сел и угодий по Клязьме, Кержаче и под Юрьевом, сел под Новгородом, благословенных и купленных, устроенных и примысленных покойным князем Симеоном... Сидит усталая, растерянная женщина, год назад потерявшая мужа и всех своих детей. А брат — возмужавший, похорошевший, со следами еще прежней мальчишечьей озорной светлоты на лице, опушенном молодою бородкой, такою мягкой на вид, что руки тянутся огладить, потрепать ее, и чтобы родилась улыбка, прежняя, та, перед которой когда-то смутился сам покойный Симеон Иваныч, — сидит любимец всей Твери, и вот сейчас, в минуту сию, говорит ей эти простые слова... А она не знает, не ведает: что вершить? Симеон «приказал ее», умирая, дяде, Василию Кашинскому. И он-то, Василий, сейчас притесняет вновь и опять Всеволода и их мать, Настасью, вдову убиенного в Орде князя Александра Михалыча. И она, Мария, Маша, не имеет ни власти, ни силы пойти противу всей Москвы, хотя и любит Всеволода, и гневает на дядю, который продолжает тиранить их, опираясь на волю московской боярской думы.

— Симеон Иваныч помог Всеволоду! — запальчиво произносит Михаил — и кается. Нежданная слезинка, осеребрив ресницы, стекает по щеке сестры. Недавно только справляла память по мужу... И кабы еще сын! Что она одна? Ни приказать, ни заставить!

Андрей Иваныч Кобыла мог бы, но он слег на Святках и не встает. И умер Василий Протасьич. И все, все, решительно все плохо теперь! Как ему объяснить, что нет у нее, одинокой вдовы, ни сил, ни воли, ни даже желания что-то вершить теперь, когда на Москве чужая власть; чужие дети, чужие бояре рвутся к власти, и ничто не можно, Лопасню отстоять и то не сумели!

Она сидит, уронив руки на колени. Крепкие еще руки, с маленькими энергичными кистями, с точеными пальцами, которых отныне и навсегда некому целовать. Руки, лишенные навычного труда, руки, которым не придет больше пеленать дитятю, и даже темный камень в золотом перстне на этой руке глядится теперь печатью вечного вдовьего одиночества.

Лицо у сестры широкое, белое, потерявшее прежний точеный обвод, шея в тугом, шитом мелким жемчугом, наборочнике. Она сидит перед ним в раскладном креслице, тяжело и беззащитно, и с безотчетною завистью смотрит на брата, у которого все впереди, с мягким, почти материнским любованием.

Михаил тоже изменился. Повзрослел, построжел. Скоро и ему придет время мужества, жестокой битвы за право жизни и власти на земле, битвы, которую Всеволод (как ни любит Мария брата, понимает это очень хорошо!) уже проиграл.

Она глядит на брата, а мысли идут посторонние, скорбные и — не к делу. Что придет ей, когда воротит из Орды с пожалованьем Иван Иваныч, очищать княжеские покои — которые и не нужны ей — но как больно покидать эту вот горницу, светлую и нарядную сейчас, ведавшую и ужас, и хрипы детей, и кровавую мокроту в тазу, и почернелое тело дорогого супруга, Симеона, на брачном ложе... Очищать, уходить куда-нибудь в задние горницы, рядом с Ульянией, вдовой Калиты, или, как Марье, вдове князя Андрея, заводить свой терем в Кремнике?

Три вдовые княгини при одном живом князе на Москве! И только у одной из них, Марьи Андреихи, годовалый младенец на руках. У нее же — нет никого. И не будет. А Миша просит о помочи... У кого! Она сдерживает себя, перемогает слезы. Не то, дай волю, рыдать бы ей от зари до зари.

Была борьба, битвы, гордый княжеский род, великая Тверь, великий Михаил-страстотерпец, погибший в Орде, Дмитрий Грозные Очи, зарубивший Юрия, был их батюшка, Александр, высокий, красивый, с холеною русою бородой, которую она дитятею так любила трогать... И сейчас вспоминаются его сильные горячие руки, без натуги подбрасывавшие ее вверх, в сияющую небесную голубизну... Всеволод крупный, в отца, и — несчастливый. В семье, в первой жене, в детях, в этой все не удающейся ему борьбе с дядей Василием... Много их, потомков Михайлы

Святого! И нет ладу в семье. А тут, на Москве, одни вдовы, и этот Иван, которого Симеон никогда не прочил в князья... Так почему же опять Москва?! Быть может, Миша прав? И прав, что приехал? И ей, пока удел Симеонов в руках, надлежит...

Но кто, кто поддержит ее в московской думе? Иван Акинфов? Нет! Когда-то изменил батюшке. Ему теперь и до конца дней — Москва. Ему и Андрею. И всем, всему роду Акинфа Великого. Бяконтовы? Кто из них выйдет из воли Алексия! Дмитрий Зерно? Нет. Семен Михалыч? Елизар? Нет. Иван Мороз тоже против батюшки не пойдет! Андрей Иваныч Кобыла? Лежит при смерти. Алексей Петрович Хвост? Ездил за нею сватом! А теперь? Теперь рвется к власти под Вельяминовыми. Что же за нее? Один покойный Василий Протасьич мог бы защитить великую княгиню московскую! И то лишь не в ущерб Москве... И нет у нее сил противу дяди Василия! Никого нет! Без князя на Москве все идет по князеву слову. Так же заседает дума, работают дьяки и подьячие, правят суд, собирают тамгу и пятно, весчее, повозное и лодейное; так же идут обозы, торгует торг, городовые воеводы блюдут волости... Разве Лопасню не сумели оберечь. И не скоро еще почует земля, что не стало у нее сильного главы, ее князя, лады ее — Симеона Иваныча.

«Чем я помогу тебе, Михаил, тебе и Всеволоду, чем? Серебром? И помочь надобно. Грамотою ли усовестить Василия? Разве грамотою! Перевесит ли слово силу, когда слово нечем подтвердить и нету за ним второй силы, набольшей или хотя бы равновеликой, дабы подкрепила писаное слово?! И что, и почему это в людях, когда ни разум, ни честь, ни правда, ни божье слово, ни заветы отцов, ни богатства даже, ни земли устроение не возмогут ничего перед единым — силою! Силою духа, которой в избытке было, как видится ей сейчас, у покойного Симеона, и силою меча — тою силою, с которой когда-то горсть степняков прошла и покорила едва не весь знаемый мир! Да и за силой меча должна стоять сила духовная, не то и не понять, почто батыевы кмети одолели столь многих оборуженных и многочисленных ворогов своих? И бронь-то была не у всякого! Сабля, да аркан, да лук со стрелами... Дак, может, тогда... Почто же они-то, тверичи?! Кабы дитя! Почто не оставил ты сына мне, Сема, Семушка! Все бы ясно было теперь, и сила в руках, и мужество в сердце, и воля, все бы разом нашлось, и подняла бы, и вывела! И стал бы князем великим вослед отцу! А Тверь? А Родина? Жена — при муже. Едина плоть! Пока есть муж и дети, для коих всё — и плотское, и греховное, и святое... А она? Грамоту она напишет Василию... А сама она верит ли в грамоту ту? И хочет ли победы Твери? Или память покойного мужа столь сильна и поныне в ней, что не хочет она теперь гибели московского княжения? Чему-то научил, что-то сумел дать понять ей покойный супруг. И учит ее и теперь... Оттуда учит... А сам помог? Помог, добывая меня! Имел ли ты право на то, Семен? И не спросишь о том! Греховно спросить теперь у мертвого!»

— Я отошлю грамоту дяде Василию! — сурово отвечает она младшему брату. — А ты, коли заможешь, сам поезжай в Кашин... к ней... Уговори!

Светлое лицо Михаила отуманивает думою. Прямая отцова складка прочерчивает лоб. Да, он поедет, будет уговаривать всех и как-то наладит, хотя на краткое время, непрочный мир в тверском княжеском доме, мир, вновь и вновь раздираемый восстающей силой Москвы.

Мир, о котором мечтал ты, Сема, где он? Или опять битвы, и кровь мужей, и плач жен — до конечного одоления, до последней власти победителя?!

Осанистая, раздавшаяся от родов женщина кладет маленькие руки на подлокотники кресла, смотрит любовно на брата, которого она любит, и будет любить всегда, и не перестанет любить, что бы ни совершилось меж ним и Москвою, и смотрит, глядит на него ненасытимо, издалека, с того берега прожитой и прежде смерти оконченной жизни, не в силах ни помочь, ни осудить за тот упорный и уже безнадежный путь, который сужден ему судьбою и собственным разумом, разумом и волею, возжелавшими большего, чем заповедано высшим судиею и начертано на скрижалях вечности.

Поездки в Рязань превратились для Никиты в постоянную службу. Он и сам не отказывался от них, ибо, возвращаясь, мог вдосталь сказывать о делах всем и каждому, а в особенности Наталье Никитишне. И хоть рассказы и разговоры те велись прилюдно, при девушках сенных, а то и при ком еще из боярынь, Никита все одно дорожил ими, переходя попеременно от отчаяния к ликованию. То ему казалось, что «она» радует ему, и тогда сердце Никиты ширило, переполняло счастьем, то зрелось небрежение во взоре, и тогда вновь оживала тусклая правда бытия: он — ратник, она — боярыня, которой снизойти до него — сором. И тогда горько и глухо становило на душе, а «она» уплывала куда-то в заоблачные выси. (Про себя Никита редко думал о своей любви, называя по имени, а так уж и продолжал считать дедовою воскресшей княжной, как понравилось когда-то, и уже твердо готовил для нее, примерял те древние, береженые золотые серьги-солнца, сохраняемые все эти долгие годы — уже поболе полустолетия — в семейной скрыне, словно некий колдовской оберег грядущей судьбы.)

На Масляной Никита намеренно напросился в праздничные возницы с единою мыслью: ежели так повезет, переговорить с нею. Но люди были все время вокруг, по всяк день «она» была в толпе, и уж какие там разговоры! Едва добился, когда поехали кататься на Воробьевы горы, попасть на те сани, где сидела она с другими жонками. И скорее со злого отчаянья, чем с озорства, вздумал обогнать всех, чуть-чуть не погубив и себя, и ее, и прочих жонок, ибо решился на то, на что не решался никто, ниже и сам Василь Василич, тоже лихо правивший разукрашенною, в лентах и бубенцах, ковровою, в росписи и серебре, тройкою. На самой круче, на самом страшном спуске, гикнув, вырвался вперед Никита, и с раската, когда другие начали придерживать лошадей, он под-

нял плеть и с присвистом огрел — жеребец, всхрапнув, пошел наметом. Сзади ойкнули — и кончился, как оборвало, девичий смех. Конь шел бешеной скачью, почти смыкая передние и задние копыта, так что Никита подумал, что жеребец вот-вот сделает засечку, а тогда... о «тогда» и думать не захотелось! Крупные комья вывернутого подковами плотного снега били в сани, летели в лицо. Он на миг глянул назад, где, сбившись в кучу, вцепившись в разводья узорных саней, с расширенными от ужаса глазами мотались-летели за конем испуганные боярышни, и — наддал! И уже чуял, что худо: сани с раската, почитай, летели по воздуху, и хомут начинал налезать на уши коню. Теперь стоило жеребцу допустить один (махонький!) сбой, и — край, и — конец: через голову, вдрызг, в звень, в мельканье задранных кованых копыт, с предсмертным жоночьим непереносным визгом полетит все — и сани, и люди, и он сам, и будет смято, растоптано катящими следом за ним санями... И уже не он — конь спас: на самом раскате, зависнув и собравши всю силу четырех ног, ринул в долгий прыжок, а чуть тронув дыбом, вихрем в лицо летящую снежную землю, снова скакнул длинным воздушным наметом и, не давая отлететь в сторону грянувшим о накатанный снег саням, снова прыгнул и опять пошел головокружительной непредставимой скачью, смыкая копыта так, что звякали друг о друга подковы передних и задних ног, и Никита с замиранием сердца ждал и, к великой удаче своей, не дождал-таки гибельной засечки коня, когда дорога пошла выравнивать и стало мочно разглядеть конские ноги, и клочья белой пены, и потную спину жеребца и ощутить собственный жар и пот, горячей волною прошибший под рубахой всего Никиту. Он мельком подумал еще, что так вот, в санях, на добром коне, русич уйдет и от татарина, меж тем как верхами от татарина ни за что не уйти, и подивил тому, и тоже — как тенью прошло в разуме. Еще и облегчающего счастья удачи не было, накатило потом, лишь билось, росло, ширило злое, озорное, как в битве, отчаянное торжество; и оглянул опять и узрел, увидел ее бездонные, черные от изумления и страха, непредставимые, завораживающие глаза, и опять наддал, и, уже чуя храп и тяжкое дыханье коня, когда уже завернули по нижней дороге, вдоль кустов, и, далеко назади оставя хохочущий звенящий бубенцами праздничный обоз, унырнули в оснеженную красу медяных стволов соснового бора, начал понемногу натягивать вожжи, умеряя бег коня. И такое было — словно летел в пустоте, а тут только опустился наконец на землю. И не слушал уже женской с провизгом воркотни и восхищенной ругани за спиною, и сам обморочно отдыхал, чуя, как возвращается в пальцы, руки, в предплечья ловкая сила, скованная миги назад смертным ужасом полета с раскатанной гладкой высоты. И сейчас бы вновь оглянуть и крикнуть в голос: «Люблю!» А уже нельзя, не одна в санях, а еще трое — лишних, ненужных ему совсем теперь жонок, и все-таки оглянул жадно, разбойно вперясь в расширенные озера очей. И она поняла, почуяла, словно от удара в грудь шатнулась к задку саней, к узорному ковру, и, поймав недоуменную беспомощность взгляда, Никита, ликуя, еще раз, последний, ожег коня, и вновь рванул конь, и тут уже сам, опомнясь — не запалить бы хозяйского жеребца! — начал осаживать, переводя скок в рысь и чуя, как обвисает, отдыхая, все тело и как сзади, за спиною, начинают его хвалить и вновь раздается смех, и уже кричат, величаясь, отставшим, хвастая и любуя жутким пробегом саней!

В тот день, к вечеру, Василь Василич вызвал его к себе, и Никита, почуяв, о чем будет разговор, взошел в горницу нарочито независимо (а в душе не ведая, уйдет ли живым, ибо не знал и сам, что ответит боярину, ежели тот прямо задаст ему вопрос о Наталье Никитишне).

Василь Василич поглядел на него молча и тяжко. В зрачках копилась хмурая ярость.

— А убил бы кого? — наконец вымолвил он.

Боярин сидел на лавке. Никита стоял, слегка расставя ноги и чуть-чуть, незаметно совсем, покачивая плечами, и прямо смотрел в нахмуренный лик боярина. («Ох, и скажу же я ему все!» — подумалось вдруг, хотя что «все» мог бы он сказать Василь Василичу, Никита совсем не ведал.)

Боярин молчал, не то не примыслив, что еще сказать, не то копя в себе гнев, и взорвись он сейчас — правда была бы на его стороне, боярской! Не одною своею головой и не одним конем рисковал Никита на днешнем катанье с гор!

— Ведаю... — хмуро, но все так же сдерживая себя, вымолвил наконец Василь Василич и, отводя глаза, добавил: — Сором! — И, вновь помолчав, присовокупил твердо: — Не быть тому!

Хотел было Никита возвесть очи, вопросить «Чему не быть?» — затеять холуйскую игру непонимания... Да и в нем была не холопья кровь! Побледнел. Усмехнул. Понял, почему сдерживает себя Василь Василич: за эти смутные месяцы противустоянья и долгих пересылок рязанских стал он излиха нужен Василь Василичу и некем или трудно стало его заменить (хотя и мочно! В великом хозяйстве тысяцкого многие сотни людей, и всяк захочет услужить господину, коли придет в том большая нужа!). Но, верно, и еще что-то было, почему не хотел Вельяминов попросту сослать Никиту с глаз долой, куда-нито за Можай, и вся недолга. Верно, и сам чуял, что связала его с послужильцем иная незримая нить, оборвать которую — лишить себя многого, чего и не учтешь зараз!

Никита помрачнел, опустил взор, вновь поднял его на боярина. Какие тут нужны были еще слова!

И, верно, еще было нечто, чего не знал, не ведал Никита, вернее, не ведал в той мере, в какой ведал о том сам боярин, чуявший, что счастье начинает отворачивать от него и что в мышиной возне слухов, пересудов, говорок тайных и явных, измен и полуизмен одолевает его Алексей Петрович Хвост.

Опустил плечи Василь Василич, угасил невылитый гнев. Задумался. Сказал устало: «Ступай!» Только и было всей говорки меж ними...

Пока Василий Васильевич Вельяминов вел долгие переговоры с Рязанью, добиваясь выдачи тестя, Хвост развил бешеную деятельность на Москве. Стращая и уговаривая, объезжал бояр, выступал перед купцами и ремесленниками, орал, бил себя в грудь, называя Вельяминовых предателями. Сданная Олегу Лопасня явилась для него постоянною неразменной гривной: сколь ни плати, все остается у тебя в калите! Задерживались обозы, страдал торг, роптали, не получая руги, княжеские мастера, в постоянных сшибках хвостовских с вельяминовскими уже не раз доходило до оружия. Алексей Петрович почти не спал, ел на ходу, поднял на ноги всю свою челядь. Дружинники его скакали с наказами боярина из города в город. Грамоты — поносные, на Вельяминовых — одна за другою уходили в Орду. Тут у Хвоста была надея прочная: княжич Иван всегда сникал перед напором своего боярина и соглашался на все. Не будь покойного князя Симеона, Алексей Петрович давно бы взобрался на вожделенное первое место в думе великокняжеской. А ныне почуял боярин — подошло! Сейчас — или уже никогда! Себя загонял, сына загонял, загонял ключников, послужильцев, холопов; льстил, лгал, призывал, уговаривал... Никогда, ни до, ни после, не являл Алексей Петрович такого сверхчеловеческого натиска. (И... кабы весь тот напор на дело пустить! Но был боярин Алексей Хвост из тех, кому власть надобна ради власти самой, ради животного ощущения владычества над чужою волей и плотью, а потому, добившись власти, «опочил от дел», зацарствовал, обманувши всех, кто ожидал от Хвоста разумного управления делами, что и погубило его впоследствии.)

На Москве затеивались уличные драки; по волости вновь явились татьба и разбой, и никто не унимал, не казнил и не вешал татей, как было заведено Калитою и Симеоном Гордым. Скорее от гибельного неустройства, а совсем не потому, что очень уж дорог был Алексей Петрович люду московскому, тихие горожане стали склонять на его сторону: пущай уж станет тысяцким, лишь бы унял колготу и водрузил мир на Москве!

Бояре собирались келейно, судили-рядили, но досудиться ни до чего не могли. Все трое Бяконтовых — Матвей, Константин и Александр — стояли на том, чтобы непременно ждать старшего брата Феофана из Орды, а главное, владыки Алексия, а без него ничего не решать и не вершить. В одно с ними были и Мишиничи, искони державшие руку Вельяминовых. Но поскольку, опять же, глава рода, Семен Михалыч, уплыл с Алексием в Царьград, без него ни Иван Мороз с Василием Тушей (дети Семена), ни брат его Елизар с сынами не решались что-либо предпринимать. Александру Прокшиничу был также не люб Алексей Хвост, но и он один, без Дмитрия Зерна, который вместе с Феофаном сидел сейчас в Орде, не решался выступить противу притязаний властного боярина. Ну, а Андрей Кобыла, не одобрявший никогда всяческой колготы на Москве и единственно могший удержать Хвоста по праву старейшинства и власти, лежал ныне при смерти и уже ничего не мог ни поворотить, ни содеять.

Алексей Петрович меж тем поднял на ноги всех бояр Ивана Иваныча (из удельных им выпадала судьба стать великокняжескими!), перетянул на свою сторону Акинфичей, а за ними — тех бояр старомосковских родов, которые были когда-то потеснены наезжими сподвижниками князя Данилы: Редегиных, Афинеевых, Василья Окатьича с Миной; даже и Дмитрий Василич, от которого многое и многое зависело на Москве, из соперничества с Вельяминовыми принял сторону Хвоста.

Еще и на том сыграл Хвост — и умно сыграл! — что Мария, вдова Симеонова, радеет о тверских князьях, детях Александра: брата Михаила принимала о Рождестве, радеет Всеволоду, а значит, поддерживает и ворога Алексиева Романа (тверского ставленника на митрополичий престол), поди, скоро учнет московское серебро передавать ему! А защищая Всеволода, разрушает давний союз Москвы с кашинским князем Василием. Меж тем у нее в руках главные города княжества, и поддерживают ее не кто иные, как Вельяминовы, опять же сдавшие Лопасню князю Олегу!

Праздниками Алексей Петрович сам явился в терем великокняжеский требовать от Марии отречения от завещания недавно опочившего князя.

Вошел большой, широкий в бархате веницейском, с золотою цепью на плечах. Вошел и потребовал, не садясь, отказа Марии от владельческого права на Можайск и Коломну.

Мужская прислуга у Марии в тот день была в разгоне. Готовились к весенней страде: посельские, ключники, дружина были разосланы по селам. Мария выслушала Хвоста. Очи великой княгини омрачнели, сошлись брови. И это он, он! Был сватом! И уговаривал ее на сей брак, на это княжение! А Иван Иваныч еще в Орде, еще неясно, станет ли великим князем... А ее уже унижают как тверянку и дочь погубленного ими всеми в Орде, всеми ими, московитами, Александра, героя, великомученика! Вся княжеская гордость всколыхнулась в ней. Но некому было приказать выкинуть боярина вон из терема — не сенным же боярышням повелеть такое! Тем паче и Хвост был не один, а в сопровождении оружной челяди и ражих молодцов-послужильцев... И почему, почему Господь не оставил ей детей?! Почему ей, родившей стольких сыновей, не суждено ни одного из них зрети живым?! Почему и она не взята ко Господу вместе с чадами и любимым супругом?!

После, много после ухода Хвоста подумала она, что ее владельческие права на главные города княжества, оставленные ей Симеоном в тщетной надежде на посмертное хотя бы рождение наследника, и в самом деле ей не нужны, отяготительны и возбуждают, верно, негодование не одного Хвоста, но и всего московского боярства, что лепше ей отказаться от власти той и самой подарить просимое Ивану Иванычу... Но и опять — Ивану, а не Хвосту! Не пред наглою спесью этого вечного ворога мужнего склонить ей гордость свою! Здесь, в этом тереме (кото-

рый, уже поняла в сей миг, надобно отдать Ивану Иванычу и Шуре Вельяминовой сразу и безо спора, а самой переехать куда-нито, хотя в тот двор, что за Протасьевым, и отдать еще до возвращения Ивана, поговорив с Шурой с глазу на глаз), здесь, в этом тереме, у этого ложа, в этих стенах, видевших князя своего гордого и властного с ними со всеми... О, небо! Она задыхалась от горя, гнева, обиды и возмущения. Горячечно глядя в наглые глаза, в это раскормленное сытое лицо, прошептала, потом выкрикнула:

— Вон! Пока жива...— И что-то кричала, уже непонятное ей самой.— Вон! Вон! Вон!

Сбежались мамки, сенные бабы, захлопотали. У нее плыло в глазах, она топала ногой, кричала в голос. Посунулся престарелый Олсуфий, где-то по лестницам уже бежали ратные...

Хвост, усмехнув презрительно, поворотил и вышел из покоя. Его молодцы — еще видела, прежде чем пасть на постелю и глухо зарыдать,— оглянули покой, выходя, словно примеривали, что здесь в случае можно похватать да посовать за пазухи...

— Грабежчики! Тати! Маменька милая, зачем, для чего ты меня сюда отдавала!..

Василь Васильич услыхал о событии от глядельщиков. Никита с молодцами подомчал ко княжеским теремам, когда хвостовские уже отъезжали. Нападать на оборуженную дружину во главе с самим Алексей Петровичем не стали. Вышел бы прямой бой с неясным исходом для Вельяминовых.

Вдовствующая великая княгиня встретила вельяминовского старшего в гостевой палате, едва оправившаяся от приступа. У нее дрожали губы. Не враз поняла, видно, что говорит посол. Уразумев, что Василь Василич тотчас будет, а у крыльца стоит стража, покивала головой. Знаком приказала — сенная боярышня на блюде подала Никите чару белого меду. Никита выпил, обтер усы, поклонил княгине, опустив правую руку почти до полу. Вглядясь в него, Мария вдруг усмехнулась печально:

— Не ты ли ездил... гонцом тогда?

Никита не вдруг (сколько годов минуло!), но понял, о чем речь, поклонил вдругорядь:

— Я, госпожа!

— Помороженный был весь...— задумчиво вымолвила Мария. И стояла перед ним невысокая огрузневшая женщина во вдовьем темном наряде, с раздавшимся вширь лицом, в неярком повойнике, строгая, а в глазах, в прыгающих губах, в отчаянной мольбе взора было такое юное, девичье, прежнее и безнадежное теперь, как не вернуться бывает в минувшие прежние годы, что Никита, душа которого и сама-то была вся изобнажена и изъязвлена во все эти долгие месяцы горя и любви, понял ее, почуял с нею и за нее, хоть и ничего не сказал, вздохнул ли только. Но она и сама постигла ответное участие ратника, вымолвила тихонько:

— Спасибо!

И — что сделать, содеять? Остановилась на уставном, привычном. Сама налила новую чару, поднесла гостю-спасителю и легонько коснулась губами к склоненному челу Никиты. В этот-то миг стал для Никиты боярин Хвост личным ворогом, коего надобно было передолить и даже вовсе уничтожить, совсем.

— Мы сторожу разоставим... Днем и ночью... Не сходя...— не своим, каким-то чужим, сдавленным голосом вымолвил он, отступая. Слышно было, как по лестнице шел Василь Василич, и Никите следовало уже, и тотчас, оставить покой.

Не ведал он, о чем толковала княгиня с Василь Василичем, но ратных с того часа от княжеского крыльца больше не убирали, а во втором дворе Симеоновом начали расчищать место и возить лес на новый терем.

Ни Никита, ни вдовствующая княгиня не ведали про тяжкую ссору, произошедшую меж Вельяминовыми накануне этого дня.

На келейном семейном совете Федор Воронец требовал от старшего брата Василь Василича отступить от княгини Марии и спасать судьбу рода и дело Москвы независимо от нее, потому что грамота, посланная Марией Василию Кашинскому, уже стала известна на Москве и смутила многих.

— Ну и серебро станет давать братьям! А там и ратных пошлет на помочь! И своими руками возродим Тверь! Неча было тогда ни Юрию воевать с има, ни Ивану Данилычу, ни князю Семену... Сидели бы в своей мурье да тараканов кормили! — кричал Федор, а Василь Василич только пыхтел, темнея ликом и не ведая, что сказать. Тимофей, тот кидался на Федора, кричал о чести, о совести, о том, что предательством они опоганят себя и детей на все грядущие годы. И Юрий Грунка, самый младший, был душою с Тимофеем. Но им обоим перевалило лишь за двадцать лет, а Федор с Василием каждый были почти вдвое старше и оба — великокняжескими боярами. Так что голоса молодых Вельяминовых мало что значили пока и все зависело от решения Василь Василича... И как знать! Не явись Хвост столь нагло в терем Марии, как бы еще и поворотило дело-то! Сторожу от княжого терема убрал Василь Василич недаром. Сам знал — как и все прочие бояре московские, знал,— что городами княжескими Марии, бездетной вдове, да при ином живом князе, невместно владеть, но сожидал Ивана из Орды, сожидал пристойного, постепенного, не обидного ни для кого решения, сожидал, дабы Мария сама предложила воротить те города Ивану... А тут Хвост, оскорбивший дозела память покойного Симеона, оскорбивший и его, Вельяминова. И — в память эту, за-ради чести своей, не похотел боярин измены вдове Симеоновой и, упершись упрямо, едва не потерял все на свете: и власть, и волости, и честь боярскую, и мало не саму жизнь.

Ибо когда идет волна, когда толпа стронулась и потекла неостановимо, то хоть ты и прав тысячекратно, хоть нет, а или присоединяйся, или выжидай, коли мочно, событий, или иди на смерть, на гибель, на попрание, ибо растопчут, сомнут и разве потом, много после, поймут, что был ты один героем, а все они — стадом, помчавшим испуганно или взъяренно совсем не в ту сторону. Ежели поймут. Ежели запомнят твой одинокий подвиг. И ежели ты прав, а

не ошибаешься в свой черед! А был ли прав Василий Васильевич Вельяминов, упрямо защищавший владельческое право своей госпожи? Трудно это решить и о сю пору! Не ведаем точно, как и что створилось тогда на Москве, не ведаем, кто и о чем мыслил в московских спорах. Ведаем только, что надобна была стране, земле, языку русскому единая сильная власть и стараниями всех бояр московских, а больше всего владыки Алексия, осталась она за Москвой. И то, что города у Марии были отобраны (или возвращены ею добровольно), известно стало теперь только по завещанию Ивана Ивановича, где они исчислены уже среди его княжеских владений. А о том, что спас впоследствии Вельяминова никому не ведомый ратник Никита, Мишуков сын, не уведал и вовсе никто.

Было то время предвестия ранней весны, когда еще морозы вовсю, но серо-сиреневый зимний полог стаял, стек с небес, и отверзлась взору высокая нежная голубизна, от которой и тени враз засинели на снегу, далеким далеко раздвинулся окоем, а солнце, еще нежаркое, еще не отошедшее от зимних стуж, уже греет в затишках руки, разбрасывая свою золотую сквозистую парчовую кисею по сугробам и купам дерев, и воздух, чуть-чуть дрожащий, хрустальный, упоительно-свеж, и даже в ледяном ветре последних вьюг, от которого разом немеют щеки, незримо сквозит сладкая горечь готовых распуститься ветвей.

Потрепанный в дальних дорогах кожаный, низкосидящий возок на дубовых полозьях, обитый по углам узорчатым серебром, со слюдяными оконцами в ладонь, с малою, только пролезть, дверцею, на которой еле виден написанный красным московский ездец на белом коне (будущий Георгий), ныряет и уваливает с угора на угор, уносимый шестеркою запряженных попарно, гусем, приземистых широкогрудых неутомимых татарских коней. Возница, щурясь от сверкания снегов, лихо кричит, раскручивая в воздухе над конскими спинами длинный ременный, хитрого плетения кнут:

— Ии-эх! Родимыи-и-и!

Кони встряхивают гривами, рассыпая соловьиную трель серебряных бубенцов, рвутся в яростном ветре, сильно и часто работая ногами, так что не различить мелькания кованых копыт. Скачет, по-татарски пригибаясь в седлах, дружина впереди и сзади княжеского возка. Фыркают кони, летит облаками мелкое крошево снега из-под копыт, весеннего тяжелого ледяного снега, что радугою брызг покрыл шапки, вотолы, опашни и ферязи конных детей боярских, кметей и челяди нового великого князя владимирского.

Вот вылетает из-за угора второй возок, за ним — третий, четвертый, а дальше — сани, груженые розвальни, купеческие высокие возы, но даже там, в хвосте растянувшегося на три версты обоза, возничие, истомившиеся в Орде до беды, изо всех сил полосуют кнутами конские спины, торопят: скорей, скорей! Домой, на родину, в Русь!

Кони дружинников идут наметом. Впереди, уже недалече, княжеский город, Владимир.

Когда кожаный возок ныряет и возносится ввысь, Иван Иваныч с боязливым восхищением ухватывается за твердые ремни, которыми привязаны ларцы, укладки, кошели и торбы с казной, платьем и грамотами, глазасто и жадно глядит по сторонам сквозь желтые слюдяные створы, ухватывая разом и солнце, и морозный дух весенних снегов, сочащийся внутрь возка, и пронзительный птичий грай, и опасливо-радостно взглядывает на строгий лик Феофана, что замер, словно бы и не он поминутно взлетает ввысь, теряя вес тела, словно бы и не его мотает на пестрых ордынских подушках княжеского возка. Холопы уселись на самое дно. Толмач по-татарски согнул ноги кренделем, что-то лопочет по-своему, лукаво взглядывая на князя. А Иван радует совсем по-детски. Все так хорошо! И весна, и снег, и кони, и дорога, и счастливое завершение ордынской истомы, и вот он уже (скоро!) великий князь, и все свары и ссоры покончены, и заждавшаяся Шура скоро примет его в свои объятия, и ему станет хорошо-хорошо, и можно будет все забыть, кроме нее, да своего терема, да детей... Бояре толкуют, что теперь ему надобно перебраться в Симеоновы хоромы, а так не хочется! Андрей бы... Нет брата Андрея... Василь Протасьич... И старого тысяцкого нет! Ему на миг становится нехорошо, но он отбрасывает от себя, отодвигает все тяжелое, скучное, унылое, и вновь взглядывает в закаменевший лик Феофана, и вновь недоумевает: почему же они, Феофан с Дмитрием Зерном, больше, чем он сам, добивавшиеся великого княжения, теперь столь строги и неприветны? Все ведь так славно окончено! Он не выдерживает, зарозовев разгарчивым девичьим ликом, прошает Феофана, почто тот таково суров. И старик, из почтения к князю улыбнувшись беглою нерадошною улыбкою, отвечает:

— Неладно, батюшка, на Москве у нас! К дому ближе, дак и забота, тово, поболе долит...

Иван вспоминает потерянную Лопасню, споры Хвоста с Вельяминовыми, о коих ему уже не пораз доносили в Орде, и, похотев придать себе твердости и величия, хмурит брови. Но не получается! Трудные мысли никак не идут в голову, рот сам растягивается до ушей. Да и коли свершилось ко благу в Орде, неуж дома-то станет хуже? В родном терему и стены помога! И потом: все были такие добрые! И суздальский князь после ханского решения прислал к нему тысяцкого, поздравил с великим столом. Только новогородцы не смирились... Ну, да его бояре что-нибудь да надумают! И скорее бы воротил из Царьграда Алексий! Последняя мысль набежала, как легкое облачко: На миг расхотелось улыбаться. Приедет Алексий! Должон приехать! И все будет в порядеl И вновь молодой московский князь тает в солнечной детской улыбке... Красивый и совсем-совсем беззащитный мальчик-муж, коего свои бояре везут сейчас во Владимир сажать на престол великого князя владимирского вослед отцу и брату, двум могучим покойникам, создававшим и почти создавшим наконец трудное величие Москвы, доставшееся

теперь нежданно-негаданно в его полудетские руки.

Кони идут скачью, и уже близят, уже почти слышны радостные, серебряным звоном славящие княжеский поезд владимирские колокола.

Мчат кони, взмывает и опадает, кренясь на поворотах, возок, радостен князь, радуют близкому завершению пути холопы и челядь, радует возница, щелкая в воздухе долгим бичом, и только один Феофан, закаменевши ликом, перебирает сейчас в уме тревожные вести из Москвы, где восстала промежду бояр почти что взаимная рать, прикидывая (и уже сомневаясь в том), сумеет ли Иван Иваныч без владыки Алексия сдержать сии гибельные которы; грозящие на ниче обратить сокровище власти, добытое совокупными трудами всей московской земли? Добыли! Добились! Вручили! А кому? Эх, княже Симеоне, рано ты опочил, осиротил землю свою!

А кругом сияют, лучась, голубые снега, и пахнет близкой весною холодный мартовский ветер!

Нет человека, на которого не повлияли бы оказываемые ему почести, и влияние это тем сильнее, чем меньше соучастие самого человека в устроении этих честей.

Неудивительно поэтому, что у Ивана Ивановича после торжеств во Владимире закружилась голова. Он не то чтобы поверил в свою предназначенность к вышней власти, а принял все сущее как нечто долженствующее быть само собой. И безмерно удивился поэтому, когда после торжественных служб в Успенском соборе, колокольных звонов, возглашений, пиров, приветствий, слав и подношений, после многочисленных переодеваний в изукрашенные одежды, раболепства холопов и шумной радости народных толп, собравшихся приветствовать нового великого князя владимирского (раздававшего по обычаю серебро и подарки: куски тканей, лафтаки цветной кожи и парчовые лоскутья), вдруг выяснилось, что эта великая радость, свалившаяся на него и, казалось, равно излившаяся окрест на все сущее, разделена далеко не каждым в русской земле.

Лишь после беседы со строгими своими боярами — Феофаном Бяконтовым и Дмитрием Зерном — уяснил Иван, что новогородцы не прислали посла своего для участия в торжестве, развергли прежние союзные грамоты и отказались давать бор новому владимирскому князю; а Константин Суздальский, хотя и прислал боярина, но от участия в избрании Ивана Иваныча сам уклонил и не думает пока подтверждать старые договорные уряженья, заключенные между ним и покойным Симеоном.

Они сидели в горнице владимирского владычного подворья. Иван на резном креслице с высокой спинкой, положа руки на подлокотники и строго выпрямясь (уже научился тому за малое число протекших дней!), бояре — на перекидной скамье перед ним, чинно блюдя обычай и честь княжескую. У Зерна руки на коленях, у Феофана — на резной, рыбьего зуба, рукояти парадного посоха. Сидят уже в некотором подчеркнутом отдалении, как бы отодвинутые прихлынувшею властью. А красивый мальчик в золоченом креслице сдвигает выписные девичьи брови (своих двадцати восьми лет Ивану никак не дашь, он и душою и видом как был, так и остался юношей), пробует гневать, недоумевает, вспоминает отцовы походы на Новгород Великий, спрашивает обиженно и чуть-чуть надменно: не должно ли двинуть полки на непокорных?

— Их надо наказать! Зачем же теперь... когда хан решил? Ведь это неуважение к власти?

— Видишь, княже! — Феофан чуть-чуть морщится, объясняя своему князю истины, в коих тот должен бы был разбираться сам. — Батюшка твой да и покойный Семен Иваныч ходили на Новгород завсегда совокупною ратью всей Низовской земли. А без Костянтина Василича Суздальского ратей не соберешь! Там, глядишь, и ростовский князь нам в полках откажет, и будет сором.

— Я двину московские полки! — топает ножкой в красном, шитом жемчугом сапожке новоявленный владимирский властитель.

Но Дмитрий Зерно глядит на него устало и серьезно и медленно, отрицая, качает головою. Погодя говорит, и в голосе — властная, утверждающая правота:

— Одни мы не совладаем, княже. Земля оскудела ратными. Ежели к тому новогородцы еще и Ольгерда пригласят с литовскими воями — быть беде! С Ольгердом без помочи мы и вовсе ратиться не заможем!

Глаза у красивого мальчика делаются круглыми и испуганными. Он вовсе и не подумал о таковой возможной литовской пакости.

— Мира мы Нову Городу не дадим, — довершает сказанное Зерном Феофан, — а ратитьце не время, княже! Не время и не час! — решительно добавляет, он.

Мальчику бы вспылить, топнуть вдругорядь ножкою, настоять на военном походе — и тем, разом, погубить дело покойных отца и брата... Но закаменевшие лица бояр строги, и вряд ли даже они послушают его, ежели он топнет ножкой и решит что не понихнему... И Алексея Петровича Хвоста нету рядом! Тот бы, может, и придумал чего...

Все же свои бояре немного обидели Ивана, сбили ему светлое торжество радости, заставили торопиться на Москву. На Москве будет Шура, и дети, и дом, и боярин Хвост, всегда такой уверенный и спокойный! Дома что-нибудь придумается и с Новым Городом!

...И вот они снова едут умножившеюся дружиной; и ярче солнце, и теплей ветра, и лес, когда кончается оснеженное владимирское ополье, уже весь весенний, ждущий, напоенный потаенной радостью весны... Едут шибко, и после Юрьева заночевали только в Переяславле, на посаде, в княжеских хоромах, где его уже встречали с дарами избранные граждане Москвы. И были хлеб-соль, и песенная «слава», и пированье, и вновь безоблачная радость близкого возвращения.

Он лежал, утонувши в пуховиках, и тихо радовал. Голову чуть-чуть кружило от выпитого меду, и не мог

уснуть уже, с прежним юношеским смущением думал о Шуре. И не думал, чувствовал так, что все сказанные трудноты забот и власти отпадут сами собой, устроятся как-нито, едва он достигнет Москвы, а там и владыка Алексий воротит из Царьграда, и ему останет одно: любить всех, и награждать за труды, и миловать, и ежевечерне попадать в крепкие объятия дорогой любимой супруги, которую когда-то подарил ему, воспротивившись властной воле старшего брата Семена, ныне покойный Андрей!

Снег за те дни, что он провел во Владимире, сильно сдал, протаял, копыта коней начинали проваливать в дорожные водомоины, и кони выбивались из сил. Давно уже миновали Радонеж. Москва приближалась сгущением сел, деревень, починков, участившимися боярскими дворами и храмами, и наконец вот он, с бело-розовыми пятнами храмов, вознесенный над кручею Кремник, дорогой дом, родина!

Красным праздничным звоном звонили московские колокола. Начиналось благолепие, окружавшее доднесь старшего брата и теперь дарованное ему, ему! Купцы и бояре с дарами, радостные лица горожан, клир церковный в светлых ризах... Наверно, ежели бы Феофан с Дмитрием не стушевались, не исчезли на время, дав новоиспеченному великому князю нарадоваться досыти, он бы возненавидел их на всю жизнь.

Подскакивают верхоконные дети боярские, окружают возок. Его везут не к дому, а к великокняжескому терему, где на крыльце Шура и мачеха Ульяния со смущенным, немножко испуганным лицом, с хлебом-солью в руках. Как он ее любит, как он любит их всех! (Мария сделала великую ошибку, отказавшись встретить деверя на крыльце теремов и пожаловав к нему со здравствованием лишь назавтра. Ни во что поставил Иван ей подаренные терема, и холодок отчуждения как был, так и остался меж ними. Да и могло ли быть иначе? Тень Симеона, никогда не прочившего младшего брата на стол, неустранимо стояла за его несчастливою вдовою.) Зато Ульяния, обласканная Иваном, вплоть до самой смерти князя оставалась для него дорогою и желанной родственницей, почти матерью, и уж никак не мачехою из сказок. Да и не могла эта тихая, ласковая и еще очень молодая женщина явиться злобною мачехою для своего взрослого пасынка-князя!

...Вокруг гудели голоса, взрывались клики, здравицы, ржали кони стеснившихся у крыльца верхоконных детских, а он держал за руки Шуру и глядел в ее сияющие, подобно звездам, любящие глаза, и ничто уже не существовало для него. И все содеивалось как во сне — и баня, и служба в соборе, и пир, и торжественное сидение (впервые!) в думе государевой, и даже Алексей Петрович, радостный, большой, промелькнул неуследимо сознанию... И даже дети, которых он поднимал, чуя, какие тяжелые стали мальчики, как подросли за время его отсутствия, и целовал мокрые мягкие ротики, гладил и ерошил им волосы, — но даже дети прошли мимо, стороной, отданные на руки мамкам, и уже сил не было разбирать, что чужая, братняя горница, чужой полог, непривычно расставленные и разложенные утвари... Лишь сбросить с себя надоевшие, ненужные порты, отшвырнуть сапоги, которые Шура, по обычаю, сама стянула с супруга, и повалиться в перины, в пуховую мякоть постели, в Шурины объятия и, закрывши от счастья глаза, отдаться упругому теплу ее рук, ее тугим объятиям, властной силе ласк и всегда нежданному, подобному чуду, волшебному содроганию супружеского соединения.

Он уже спал со счастливой улыбкою на лице, а Александра все ласкала своего Иванушку, удивляясь и не понимая совсем, что ее мальчик-княжич, ее женская утеха и зазноба, стал наконец великим князем владимирским.

Впрочем, отдохнуть, понежиться, побыть хотя бы с семьей — и того Ивану не дали. С утра начали приходить с дарами и просьбами, с жалобами и поклонами. Явилась Мария, и он стесненно, не ведая, как ему вести себя с нею, принимал вдову старшего брата, с душевным облегчением сплавив ее на руки Шуре. Явились Вельяминовы, все четыре брата, и надо было их принимать и что-то решать о должности тысяцкого (но это хоть отлагалось до заседания думы!), и еще надобно было помыслить о полоненном рязанами в Лопасне боярине Михаиле Александровиче, тесте старшего Вельяминова. А затем явились свои бояре — старик Онанья, расплакавшийся при виде любимого князя, и Алексей Петрович Хвост, к коему Иван сам готов был броситься на грудь, и расплакаться, и просить спасенья от всей той кутерьмы, лавины дел, и жалоб, и вражды, и гнева, обрушенных на него московитами...

Вечером, успокоясь и придя в себя, отложив все грамоты и дальние дела, похотел и затеял Иван разрешить хотя ближайшее, важнейшее прочего, как представлялось ему самому еще в Орде. Назавтра в Рязань Олегу была послана уклончивая грамота с просьбою вернуть московский полон «ради мира и тишины взаимной», то есть с косвенным признанием захваченной Лопасни рязанским владением. (Боярам Олега Иваныча этой грамоты оказалось достаточно, и тесть Вельяминова был вскоре отпущен на Москву.)

Вдову брата Андрея, Машу, Иван посетил сам. Поглядел в ее смешливое, немножко растерянное лицо, подержал на руках маленького Владимира и повелел (впервые сам повелел что-либо!), чтобы братня вдова и ее бояре, потерявшие села под Лопасней, были вознаграждены иными владениями на рязанском порубежье из числа великокняжеских. И это было сделано, к вящему удовольствию Ивана, быстро и без волокиты и споров.

Но приближалась и приблизилась наконец ожидаемая им с тайным страхом первая большая великокняжеская дума, где он должен был всенепременно утвердить нового тысяцкого, хотя тайною мечтою Ивана было оставить решение именно этого дела до приезда владыки Алексия.

Когда Иван утром выходил из церкви, площадь перед теремами была уже полна народом. И то, что ждут заседания думы, что ради того и сошлись в Кремник и что перед ним не что иное, как самостий-

ное московское вече, стало ясно из первых же возгласов толпы.

— Олексия Петровича! — дружно орала площадь.

— Василь Василича! — кричали иные, вперебой. Но сторонников Вельяминовых явно было меньше.

Уже Иван был у самого крыльца теремов, где дети боярские с трудом сдерживали напирающую отовсюду толпу, а посадские лезли, махали ему шапками, улыбались во всю рожу, когда настиг его молодой, весело-звонкий голос:

— Не сробей, Иваныч! Коломну у Марьи отбери, не то и тот город уплывет к Олегу!

И по тому, как вспыхнула, как дружно заорала толпа — неразличимое, но все об одном и том же, только и слышалось: «Баба на городах! Тверянка! Разор! Лопасня!» — становилось ясно, что голосистый москвич высказал главное, ради чего приперлись сюда сегодня тысячи московского люда.

В думе тоже не было обычного благолепия. Вернее, оно тотчас же разрушилось и потонуло во взаимной пре и яростных возглашениях бояр, что и посохами стучали, и вскакивали с лавок, так что Иван в княжеском кресле, взмокший от страха, не ведал уже, что и вершить.

В просторной дубовой палате ради теплого весеннего дня были вынуты уже слюдяные окошки со стороны сада. Ласковый ветерок порою залетал в окна, овеивая разгоряченные лбы одетых в дорогие шубы и бобровые или соболиные шапки бояр. (Обычай, перенятый у татар, сидеть в шапках, уже прочно утвердился в думе государевой.)

Заседание открыл старик Онанья, сказав кратко, что город без тысяцкого шумит, исправы нет никакой, и поскольку Василий Протасьич умер, надобно утвердить или уж Василия Васильича, или Алексея Петровича Хвоста, который и годами повозрастнее, да и давно уже заслуживает высокого звания. Еще покойный Юрий Данилыч его отцу Петру Босоволку обещал место тысяцкого на Москве. Услыша восстающий при этих словах ропот, Онанья развел руками, поднял бороду, возгласил: «Судите сами, бояре!» — и сел под умножившийся говор и рябь возгласов.

Алексей Хвост поднялся, большой, осанистый, с виду спокойный. Обвел взором готовое взорваться враждою собрание. Громко возгласил, вопрошая:

— О чем спор? К чему шумим, господа? Выберут меня ли, Василья ли — то воля Москвы (он показал рукою на окна, за которыми орала толпа горожан) и милость княжеская (он склонил голову в сторону Иван Иваныча). А только я об ином хочу прошать, о том, про что ныне вся Москва шумит! «Доколе терпим?» — прошают москвичи. Достоит у княгини Марьи отобрать Можай и Коломну, пока новой пакости не произошло, яко же и с Лопасней! Выберут меня — свершу по слову князеву, как и обещал. Изберете Вельяминова — Василь Василич, не посетуй уж на меня! — на иную дело повернет, понеже Вельяминовы волю покойного князя блюдут!

Сказал и сел в уже подымавшемся волною шуме толковни. Просто сказал! То сказал, что кричал давеча мужик из толпы. И... так бы и содеять, по слову Алексей Петровича. Но поднялся Феофан. Прямой, строгий. Молвил громко, не столько боярам, сколь самому князю:

— Переменить завещание Симеона Иваныча может только духовная власть. Надобно ждать владыки Алексия!

То и так высказал, что показалось тотчас Ивану Иванычу, он бы и сам это придумал, еще прежде боярина Феофана. Да, конечно, сколь бы ни был прав Алексей Петрович, а выждать владыку Алексия всяко надобно!

Но вновь тучей поднялся осанистый Хвост. Попросил слова вдругорядь, поелику не все потребное высказал, и Иван, склонив голову, позволил ему и во все глаза смотрел на своего боярина, пока Хвост трубным своим гласом заливал всю думную палату:

— Доходы с городов тех идут княгине Марии и уплывают в Тверь родичам ее, братьям Всеволоду и Михаилу! И Василью Кашинскому достается, недаром Симеон Иваныч супругу свою на руки кашинскому князю поручил! Не шумите, бояре, правду баю! А кто обороняет те города? Кто воеводы, сколь ратных, готовы ли к нахождению бранному? Не ведаете?! И я не ведаю того! Василий кричит, что готовы, а я не верю сему! Не женское дело — грады оборонять! Не возможет того вдова нашего покойного князя, не возможет! Лопасня тоже была готова! Для кого только?! — отнесся он уже прямо к Вельяминовым, которые сидели рядом, Василий Василич с Федором Воронцом. — А Ольгерд нагрянет?! Шумите, бояре, пуще шумите! А молвите мне, што, ежели нагрянет Ольгерд и возьмет Можай? А Олег Иваныч тем часом изгоном заберет Коломну? Пока будем сожидать владыку Алексия, того и дождем! Вельяминовы уперлись, а земле разор, на мытных дворах бестолочь, обозы стоят, страдает торг, и все то — вельяминовские затеи! Лопасню уже потеряли, и не было ли в том перевета — бог весть!

Окончил Алексей Петрович уже при шуме и выкликах всей думы. Окончил, обвел очами супротивников своих и ряды бояр на лавках и сел. Победно, гордо сел, в сознании силы и правоты.

— Ишь, выскочил! — пробурчал Иван Мороз Елизару. — Будто и без них не знали! Всем ведомо, что Можай с Коломной не княгинин кус, да надо ли спешить так сразу и рушить волю князя Симеона?

Елизар поглядел на племянника, усмехнув в один ус, повел рукою в парчовом наруче, показав молча взмятенную думу, — мол, и не втолкуешь им теперь ничего! — махнул рукою, уложил длани на колена, набычил шею, готовясь слушать молча все подряд, какая бы безлепица ни была нынче произнесена.

Василь Василич уже стоял на напруженных ногах, почти готовый ринуть в драку. Иван Иваныч, коего Хвост почти нацело убедил, со страхом взглядывал теперь на старшего Вельяминова, одного пламенно желая всей душой: чтобы его бояре как-нито, а поладили друг с другом.

— В торгу обозы держит Алексей Хвост! — выкрикнул Василь Василич. — От него все и пакости на Москве! На судное поле!.. — до боли сжав кулак,

так что вонзились в ладонь холеные ногти, Василь Василич все же овладел собою, заговорил спокойнее, хотя хоровод лиц перед ним плыл неразличимо и было такое, что впору вырвать саблю и рубить, рубить и рубить. — Давно ли, давно ли отец... — У него прыгала борода, глаза сверкали огнем. — Давно ли покойный батюшка сам, своими руками боярскими трупы собирал по Москве! Что-то не ведали мы тогда близ себя боярина Хвоста! Давно ли клялись князю нашему на ложе смерти его... Воля покойного князя священна! — выкрикнул он. — Ежели мы будем без всякого повода перечеркивать княжеские духовные, кто нам поверит тогда?! Не станет ни власти, ни чести, не останет веры никому и ни в чем! Помыслите об этом, бояре! И всяк из вас смертен, и у всякого надея одна: да не порушили бы волю его посмертную!

Именно тут, с этих слов, оправившийся немного Иван Иваныч начал вслушиваться в то, что говорит Вельяминов, и понимать, что говорит он, хоть и кричал поначалу неподобно, и дельно и глубоко.

— И Можай, и Коломна все одно в Московской волости и никуда не убегут от нас и от князя нашего! — отнесся Василь Василич к Ивану Иванычу, и тот готовно утвердительно склонил голову. — А уж кричать, врываться неподобно в терем княжой, как содеял Алексей Хвост, творить смуту на Москве, чтобы все знали, что нам князей своих слово переменить — что воды испить из колодца, — неподобно есть! Тебе, Алексей Петрович, — выкрикнул он в лицо привстающему, с набрякшим кровью лицом, Хвосту,— тебе одно надобно: выскочить! Вот-де я каков! Вот-де я за правду стою!

— А ты сколь ждать прикажешь? — рыкнул, вскочивши, Хвост. — Год? Десять летов? А может, сотню? Княгиня и до ста лет доживет! Молвить тебе неча, Василий, лишь бы поперечь идти! — И, не дожидая князевой остуды, с маху с треском сел опять на лавку, весь мокрый от гнева и крика.

Василь Василич глядел на Алексея Хвоста, бледнея, и ноздри у него уже шевелились от ярости.

Утишить готовых вцепиться друг в друга великих бояр поднялся даниловский архимандрит. Ветхий старец, он хриплым голосом, спервоначалу неслышимым в общем шуме, начал усовещивать председящих. Добившись относительной тишины, простер руки, обращаясь сразу ко всем, возгласив:

— Великий князь! Бояре! Послушайте меня, старика, ведавшего мысли обоих наших князей, в бозе опочивших! Волости те, из-за которых встала пря, дадены Симеоном Иванычем в надежде на рождение сына, коего не родилось, по грехам нашим, у Марии Александровны, и посему мыслю я, что со временем и волости те и грады станут володением нынешнего нашего князя-батюшки Ивана Иваныча. Пождите, братие, владыку Алексия! И паки реку, напомню днесь, о чем мыслил, чего хотел Иван Данилыч, батюшка твой, княже! Чем сильна, чем красна власть московская? Тем, что опочившие наши князья мир принесли земле, опасли страну от ратного нахождения, расплодили язык русский! Вот уже скоро три десяти летов — и ни одной войны, ни единого гибельного разорения не ведала земля московская! Выросли уже и дети во взрослых мужей, не ведавшие гибельной брани. Так не разрушайте сами мир на московской земле, не вносите которы в согласие братне! Вот о чем погадайте, бояре, вот о чем помыслите пред лицом Господа!

Старик вдруг заплакал, не утирая слез, и погодя, махнув рукою, сел, боле ничего не сказавши. Но и тем паче иного утишил бояр. Сел Вельяминов; достав плат и посопев, обтер взмокшее чело Алексей Хвост. И тогда негромко заговорил Дмитрий Зерно, внимательноглазый костромич, заговорил, обращаясь к Хвосту, словно бы уговаривая маститого боярина:

— Забрать волости те у княгини Марии никогда не поздно! Но вредно спешить. Надобно таковое дело творить потиху и с заглядом в грядущие веки! Возможно, что и сама княгиня Марья отступит тех волостей — ведь дал-то их Симеон Иваныч ради мыслимого рождения сына! Пройдет еще десять — пятнадцать летов, подрастут дети, утвердится, станет привычною власть московская, и пусть тогда тверичи кричат, что они законней, и им скажут: были некогда, а теперь законен тот, кто правит уже сорок лет, кто мир дал языку и землю расплодил! Но прожить эти годы возможно токмо во взаимном дружестве! А пойдет Ольгерд на Можай — ино дело! В военную пору само совершит потребное! Ныне же не надобно нам обижать Тверь, нельзя раздувать нелюбие меж нашими городами! С суздальским князем нет доброго согласия, с Новым Городом мы и вовсе немирны есьмы! Но Тверь для нас всего опасней, у них глубок корень, земля помнит Михайлу Святого, помнят и многие обиды, промеж нас творимые! Недостоит творить нам новой обиды тверскому дому!

Сказал Дмитрий Александрович, и вновь стало ясно князю Ивану, что не прав Алексей Петрович, что не надобно спешить, ни обижать братню вдову, а с нею и весь тверской дом, — тем паче, ежели все само собою устроится! Но встал Хвост и вновь потребовал слова.

— Ишь, как далеко хватанул, боярин! — с укоризною вымолвил он. — Все-то мы вдаль глядим! — Он развел руками округло. — А что вблизи деется, кто чьего родича в тысяцкие ставит и за то гребует Москвою-матушкой, не видим совсем! Тверь, вишь, не обижай! А своих можно, свои вытерпят! И что-де будет через десять летов?! Да мы сейчас которуем друг с другом, и пока те земли у княгини не отберем, которе той конца-краю не узрим! А забрать нынче, немедля — и распря та утихнет меж нас! А Тверь тут за волосья притянута! Сии злобы о волостях наши, московские! Сколь хорошо, — отнесся он вновь к Вельяминову, — высокими-то помыслами свое вожделение прикрывать! И я вожделею! — ударил себя в грудь Хвост. — Славы, власти хочу, каюсь! Но не кривлю душою при том, не кривлю! Коли хочешь мира на Москве, Василий, уступи, вот и все! А не то давай пойдем вместях на площадь да вопросим люд московский: кого хотят в тысяцкие себе? Слышишь, кричат! Али трусишь того?!

Василь Василич встал, хотел сказать, крикнуть, заклеймить наглеца — и не мог. Его словно что ударило. Он понял, что готов убить Алексея Хвоста, понял, что это совершит непременно, и растерянно оглянул, показалось, что и другие прочли его мысли и ужаснули тому. Так и не сказал ничего, сел. И может, именно в миг этот безотчетно решился побарать зло злом, убийством восстановить правду, попранную честь рода Вельяминовых, больше полустолетия возглавлявших и творивших дело Москвы. (И попрал, и одолел впоследствии врага, но прошли немногие десятилетия — и погиб, расточился, истаял едва не весь род Вельяминовых, и сын его Иван, вослед отцу поверивший, что злоба есть праведный путь и наказания за зло нету, погиб на плахе... Воистину, грехи отцов падут на детей!)

Смолчал Вельяминов и тем нежданно очень помог себе. Задумались бояре, крепко задумались, ибо просквозило каждому: волости волостями и грады градами, а то ли мы творим, меняя, как хочет того чернь, Вельяминовых на Хвоста? И тут бы сказать одно лишь слово разумное, но встал старый боярин Иван Акинфич, многовотчинный, богатый добром, челядью, сынами, уважением ближних; поднялся, поддерживаемый со сторон Андреем и Владимиром Иванычами, старшими сынами, коих успел уже всадить боярами в думу великокняжескую, и начал словно бы уклонливо, и туда и сюда: и ты, мол, Василий Василич, красно говорил, и ты, Алексей Петрович, красно!

— Только Алексей Петрович — не обессудь уж, Василь Василич, меня, старика! — понятней сказал! Чего тянуть? Чего ждать, неуж и впрямь нашествия Ольгердова? А коли такое совершит, дак поспеем ли мы и себя-то защитить? Помыслите, бояре, вот о чем: не так давно правили мы тут свадьбы княжеские, ну, не правили, а разрешали, так скажем! Ольгерд, значит, на Ульянии Александровне, на сестре родной нашей Марьи, теперь женат, да, так вот! Дочку, опять же, отдал за Бориса Костянтиныча Суздальского, а Костянтин Василич с нашим князем о великом столе тягался и ныне не зело мирен! А на дочери Костянтина Василича женился князь Михайло Александрович, что недавно в Москву наезжал на погляд к сестре, ко княгине Марье, значит... Ну, а потом на другой погляд поедет, ко второй сестре, в Вильну, к Ольгерду на гостеванье, значит! Так вот, бояре! Ошибся маненько покойный Симеон Иваныч, царство ему небесное, когда согласие давал на сей брак. Дак теперича бы нам той ошибки вновь не совершить! А зайдет Ольгерд в Можай — его оттоле ой нелегко будет вытурить! А что Василь Василич о чести говорил тута, и я тому верю! И как тут скажешь? На еговом месте-то? Не можно Вельяминовым ряд порушить, ни волю покойного князя изменить! Ну, а Лексей Петровичу... — Иван Акинфич с прищуром глянул, обозрел широкого, вновь уже мокрого от судорожного поту боярина, усмехнул и неслышно совсем, уже сделав движение опуститься вновь на лавку, приговорил: — Лексей Петровичу изменить волю князя покойного — мочно! — И сел.

И стало ясно теперь не одному даже Ивану Иванычу, что тысяцким ради дела господарского, дела всей московской земли надобно ставить Хвоста. И за окнами орали, и слышалось чаще и громче: «О-лекси-я Пет-ро-ви-ча!»

И решился было Иван. Но глянул в застылое, твердое лицо Феофана, так и не произнесшего больше ни слова, воспомнил владыку Алексия и, Алексия убоявшись, проговорил:

— И мы, своею княжеской волею, о том помыслим!

Дума загудела обиженно и облегченно. Не все было дотолковано, но не в драку же лезть? А владыку Алексия сожидали очень многие, и слишком слушаться черни, ревевшей под окном, также хотелось далеко не всем. Но и Василь Василич, воскресший было после заседания думы, многого не угадал, не постиг и явно недооценил Алексея Петровича Хвоста.

Дела после думы пошли еще хуже. На какое-то время ссоры и свары были притушены весенней страдою. Бояре, ратники, челядь — все были в полях. И великие бояре московские, забывши на время взаимное нелюбие, вставали в четыре часа, кидались на коня и допоздна объезжали деревни, строжили посельских, сами отмеряли и отсыпали зерно на посев, стояли у кузнечного, шорного, колесного дела. Чтобы пахарь мог выехать в поле — немало дел и боярину! Но чуть только свалили страду, отвели пашню и покос, нелюбия вспыхнули с новой силой.

Иван Иваныч мужественно тянул, тянул изо всех сил, дожидая Алексия. И Алексей Петрович решил попробовать последнее, отчаянное средство. Придя к князю, повалился ему в ноги, зарыдав. Испуганный Иван кинулся подымать и утешать старика. Алексей же Петрович рыдал взахлеб, бормотал о том, что его затравили и ищут убить, и слезы, взаправдашние слезы текли у него по усам и бороде.

Хвост все же добился своего. Иван Иваныч был потрясен. Он и по уходе боярина продолжал видеть Хвоста в унижении, распростертого ниц, и весь заливался алым румянцем стыда и каял, что не уступил враз, не проявил твердоты, хотя вся Москва (теперь уж казалось, что вся Москва!) требовала от него поставить тысяцким Алексея Петровича.

Когда дошли известия о поставлении Алексия, Иван Иваныч был на седьмом небе от счастья. Но минул срок, в Царьграде свергли Кантакузина, и вместо самого Алексия на Москву пришел запрос от него с настоятельною просьбою о денежной помочи. Денег не было. И тут снова явился Хвост. Иван Иваныч за краткие месяцы своего владычества порастерял радостную уверенность в добре. А неподобное творилось уже повсюду. Кроме размирья с суздальским князем и необъявленной войны с Новым Городом (ни он, ни они не посылали ратей друг на друга, но дани не шли, московского наместника выслали с Городца, торг страдал — словом, было все, что бывало и в прежние размирья с Новгородом, кроме военной страды и разора), сверх того, начались свары и пакости в Муроме меж тамошними князьями, и Иван Иваныч не умел и не мог вмешаться и навес-

ти порядок. Невообразимое творилось и в Брянске, где вечем гнали своего князя, и уже недалек виделся день, когда грозный Ольгерд явится и туда со своею победоносною конницей.

Неподобное творилось всюду. Земля Московская, властной рукою Симеона поставленная в один ряд с первыми государствами Восточной Европы, сковавшая натиск Литвы, державшая в своей руке Новгород, земля, от которой по паутинной дрожи политических межгосударственных связей зависела судьба Богемии, Польши, Ордена, даже и самого далекого Цареграда, начинала неприметно выпадать из круга этих высоких связей, проваливать куда-то в низы, в ряды второсортных государств, от коих мало что или совсем ничего не зависело в мире. И совершалось это без войны, без захватов и одолений, а как-то так, само собою, быть может, лишь из одного непроворства человека, не в силах которого была вышняя власть.

Хвост явился к Ивану Иванычу как спаситель. Он все брал на себя: тяжкие переговоры с Марией, добычу серебра для Алексия. Ему надобно было только одно, и это «одно» Иван Иваныч вручил ему почти украдом, таясь от жены, подписавши наконец грамоту, по которой Алексей Петрович Хвост становился московским тысяцким. Хвост отплатил своему князю со своеобразною честностью. Выколотив из городов Можая и Коломны, наконец-то переданных Ивану Иванычу, все, что мог, и еще того более, залез в сундуки всех своих соратников (впрочем, не миновавши и своего собственного сундука) и предоставил просимое серебро даже с лихвой. Деньги были незамедлительно отосланы в Константинополь.

Александра Вельяминова узнала о назначении Хвоста только к вечеру, от своего брата. Причесываясь на ночь перед серебряным полированным зеркалом, она все гадала, как и о чем станет говорить с Иваном. Попеременно то страдала, то гневала. Ловила себя на том, что не так обижена за брата (не был близок ей Василь Василич и в детские годы), сколько на то, что князь Иван поступил, таясь от нее, то есть как бы посчитав и ее своею врагиней. Это и обижало и пугало несколько. Допрежь сего Иван, как казалось Александре, из воли ее никогда не выходил, а уж тайностей от нее не имел и подавно.

Так, не ведая, что сказать, она и встретила супруга, который, почуяв сразу же, до первых слов, что жене все известно, начал взволнованно ходить по горнице и говорить то сердито, то жалобно, оправдывая себя и обвиняя Василь Василича и Марию, не похотевшую сразу же отказаться от ненадобных ей порубежных городов.

— Да, не ведаю, не понимаю! Андрей был бы лучше меня! Тогда, в думе: кто что ни говорит, а я тотчас и верю тому! Может быть, и Алексей Петрович днесь обманывает меня, не ведаю! Ничего не ведаю ныне! Я ждал владыку Алексия! И пусть он явится на Москве, все ему передам, всю власть! Мне это страшно, ненадобно, тяжко, но я один! И они все говорят — так надо! В монастырь мне уйти? Бросить тебя? Кто тогда станет на Москве? Да, да, да! Пусть духовная власть, пусть владыка Алексий! Но не власть твоего брата! Я не ворог ему, я выкупил его тестя, Михаил Александрович вновь свободен и на Москве, и никто не лишен волостей, ни сел, я ни у кого ничего не отобрал, никого не утеснил, пойми! А мне доводили, баяли! Тот же Алексей Петрович! Московская тысяча?! Но я сказал ему: пусть все они служат по-прежнему! Пусть под началом Алексея Петровича, пусть, кто хочет, уйдет, но чтобы никто не был лишен службы! И я не велел Алексею Петровичу никого разгонять, ни мстить никому!

Ты хочешь возразить, что они сами в ссоре, что ратные дрались целый год друг с другом... Но зачем драться, надобно друг друга любить, да, любить! Теперь мне говорят, что я разоряю налаженное Вельяминовыми хозяйство Москвы, что люди привыкли... Но ведь эти люди и кричали: «Хотим Алексей Петровича!» Они хотели, не я! И да, да, да, да, и я хотел! Наконец, Алексей Петрович мой боярин, понимаешь, мой! Даже если я не прав, это мнение Москвы... и пусть... Лишь бы не было свары... И что я должен был содеять? Оттолкнуть, ставши князем великим, своих бояр, что служили мне верою-правдою?! Да хочешь знать, Мария сама приходила ко мне, передала грамоты, не Алексею Петровичу, а мне, мне самому! И даниловский архимандрит уже подписал! И не гоню я братню вдову ни из терема, ни из Кремника! То подлые люди говорят! Почему, почему... Вы все — и ты тоже! — хотели меня князем великим! Я не хотел! Я хотел как лучше, чтобы всем...

Александра решительно привлекла к себе своего уже почти плачущего князя и заключила его в объятия, запустив пальцы в шелковые кудри Ивана Иваныча... А что еще оставалось делать Шуре Вельяминовой?

Три четверти века — всегда большой срок. Три четверти века бессменно стояли Вельяминовы во главе града Московского. Целые поколения, династии, семьи связывали свою судьбу с судьбою потомственных московских тысяцких в делах ратных и торговых, посольских и ремесленных. Не случись чумы, не нахлынь в Москву новый люд из ближних и дальних деревень и погостов, ничего бы не смог добиться Алексей Петрович Хвост. Но и теперь, когда он добрался до власти, нестроения начались великие. Кому и как собирать мыто на заставах? Кто должен наряжать ямщиков, давать ругу попам, снабжать городские монастыри, разбирать дела купеческие и ссоры посадских друг с другом, тем паче теперь, когда новые москвичи без конца препирались со старыми и друг с другом, точно птицы, усаживающиеся на новое гнездовье? Кто должен следить за прочностью стен, наряжать сторожу, чинить городни, ведать дороги, ямы и подставы, ковать коней и чинить сбрую, снабжать Кремник и двор? На все то были у Вельяминовых верные и толковые слуги, дворовая челядь и старшие дружин, посельские и ключники, казначеи

и конюшие, бортники, осетрники и медовары, подобные княжеским, городовые послужильцы, посыльные и приставы... Все старшины цехов и купеческая верхушка по всем своим многоразличным надобностям знали одну дорогу — на вельяминовский двор. И теперь, когда тысяцким стал Алексей Хвост, москвичи, скоро опомнившиеся от первых восторгов при смене власти, впали в полное недоумение. Ежели до сих пор, несмотря на сшибки хвостовских с вельяминовскими, вся эта налаженная за десятилетия система худо-бедно, но продолжала работать, то теперь возник сущий развал и разор.

Внеочередной серебряный бор, проведенный Хвостом, озадачил и обозлил многих. Ежели так и дале пойдет, толковали москвичи, покачивая головами, то, похоже, обменяли мы кукушку на ястреба! Великих трудов стоило Алексею Петровичу, хоть он и старался изо всех сил, повернуть, подчинить себе и возглавить всю эту налаженную вельяминовскую махину. И потому еще он и принял безо спору предложение Ивана Иваныча — взять на себя вельяминовских военных послужильцев московской тысячи, погубившее его впоследствии. Хотя прежде не мог бы подумать о таковом, памятуя о преданности вельяминовских слуг своему господину.

В тереме Вельяминовых в эти дни также творилось невесть что. Разор и разброд стояли великие. Толпами приходили черные люди и купцы, хоть Василь Василич и отказывался кого-либо принимать. Приходили по-старому просить защиты и исправы, не ведая, не понимая, как им жить дальше при новом тысяцком. Драки хвостовских с вельяминовскими кончились, но стало еще страшнее. Били тайком, по углам, били и тех своих, кто переметывался к Хвосту. Били друг друга, плакали от стыда и злобы и не ведали, что вершить. Руга от Вельяминовых ратным уже не шла, и даже самым упорным приходилось решать: как жить далее и куда деваться? Шумел люд в мастерских боярского терема, где тоже творилась безлепица. Многие мастера стали не нужны Василь Василичу. И сейчас он, не показываясь никому, вел трудные переговоры с братьями, дабы распихать хотя по родне-природе людей, выросших, а то и состарившихся в дому Протасьевом, отсылать коих на посад кормиться невесть чем было бы соромно...

По всему по этому прежний строгий порядок в доме рассыпался, не в редкость стало видеть шатающуюся без дела прислугу или кого из дворовых холопов в чистых господских горницах, где дорогое узорочье, ковры, камки, оружие и посуда. Не было ладу и на конном дворе, и в кладовых, и в челядне, где день и ночь толклись, обсуждали, поминутно хлопали двери, кто-то приходил, кто-то уходил...

Безлепица эта очень пригодилась Никите для того, чтобы уже не украдом и изредка, а почти открыто встречаться с Натальей Никитишной, которая после святочного катанья начала взглядывать на упорного старшого уже без прежнего снисходительного лукавства.

Вот они сидят в тесной боковушке друг против друга, почти колени в колени, и Наталья Никитишна, медленно перебирая пальцами бахрому платка, изредка взглядывает на молодца своими огромными, в темных долгих ресницах, сказочными глазами. Взглянет — и как отокроется бездна: не то улететь, не то падать куда невестимо. И вновь опустит очи, и тогда только бархомчатая тень ресниц лежит у нее на нежных щеках.

— Ни к чему это все, Никиша! — говорит она негромким печальным голосом. — Для баловства — дак мне не надобно того! А так — дядя нипочем не отдаст! И Василь Василич, сам ведашь! Может тебя и убить... Не будет нам с тобою удачи! По себе лучше ищи, мало ли невест на Москве!

И опять глянет, и опять сердце готово оборваться у Никиты. Когдатошнее, нетерпеливое — схватить, смять, чтобы дурманно таяла в руках, — ушло; теперь он терпелив, глядит, скованно слушает, не позволяя подняться в себе новой горячей волне. А она перебирает и перебирает шелковую бахрому летней шали и взглядывает, говорит, и сама уже не понимает, не верит: вправду ли хочет, чтобы он оставил ее?

— Куда ты теперь? — прошает. — Али останешь у Василь Василича?

— Нет... Проститься пришел, — отвечает он и снова молчит. Как сказать, и как ей сказать, чтобы поняла, постигла, догадалась об ином несказанном? Лицо старшого суровеет, становит резче короткая складка меж бровей, становит тверже рот, когда он произносит главное: — Куда мне из московской тысячи?! Ругой живу! Одна деревня была, и ту брату отдал! К Хвосту перехожу! — решается наконец он.

Она подымает свои railписные очи. Медлит, не понимает. Приоткрылся жалобно рот. И такое отчаяние в лице, что Никита едва не проговаривается. Он крепко берет ее за запястья узких нежных рук, держит, хотя она рвется, хочет вытащить руки, вскричать, убежать от него.

— Помнишь, княжна, — говорит он, ошибкою называя тем, своим, потайным именем, — что я говорил тебе, когда умирал Василий Протасьич?

Она смотрит, не понимает, в слепых от обиды глазах начинается гнев... И все-таки думает, и вспоминает, и пытается, по-прежнему надменно, приподнять бровь.

— Дак вот, помни! — Глаза старшого горят, завораживая, темным, мрачным огнем. — Как я сказал тебе в те поры, что нету слуг у Василь Василича вернее меня, так и посейчас скажу! И за тебя умру. И не уступлю тебя никому! Веришь?

Она не понимает, но руки слабнут, опадают плечи, глядит потерянно, ищет смятенно: что же, зачем же тогда?

— Я, быть может, здесь перестану и бывать, — продолжает он, — хвостовским нет ходу в терем Протасия. Но когда и все отрекутся и отступят, все как один, то и тогда... Иного не вымолвлю. Не мочно! Веришь ты мне? — И, не давая ей возразить, добавляет поспешно: — Ты должна мне верить! Без тебя, без веры твоей не возмогу, сорвусь. Дуром погину на чем... Без толку. Без дела!

Она освободила руки из его дланей, сцепила пальцы, не глядит. Вот сейчас скажет: «Не верю!» Или же встанет и уйдет молча. И тогда все, конец! Нет, робко подымает вновь отемневший, ищущий взор.

— Чего-то я не должна знать? — спрашивает совсем тихо. И Никита коротко, благодарно склоняет голову. — Тогда... поклянись!

Он готовно вынимает из-за ворота медный чеканный крест. Оба встают, подходят к божнице в углу, где потускло смотрят на них скорбные глаза Богоматери.

— Крестом этим клянусь, — говорит Никита, — что не изменщик я господину своему и не куска хлеба ради свершаю то, что свершаю однесь! Об ином, Господи, сам веси тайная сердец человеческих!

Она достает тогда свой маленький серебряный крестик, подносит к губам, повторяя вслед за Никитою:

— И я клянусь... Никогда... Ежели ты, ежели мы с тобою... — И не ведает, что еще сказать, ибо только сейчас доходит до нее самой смысл этой ее клятвы-обещания, невольно высказанной когда-то развлекавшему ее своею настырной любовью, а теперь уже почти страшному для нее ратнику, сумевшему нежданно-негаданно возмутить весь ее спокойный, монашески-девичий мирок и даже вытеснить из сердца образ покойного, некогда любимого супруга.

Он держит ее за ладонь. Сжимает так, что становит больно пальцам, и медленно, с осторожною силой великой любви прижимает ладонь к своим горячим губам. И она стоит так мгновения, полузакрывши очи, теряя волю над собой... Но звучат шаги, скрипит под ногами лестница, и она облегченно отваливает к стене, опоминаясь, меж тем как любопытная сенная девка, засунувши нос в горницу, понятливо озирает и молодую вдову, и хмурого Никиту, который, не сожидая лишней бабьей кутерьмы, говорит нарочито громко:

— Дак я передам, чего нать! Так и скажу, мол, Наталья Никитишна велела! — И с тем выходит вон из покоя, слегка пихнув глазастую девку плечом.

Василь Василича, как и предполагал Никита, о его решении перейти к Хвосту предупредили загодя.

Боярин встретил Никиту темный, страшный зраком. «Дал бы высказать! Не то захвостнет во единый взмах!» — подумал Никита, не то что робея, а собираясь весь, словно бы в сечу или перед прыжком.

— От многих ждал, от тебя не чаял измены! — вымолвил наконец Василь Василич, и в угрозе голоса просквозила горечь.

Надломился он, крепко надломился за эти недели, понял Никита и даже пожалел про себя старшего Вельяминова. Подумалось еще: насколь проще так вот, как у самого Никиты, ничего не иметь! Тогда и падать легче, и вставать способней!

Усмехнул Никита. Прямо глянул в суровые очи боярина. Закричит? Ударит? Рванет нож с пояса? Все это пробежало в уме, и все могло совершиться в сей час, но отступил Василь Василич и руку, поднятую было, уронил...

— Думал, верил: один ты, ан... На какую гривну поболе дал тебе Алешка Хвост? — вопросил с жестокою горечью. Много и многих потерял боярин за считанные дни своего позора и остуды княжой!

— Что ж ты так дешево себя оценил, боярин? — вопросил Никита, помедлив, и насладился вполне тем, что сотворило с ликом Василь Василича в те короткие мгновения, что отмерил он боярину и себе до следующих сказанных слов: — Дороже бы я продал тебя, Василь Василич, коли б затеял продавать! — И пошел, и уже от порога, поворотясь, молвил негромко и строго: — Тебе, што ли, «там» свои люди не надобны?

Неведомою силой очутился Вельяминов прямь перед ним, и Никита тогда, прислонясь к двери спиною, совсем уже шепотом (уведает кто из прислуги — донесут) договорил:

— На людях — об одном прошу, боярин, — изругай меня пуще! Чтоб и другие поверили!

Тут вот схватил Василь Василич Никиту цепкою пятернею за воротник на груди, рванул с мясом расшитую рубаху, хряпнула крепкая ткань, — и ослаб, замер, трудно дыша, склонясь к лицу Никиты, к его очам. Чуть сузил зрачки Никита, точно кот, когда ему прямо поглядят в глаза. И оба поняли, молча.

— Коли так, не забуду... — пробормотал боярин и, глядя на порванную рубаху старшого, начал было искать в калите на поясе. Никита отмотнул головой, рассмеялся от души. Свой все-таки был боярин, свой! Понял-таки! Любовно озрел Василь Василича. Сказал, поворачиваясь:

— Того лучше! — И, отворя двери, пошел переходами и лестницами, гордо выставляя всем встречным порванную боярином грудь.

Вечером того же дня Никита резался в зернь с хвостовскими, ругался и хвастал в княжеской молодечной, выглядывая меж тем своих, вельяминовских, перешедших, как и он, на новую службу, и по мордам, по смурым, лихим или спесивым рожам гадал: кто с чем приволокся к боярину Хвосту и можно ли будет с кем-нито из них (и как, и когда?) иметь дело?

Хвост, в отличие от Вельяминовых, хозяйничавших по-старому, имел в своих селах обширные запашки хлебов, и рабочих рук в горячую пору жатвы ему никогда не хватало. Поэтому, когда подошла осенняя страда, Кремник как вымер. Всех ратных, кого мочно и немочно, отослал Хвост на косьбу яровых. Никита, хоть попотеть пришлось изрядно — в наклонку горбушею поработай с отвычки весь день! — в душе, однако, одобрил боярина за деловую хозяйскую хватку. Кормили мужиков тут же, в поле, и кормили сытно. Спали в шатрах. Высокие возы со снопами сразу отвозили на гумно, благо погоды стояли на диво способные. Солнце ослепительно плавилось в выцветающем от жары небе, смутные, копились где-то на краю окоема и таяли высокие, точно неживые облака, и легкий, порывами набегающий ветерок едва колебал знойную сытную волну спелого

хлеба, весь день стоявшую над полем, над мокрыми спинами мужиков и лоснящимися конскими боками.

И все бы так и перешло в доброй русской работе, кабы не совершилось новой хвостовской пакости. Рядом с теми полями, что убирали дружинники, притулился спорный клин покоса, который о сю пору выкашивали Вельяминовы. Были тут, случались и драки в покосную пору, и с горбушами ходили друг на друга, но теперь мирно стояли по полю уже слегка осевшие, пожелтевшие, круглые стога сена, и было тихо до зимней извозной поры.

Явившийся обозреть жатву Хвост подъехал верхом к крайнему стогу, потрогал плетью, вопросил что-то у своего посельского, кивнул головой. Наутро Никита, замешкавший с мытьем котла, увидел, как хвостовские молодцы молча и споро грузят чужое, вельяминовское, сено, а Хвост стоит, высясь на коне, окрай поля, уперев руки в боки, и провожает глазами уходящие один за другим возы. Полдня возили сено. Потом, невесть почему, начали поджигать останнее, что еще не успели увезти. Вельяминовских, что появились ввечеру, встретили едва не с оружием. В сшибке — хвостовских было четверо на одного, и вельяминовские отступили — Никита не участвовал. Смотрел, побелев лицом, кусал губы. Подмывало бросить все и ввязаться в драку на стороне своих. Но перетерпел. Дуром порушить дело не годилось ни с какой стороны. Продолжали жать. Те, что участвовали в драке, ворочались распаренные, веселые, в ссадинах и синяках. Хвастали:

— Ну и дали мы ентим! Боле не сунутце!

— Что ж ето деитце, старшой? — негромко вымолвил ему назавтра, подавая снопы, Матвей Дыхно, один из бывших вельяминовских, молчаливый и старательный мужик, который, заметил Никита, тоже, как и он, не полез давеча в драку с бывшими своими сотоварищами. — Сожидали хозяина, а дождали татя? Так и учнем друг на друга с дубьем ходить?!

Никита только глазом повел: погоди, мол! На кратком отдыхе — только что отослали с хвостовским возницею воз — упал в колкую стерню, головой утонув в бабке горячего от солнца хлеба, и сквозь хлеб, не расцепляя зубов, чуть-чуть лениво проговорил Матвею, повалившемуся навзничь на той стороне бабки:

— Язык чешешь али взаболь забрало?

Дыхно поворотил голову, помолчал, обмыслив нежданные тихие слова бывшего вельяминовского старшого.

— А я ить думал, ты с има, с хвостовскими, теперя! — возразил, и тоже негромко.

— Взаболь, значит? — подытожил Никита и спросил, переворачиваясь на бок и глядя в высокие небеса: — На дело пойдешь?

Тихо стало за бабкой. И Никита не торопил. Текли мгновения. Наконец раздалось осторожное:

— Третьего нать?

— Кого? — вопросом на вопрос отмолвил Никита.

— Ивана знаешь, Видяку? Из наших мужика?

— Конопатого-то? — уточнил Никита.

— Ага.

Оба помолчали.

— Не продаст? — деловито осведомился Никита.

— Ни! Ни в жисть. В деле с им бывал! — ответил Матвей.

Близко простучала приближающаяся телега. Никита пружинисто вскочил на ноги.

— Айда грузить, Матвей!

Больше до вечера не перемолвили они ни словом, но работали оба по-новому, дружно, чуя друг друга, как чуют добрые плотники, когда ставят клеть и без слова берут, оборачивают и садят отесанное бревно.

Только уж вечером, дохлебывая дымное варево у походного костра, Никита предложил Матвею пройти бредешком прудок, что приметил он давеча за рощею.

— Третьего бы кого... А на ушицу там карасей, чую, будет как раз!

Дыхно молча кивнул, и скоро все трое (третьим оказался Иван Видяка) отправились с бреднем за рощу.

— Недолго шастай тамо! — сердито окликнул их хвостовский старшой. — Не то утром не добудишься, так вашу...

— Мы мигом! — отозвался Никита, не поворачивая головы. И пока шли до пруда, едва двумя-тремя словами перекинулись мужики. Да и потом — кто бы послушал ихний редкий, сквозь зубы, разговор, поминутно прерываемый возгласами: «Держи! Тяни, тяни! Ниже опусти тетиву! Коряга тут, мать... не задень!» — кто бы послушал, мало что и понял из почти косноязычной речи мужиков: бывшего старшого и двоих ратных, что сейчас совсем по-крестьянски, в лаптях и мокрых портах, выбирались на берег и складывали рыбу в кожаное ведерко. Но только когда они возвращались домой и желтая большая луна восходила над полем, Никита знал, что в его будущей дружине явились двое первых и верных ему ратников.

Осень стояла сухая, солнечная. Страду свалили быстро. Подошел и прошел умолот, отплясали цепинья на токах, и вот уже в высоких захолодевших небесах потянули на юг птичьи звонкоголосые стада. Ратники воротились к дому, и вновь пошла прежняя московская кутерьма бед, обид, бестолочи и сшибок. Ясно стало, что Хвост, так же как и Вельяминовы, не заможет воротить Лопасни, ни с Новым Городом ничто не сумеет вершить, и, дай бог, не наведет новой которы княжеской на многострадальную Москву! А Алексий все не ехал, все воевал с Романом, Ольгердом и судьбой в далеком, почти невзаправдашнем Цареграде.

Зима подошла дружная, с морозами, вьюгами, звездопадами в сгустившихся синих сумерках. Землю по-доброму укрыло снегами. Заскрипели обозы по дорогам, и как-то незаметно, в трудах и заботах, подошло Рождество.

На Святках Наталья Никитишна гадала с девушками. Было много смеху, шуток, вскоре ожидали ряженых, а сейчас, усевшись над серебряной чарою с ключевой водой, поставленною на плат, посыпанный

пеплом с прочерченным по пеплу крестом, и приотворив двери, девки и боярышни глядели по очереди, вздрагивая от сладкого ужаса и холода, тянущего из дверной щели, в серебряный перстень на донышке чары, стараясь разобрать: что там? Кто видится, какая судьба грядет в новом году? И не дай того, чтобы девушке крест выпал или домовина показалась в кольце!

Вот ойкнула Палаша. Показалось ей в перстне мужеское лицо, в лихом изviве соболиных бровей, и будто знакомое, и сладко так сразу заныло сердце!

— Ой, ой! Глядите, девушки! — Но столпившиеся глядельщицы дыханием смутили воду, ничего не стало видно.

Наталью Никитишну подтащили за руки и тоже велели суженого глядеть. «Неужто Никита покажет?» — со страхом и тайною надеждою подумала она. Но показалось что-то другое совсем. Сперва мелькало, мельтешило в кольце, а потом как осветлело и в середке самой, раскинувши руки на снегу, — мертвый! Охнула боярыня, отвалила от чары, вся побелев. Подруги кинулись глядеть:

— Где мертвый, где? Да не тряси ты стол, всю воду сомутили опять!

И уж все дни после ходила сама не своя, а когда совершилась пакость на Москве-реке, на бою кулачном, так и решила сперва, что и его среди прочих мертвым принесут. Тут-то и поняла впервые, что взаболь любит...

А на Москве-реке совершилось то же, что и по всяк день творилось в Кремнике. Кажен год выходили москвичи на лед, на потеху кулачную, и один на один, и стенка на стенку. И нынче так же, как и всегда, началось с потехи. Гуляли, заломив шапки, ражие молодцы, пудовыми кулаками в узорных рукавицах сшибали друг друга на лед, брызгала яркая кровь из разбитых рож на белый утолоченный снег, визжали жонки, вздыхала и вздымалась криками толпа, облепившая берег, с высоких городень, со стрельниц Кремника взирали княгини и боярышни на потеху кулачную; тут же сновали ходебщики с бочонками, наливали кому горячего меду, кому квасу, бабы жевали заедки, грызли белыми зубами подсолнухи, загораживая лодочкой глаза от солнечного сверканья; высматривали казовитых борцов московских... И стенка сотворилась сперва по обычаю, мирно. Сходились, кричали озорное, подначивая друг друга. И кто, и зачем дуром выдохнул: «Хвостовские прорвы!» — не то иное какое слово ругательное. И оказалось вдруг, что не стенка на стенку, а хвостовские на вельяминовских выстроились на льду Москвы-реки, и тут пошло! Били в рыло и в дых, лезли остервенело, сшибая, топтали ногами, ибо и тем было не встать, и эти не могли сойти, уступить, раздаться хотя на миг. Счастливые лишь отползали в сторону. Дрались страшно, и уже в ход пошли кистени, и где-то и нож сверкнул, и тут же поножовщику сломали руку. И уже мчали под гору княжеские кмети и десятка два конных бояр разнимать, разводить и растаскивать смертоубийственный бой. И было же битых, и было же топтаных, и было же недвижно оставших на том белом снегу после побоища!

Мертвых сносили к Михаилу Архангелу, складывали рядами на паперти, и на паперть не влезло, иные лежали прямо на снегу. И уже, переменив праздник в плач, голосили жонки московские над погинувшими дуром, даром, во взаимной нелепой грызне боярской молодцами московскими.

Наталья Никитишна бежала в толпе иных жонок, обеспамятев, и чуть было, в стыд, не заголосила над мертвым, но, к великой удаче своей, у самого обережья нос к носу столкнулась с окровавленным, в рваной сряде, шатающимся Никитою, оглушенным не столько дракою, сколько тем, что били его свои и ему пришлось неволею бить своих. Кинулась, обоймя, с мокрым от слез счастливым лицом, целовала живого... Добро, что и кругом творилось то же самое: схватывали своих, оглаживали, вели под руки по домам. И Наталья повела (впервые!) своего Никитушку, уцелевшего в гибельной стенке. И он шел, качаясь, еще мало понимая чего, и почти уже у терема Протасьева остоялся, отмотнул головою.

— Нельзя мне! — хрипло сказал, прибавя первое, что пришло в голову: — Василь Василич убьет!

И она поверила, присмирела, заплакала навзрыд. Крепко обнял, расцеловал мокрую, плачущую, свою! Подтолкнул к дому: «Иди!» А сам, махнувши рукою, неверными шагами пошел ко княжеской молодечной. Шел не оборачиваясь, ибо знал: ежели обернется — не выдержит, побежит к ней и все потеряет тогда, и ее саму потеряет тоже.

Пятилетний Митя идет, ковыляя, по траве. Небольшой садик, зажатый меж княжескими теремами, владычным двором, поварнею и челядней, со всех сторон укрытый от ветра, солнечный и теплый, словно нарочно приспособлен для прогулок княгинь и нянек с детьми. Среди яблонь и вишен, меж кустов крыжовника, малины, смороды, среди гряд с многоразличною овощью — тут и лук, и чеснок, и хрен, и укроп, и сельдерей, и петрушка, и репа с редькою, и ревень, и морковь, и огурцы, и тыквы, и даже дыни, которые ухитрились нынче разводить княжеские садовники, — и чего тут только нет! По стенам вьются плети бобов и сладкого гороха, цветы, где только можно, заполняют сад. Гудят пчелы, и Митя, стараясь достать пчелу, нечаянно попадает в крапиву. Крапива больно кусается, и княжич сперва начинает бить по крапиве кулаком, а потом — горько плакать. На крик бежит захлопотанная нянька, подхватывает малыша, толстенького, босого, в одной рубашонке, и, обтерев ему подолом нос, бегом утаскивает назад, в терема. Второй мальчик, Ваня, на руках у кормилицы, видя, что братика унесли, начинает плакать тоже. Рассерженная Александра в распашном сарафане из пестрой зендяни появляется в саду. Лицо у нее красное — не могут няньки за младенями приглядеть! Дочка высовывает нос вслед за матерью.

Скоро Ванюша успокоен, няньки выруганы, и Митя с большим куском желтого сахара в руке является вновь в саду, переодетый в чистую рубашонку, и

уже теперь ковыляет рядом с нянькой, уцепившись одною рукою за ее подол, а другую сует в рот, слюнит и лижет, вымазав себе уже всю рожицу, дорогой желтоватый кристалл сладкого восточного лакомства.

От соборной площади с храмом Успения Богоматери сад отделен глухим тыном из плотно подогнанных друг к другу, поставленных торчком и заостренных кольев. Ни говор, ни шум толпы не проникают в сад, не нарушают дурманной тишины, в которой зреют овощи и плоды, жужжат насекомые, и лишь издали, из-за Неглинной, доносит шум города, да озорные голоса стряпух на поварне изредка нарушают теплую, отененную яблоневым и вишневым пологом тишину.

Маленький толстенький мальчик, присев на дорожке, следит за навозным жуком, тянет ручкой, чтобы его ухватить. Он уже отпустил нянькин подол, а нянька — ненадолго хватило княгининой грозы — тоже отворотила лицо, слушает, о чем толкуют громкоголосые девки на поварне.

Княжичу только-только свершили постриги, и никому не известна пока его грядущая судьба и слава. Он может сотню раз заболеть, умереть, ушибиться насмерть, упав с коня. Чума, мор, иная какая беда подстерегают его, как и всякого, рожденного на земле, на каждом шагу. Вот выползет гадюка из крапивы, вот облепит ребенка пчелиный рой, вот лягнет на конюшне кованый конь — и нет мальчика. А наговор, сглаз, отрава, вольная или невольная? Кусок порченой рыбы, молоко из позеленевшей медной посудины, угар в бане...

И почему именно этого, такого вот, а не иного дитятю произвела на свет, милуясь со своим робким князем, а затем корчась в сладких муках родовых, дочь великого тысяцкого Москвы Василия Протасьича Александра, Шура, ныне великая княгиня владимирская? Почему спустя несколько лет умер его брат Иван, а он, Дмитрий, остался, и жил долго, и нарожал кучу детей, и возглавил рать на Куликовом поле, и стал великим князем Дмитрием с прозвищем Донской, с коим и перешел в века?

Великое чудо жизни и случайность выбора, наследственные причуды и воля случая — как согласить все это с высоким предназначением и судьбою государств? Лукаво скажет книгочий-мыслитель грядущих веков, что единодержавие, наследственная монархия была бы лучшей формой правления, ежели бы не случайность рождений!

Александра недаром гневалась, и не в няньках было дело на сей раз. В Кремнике опять восстала пря. Никак не могли поделить амбары и житницы, не могли согласить друг с другом, кому собирать весчее и полавошное в торгу... Вельяминов с трудом и нужою отказывался от древних привилегий своих. И кому что охранять в Кремнике, неясно было тоже. Посему, когда загорелось на поварне владычного двора, не могли сообразить сразу, кому тушить — хвостовским или вельяминовским, а клирики без владычного догляду переполошились тоже. Огонь сразу вынесло выше кровель, а там и пошло.

Кинувшиеся со сторон вельяминовские и хвостовские молодцы сцепились в драку. Заполошно бил колокол у Ивана Лествичника. В пересохших бочках у теремов не оказалось воды. (Потом вельяминовские ставили это в вину хвостовской обслуге.) Пока цепью выстроились от Москвы-реки по взвозу и начали передавать из рук в руки кожаные и кленовые ведра, пока вынеслись конные бочки с водой и подоспели крючники с посада, уже весело пылали службы и прислуга с плачем и криками выносила порты, иконы и рухлядь из теремов. А тем часом занялся Бяконтов двор, и раздуваемое ветром пламя потекло, огибая соборную площадь, в сторону Приказов, съедая один за другим дворы великих бояр.

Уже все колокола Москвы вызванивали набат, и люди, ослепнув от дыму, в затлевающей одежде, дуроломно лезли в огонь, отстаивая припас и добро, и тут же, среди рушащихся клетей и пламени, били наотмашь друг друга по мордам, катались по земле, молотя кулаками по чем попадя, и, вскакивая, обожженные, отчаянно матеря напарника, начинали тащить вдвоем какой-нибудь неподъемный, обитый узорным железом, княжеский сундук.

Княгиня Александра наспех одевала младенцев. Конные дядьки, хватая с рук на руки плачущих княжичей, в опор выносились сквозь пламя к Боровицкому спуску. (В сторону Троицких ворот было уже не пробиться.)

Никита, возвращавшийся с обозом из Замоскворечья (Алексей Петрович не любил, чтобы ратные засиживались без дела, и гонял по работам почти без роздыху и своих, и особенно пришлых, бывших вельяминовских), сперва даже не понял, в чем дело. В ясном солнечном дне вспыхивало и опадало пламя, и, подъехавши ближе, он понял, что весь Кремник пылает как один общий жаркий костер — страшно было смотреть со стороны.

Рвануть супонь, отшвырнуть дугу и стащить хомут со всею обрудью с лошади было делом одной минуты. Охлюпкой вскочив на мерина, он свистнул и, вцепившись в гриву, помчал на урывистый гул рушащихся в пламя колоколов, на разноголосый вой и гомон пожара.

На низком наплавном мосту через Москву-реку было не пробиться от люда. Бежали оттуда, пробивались туда, орали, материли, дрались, плакали, а сверху дождем сыпало в человечье и конское месиво горящими головнями, что, разносимые ветром, глухо ударяли о настил моста, со змеиным шипением сваливаясь в речную воду.

Никита, подпихнув мерина, решительно окунулся в воду и поплыл. Над ним, на горе, ревело пламя, сажа и гарь сыпались в воду. Конь плыл, всхрапывая. Никита держался мертвою хваткою за гриву мерина, недоуздком, как можно, приподымая его морду над водою. Почти миновав Кремник, выбрались. Конь отряхнулся по-собачьи, всею кожей. Никита, приподнявши ноги, вылил воду из сапог и поскакал косо вверх по склону, хотя уже ясно было,

что к Кремнику почти и не подступить. Конь вздрагивал и кидался в стороны от рушащейся горящей драни, раза три едва не скинув Никиту наземь.

Водяными портомойными воротами, которые стояли отворенные настежь и никем не охраняемые, Никита пробрался в город, где ему пришлось слезть с решительно заупрямившегося коня и, отдав мерина вывернувшемуся как из-под земли малознакомому хвостовскому старшому, взять в руки крюк и пойти с цепью хвостовских и княжеских ратных в стену надвигавшегося от теремов пламени.

Растаскивать тут что-либо, пытаясь остановить пожар, было бесполезно. Огонь резко ревел, руша просвеченные насквозь и ослепительно сиявшие изнутри клети. Лопались, вспухая, кровли теремов, лавина удушливого жара катила в сторону житного двора и погребов. Из дыма вырывались ослепшие, обезумевшие кони, волоклись и волокли обожженных, полузадушенных людей. Перекрикивая шум пламени, Никита спросил про то, что творится на той стороне.

— А! — безразлично, как о бездельном, отозвался ратник, морщась от наступающего огня. — Вельяминовски тамо. Поди, погорели вси, стервецы! Нашим-то и тушить не дали!

Чтобы не давали тушить — ратник врал. Но пробиться сквозь стену огня, разузнать, спасти ее, ежели надобно, нечего было и думать.

Часа три заполошно таскали кули с мукой и зерном, волокли связки рыбы, катали под угор бочки солонины, пива, сельдей, спасая добро и припас от огня. Лишь когда и житный двор взяло полымем и стало нечего делать на этой стороне, Никита, кое-как отмотавши от старшого, ринул к соборной площади, где каменные храмы Калиты слепо высили в дыму, овеиваемые языками близкого пламени. Не было уже митрополичьих палат — лишь огромный костер пылал на месте хоромных строений; не было и Протасьева терема, ни терема княгини Марии. Деревянные церкви горели, как свечи, с треском выбрасывая гигантские снопы искр. Дышать было нечем. Никита, чуя, как сушит и жжет кожу на лице и руках, как затлевают волосы и дымится вся одежа, хватая по-рыбьи горячий воздух открытым ртом и перешагивая через горящие бревна и трупы, пересек весь Кремник до дальних, выходящих на Красную площадь ворот и только тут застал людей, отстаивавших стену города. Его тотчас грубо отпихнули, заставив вспомнить, что сам он — хвостовский, и Никита, закусив губы, едва не рванул со стыда и злобы в огонь, но опамятовал, отступил, поминая непутем нечистого, к воротам, в толпу выбежавших из огня жонок, стариков и детей, и только тут расспросами с трудом выяснил, что вельяминовские вроде бы все или почти все спаслись и даже успели вымчать из огня добро боярина.

Кремник догорал. Посадские грудились в улицах, стояли с мокрыми метлами и ведрами воды на кровлях. Всеми помнился (старожилы видали, а пришлые знали по рассказам) тот давний, двенадцатилетней давности, пожар, слизнувший весь град Московский до серого пепла, и готовы были отстаивать свои домы и животы до последнего. Падающие головни тут же яростно скидывали с крыш, заливали, топили в бочках, затаптывали ногами. В прежнюю пору загорелось на посаде и спасали Кремник. Ныне сгорел Кремник, и сгорел от дури, от спеси боярской, от несогласия Хвоста с Вельяминовым. И все это знали и ведали и, стоючи вокруг Кремника, костерили почем зря бояр, норова своего ради загубивших город.

Никита, трудно дыша обожженными легкими, весь в чадном тумане, добрался до реки, плашью упал в воду, вылез на четвереньках и сел, тупо и безмысленно уставясь в бегучие струи. Надобно было встать и идти к «своим», нынешним, идти и вновь делать то, что начал он делать с того самого дня, когда последний раз виделся и говорил с Василь Василичем.

Впрочем, на пожаре Кремника Никите неожиданно повезло. Разбирали дымящиеся завалы. Хвост подъехал верхом. Долго глядел, как старается чужой, ушедший от Вельяминова ратник. Вымолвил наконец:

— Ты, паря, старшим был никак?

— Бывал! — безразлично отозвался Никита, отирая потное, покрытое сажей лицо рукавом.

— Почто ушел от Василия? — с легким недоверчивым прищуром, как бы загодя сомневаясь в правдивости ратника, вопросил боярин.

Никита бледно усмехнул в ответ, отмолвил, почти не лукавя:

— Зазноба у меня явилась на ихнем дворе. А Василь Василич воли нам с нею не дал... Ну и — сам понимай, боярин!

Алексей Петрович фыркнул, вгляделся в измененный лик ратника, поверил. (Трудно было и не поверить в ту пору!) Примолвил весело:

— Не горюй! Заслужишь, найду и невесту тебе добрую! — Постоял еще, поглядел, высказал наконец: — Назначаю тебя старшим! Соберешь сам, кого тебе надобно под начало, чтоб бою-драки не было. Поставлю вас пока чинить стену городовую. А будешь служить честно — награжу!

Только того и надобно было Никите!

С пожара великий князь перебрался в Красное, а боярыни великих родов — кто в свои подмосковные, кто на Воробьевы горы.

В черном Кремнике вразнобой, недружно, тюкали топоры. Медленно возводили новые терема и клети, повалуши, амбары и бертьяницы. Ратные, те и другие, старались не замечать друг друга, работая на пожоге. Запаздывал лес, не хватало того и сего. Порушилась работа княжеских мастерских. Убытки от пожара и сосчитать было невозможно.

Покойный Симеон сейчас сидел бы в разоренном Кремнике, а не в Красном, и вокруг него кипела работа и город воскресал бы на глазах. И это тоже все знали, хоть и молчали о том, и ждали, уже томясь до надсады, хозяина — ждали Алексия.

Казалось, что только он один еще может спасти Москву, потерявшую великих князей, раздираемую

боярскою бесконечною смутою, спасти от падения, столь же стремительного и неизбежного, как стремителен и быстр казался взлет малого городка, затерянного в лесах верхней Клязьмы и отодвинувшего было посторонь древние грады и княжества земли владимирской.

Пузатую греческую посудину швыряло с бугра на бугор, и казалось, этому уже не настанет конца. Море вспухало, точно шкура рассерженного дракона. Тяжкие, даже на вид ощутимо тяжелые, в сморщенной пенной коже валы шли один за другим, и с каждым валом утлое судно получало глухой сотрясающий удар, от коего все, что было непривязанного в его нутре, летело кувырком, а люди падали ничью. Катались изувеченные сосуды, дрова, чьи-то укладки, порты и обувь. Вездесущая вода сочилась каплями отовсюду. Жутко скрипели корабельные ребра. Пол нижней палубы, переворачиваясь, почти опрокидывался и опрокидывал всякого, кто пытался встать на ноги.

Алексий, цепляясь за ступени, выполз наружу, и тотчас ветр пригнул его к самым доскам палубы, а пенная бахрома вод, тяжело прокатившая по настилу судна, вымочила его всего с головы до ног. Пучина глухо гудела в самой своей глубине, свистел ветер, обрывая остатки снастей. Неслышные в грохоте моря, вились, почти протыкая гребни волн, белые острокрылые птицы. Хляби небесные смыкались с горами воды, и так — до самого окоема, где под колеблющимся, ежесекундно взбухающим сизо-серым покровом бури едва желтела охристая полоска, полузадавленная мглистыми животами синих и вороненых туч, что неслись в обнимку с водою в адском хороводе бури и ветра. Вдали, под пологом облаков, ходили по морю, точно видения сгущенного бреда, высокие, пропадающие в тучах столбы, и греки-корабельщики, указывая на них, в ужасе прикрывали глаза.

Из небытия воскрес лик Станяты, прокричавшего что-то неслышимое в реве моря в ухо Алексию. Он тоже был мокр от макушки до пят, на скуле расплывалось пятно крови. Мокрые пряди волос прилипли к голове.

— Ступай вниз, внутрь, владыко! Смоет! — кричал Станята, наконец понятый Алексием, и новоиспеченный митрополит московский, обдирая ногти и дрожа от холода, полез внутрь, туда, где, катаясь на полу в лужах воды и блевотины, пропадали его клирошане, бояре и служки, уже, почитай, мысленно расставшиеся с жизнью на этой земле.

Стоны, мокрядь и вонь, глухие и страшные удары волн, сотрясавшие деревянное нутро, — нет, вынести этого было не можно!

Третьи сутки треплет море текущий, как решето, с обломанными мачтами корабль, третий день едва удается поесть сухомятью (огня не развести в этой буйной дури) тем, кто еще может есть. Четверо смыты за борт, половина корабельных вышла из строя и, лежа пластом в утробе судна, молча ждет неизбежной гибели.

Алексий вновь полез наверх. Очередным ударом волны его сбило с ног, больно хватив лицом о ступени лестницы. Побелевшими пальцами он сумел вцепиться в скользкие перила. Слова молитвы рвались с окровавленных губ. Десяток бочек воды влилось в отверстое устье трюма, вновь окатив его с головы до ног. Ощупью, захлебываясь, прикрывая глаза, долез он наконец до своей разгромленной бурею каморы на корме корабля, поднял и укрепил сбитую ударом воды икону и, осклизаясь, падая, цепляясь за стены и углы, начал вновь и опять молить Господа о спасении судна и путников, одержимых бешеным морем.

Когда это началось, когда пенные струи пошли по равнине вод и корабль начало валять с борта на борт, Алексий не чаял особой беды. Молясь, наставляя робких, он подавал достойный пастыря пример мужества своей сухопутной дружине. Но кончился, смерк, провалившись в волны, день, протяжно и жутко выла ночь, накатывая во тьме невидимые и потому особенно страшные валы. К утру открылась течь, и грек-навклир ждал хоть какой затишки, чтоб подвести парус под брюхо корабля. Но валы громоздились за валами, и ничего не можно было вершить с громоздкою и неповоротливою византийской посудиной в этом безумии моря. К третьему дню судно уже перестало бороться с ветром и, потеряв оснастку, полузатопленное, только тупо вздрагивало от каждого удара и, казалось, ждало лишь какого-то предельного, окончательного толчка, чтобы пойти ко дну. И уже оробели самые дерзкие мореходы, и сам Алексий, ослабнув ежели не духом, то плотью, начинал ждать рокового конца.

Судно давно бы пошло ко дну, ежели бы не Станята, привычный к мореходству с детства. За свою недолгую, но бурную жизнь он побывал на Белом море, боролся с бурею на страховитом Онего, и ему одному не в диковину было бушевание водных стихий. Подобрав николико дружины из русичей, кто бывал на море или не устрашил нынешней беды, он поставил одних вычерпывать воду, других к рулю и снастям и совместно с ободрившимся греческим кормщиком вот уже сутки ежели не вел, то держал судно на плаву. Но и он начинал сдавать и все мрачнее взглядывал на желто-сизый окоем, не ведая, чего желать больше: знатья берегов (о которые их очень может разбить так, что и никоторый не выберется!) или неведомой пустыни вод, в коей их сможет уже вскоре, переполнив водою, схоронить навеки?

Всмерть уработавшиеся мужики сменяли друг друга, кожаные ведра шли чередою, но сколь жалкими казались эти скудные плевки откачиваемой воды перед стеклянною пенистою массою, поминутно заливавшей палубу! В минуты облегчения в глазах у него начинало двоить. Сон наваливал неодолимо. Надо было спуститься в нутро корабля. Наконец греческий навклир, усмотревши истому русича, прокричал ему на ухо: «Гряди спать, справлюсь!» И Станята с освобождающим облегчением, на ходу теряя сознание, сполз в чрево корабля, сунулся в угол, в какие-то тела и тряпки, и унырнул в мертвый, тяж-

кий сон, причудливо изломанный нелепыми видениями каких-то рогатых и многоруких рыб, студенистых осьминогов и змей, словно бы охватывающих корабль и щупальцами заползающих в трюмы.

Именно в эти миги его недолгого сна рухнула главная мачта. Корабль встал дыбом. Полетели в кучу, сваливаясь друг на друга, очумелые путники. Вопли и стоны наполнили тесный трюм. Единая свеча опрокинулась и погасла.

Алексий в своей каморе на верхней палубе вдруг очутился в щели меж оконницею и столом и понял, когда тугим потоком хлынула в дверную щель вода, что гибнет, что тонет и жизни осталось — на краткое моление Господу.

В этот час, в миг этот снизошла на него просветленная внутренняя тишина. И в грохоте бури, в шуме вод, в диких воплях спутников снизу, из трюма, он опустился на колени и ясным шепотом начал молить Господа и пречистую его матерь сперва о доме Калиты, об укреплении духа молодого князя Ивана, потом о боярах — да утишат которы и нелюбие, потом о всех людях московских и, подумав, о всей Руси, ибо ежели и Москва пропадет, то — да не пропадет родная земля языка русского!

И ревела стихия кругом — и была тишина. Он закрыл глаза, чая, что волны вот-вот начнут вливать внутрь каморы, и тогда, чтобы умереть пристойно, взял икону в руки, чая так и тонуть, не разжимая дланей.

Резкий рывок вновь поставил прямо выровнявшийся корабль. Алексий, слетевши со стены, ставшей ему на время полом, ударился теменем об угол прибитого к полу ящика. Сознание замглилось, и показалось уже, что настал конец. Видимо, на какие-то считанные мгновения Алексий и вовсе потерял сознание.

Он не ведал, что минуты назад Станята, чумной со сна, сообразивши по наитию моряка, что происходит с судном, схватил, нашарив впотьмах, секиру и, пробежав по месиву копошащихся и воющих тел, выскочил наверх. Греки во главе с навклиром бестолково суетились, путаясь в снастях. Станька, зарычав, вздел секиру и в несколько воистину страшных ударов обрушил, перерубив, мачту в море. В этот-то миг судно и встало вновь на киль, сбросив Алексия наземь.

Очнувшийся в луже воды и вина из разбитой корчаги, Алексий встал на четвереньки (подняться он не мог, кружилась голова) и, стоя так, отчаянно глядя на икону Николая-угодника, которую он, и теряя сознание, не выпустил из рук, чуя, что нет, не конец и пляска смерти, в коею он всосан хороводом бури, будет кружиться еще и еще, воззвал к Господу, обещая, ежели приведет ему и всем спастись, соорудить новый монастырь на Москве, ибо понял обостренным смыслом, что никто не сможет — ни тверской ставленник Роман, ни даже Дионисий Нижегородский — заменить его на посту митрополита русского и, значит, не может, не имеет права он умереть, утонуть и тем предать родную страну!

Вослед за троекратно повторенною клятвою его вновь швырнуло вдоль, оглушив опять на несколько долгих мгновений, но он вновь встал, и даже поднялся на ноги, и даже пополз, именно пополз, а не пошел, упрямо сцепив зубы, туда, где катались, потерявшие облик человеческий, его спутники, те, кто не воевал с морем, и добрался, дошел, достиг и начал подымать, и совестить, и слать наверх, в помочь тем, упорным, и скоро, удивясь сам, достиг, добился: стонущие фигуры, ободрясь или почуяв укоры совести, полезли откачивать воду, а смертельно уставшие верные заваливались на их место спать. И так прошел еще день — день бредового бдения, день между жизнью и смертью.

Он еще тряс, подымал, срамил оробелых, когда Станята, заботно взяв его за плечи, приподнял с колен, прошая:

— Живой, владыко? Кажись, проходит буря-то!

Цепляя за поручни, Алексий выцарапался из мокрого чрева корабля и, не вставая в рост, поднял голову над настилом, не ведая, почему Станята углядел конец водного ужаса. Все так же ревело море, неслись черные мрачные валы, и так же тускло желтело на окоеме чужое зловещее небо. Но по каким-то лишь одному Станяте внятным признакам — не то по измененному звуку ветра, не то по обозначенной правильности в чередах волн, — и верно, почуялся в неистовстве бури близкий надлом.

Ободранный, с ввалившимися щеками очередной, шатаясь, прошел мимо Алексия, уступив место сменщику. И лишь по знакомому прищуру воспаленных глаз Алексий узнал, удивясь, боярина Семена Михалыча. Старик, коего он чаял обрести в трюме, работал вровень с мужиками, и Алексий поклонил ему истово, уважительно, удивясь духовной силе шестидесятилетнего нарочитого мужа. И старик боярин отозвался бледно, далекой улыбкою — мол, там, в иной жизни, будем поминать днешнюю запредельную беду...

Холодный ветр оттуда, из желтой дали, пронизывал до костей. Как мал человек! Сколь бессилен пред волею стихий! На миг почуял Алексий почти удивление тому, что Господь привечает и хранит столь малое и слабое существо, коим является человек, и смешанный с удивлением ужас: на какой же незримо тонкой нити висит все то, что замысливал он в Константинополе! Воистину — в руце твоя предаю дух свой!

Глухо ревели валы, накатываясь на обезображенное, лишенное оснастки судно, все так же низко шли рваные пухлые тучи, не было видно берегов, течь в трюме с каждым часом усиливалась, и до спасения — ежели они вообще спасутся — было еще так далеко!

В Сарае остановили на княжом подворье. Предупрежденный гонцом ключник истопил баню, приготовил покои для митрополита, бояр и свиты, накормить русичей постарался так, словно бы они не ели все два года, проведенных в Константинополе.

Устрашающих размеров севрюга красовалась на долгом столе, украшенная и обложенная своею и татарскою зеленью. Рыбные для духовных и мясные

для светских блюда тесно покрывали столешню. Мясо сайгака и дрофы, обугленная баранина, печеный лебедь в перьях, выгнувший шею на серебряной проволоке, словно живой, — княжеской трапезе впору! — многоразличные каши, кисели и пироги, квасы в квасниках и братинах, русский мед и греческое вино, приплывшая с верховьев Волги моченая брусника (и при взгляде на нее у Алексия радостно вспыхнули глаза) и яблоки рядом с греческими маслинами, вяленою дыней из Бухары, инжиром и сушеным виноградом; дымилась огненная, наперченная стерляжья уха, и захлопотанный, умученный ожиданием и страхами ключник мог быть удоволен вполне при виде того, как оголодавшие за дорогу русичи, едва выслушав молитву, дружно накинулись на трапезу.

Загорелые, обветренные, со здоровою худобой людей, переживших и победивших смерть, спутники Алексия сперва лишь молча въедались, хлебали, жрали, уписывая за обе щеки отвычные блюда родины. Но вот уже миновала уха, исчезли сайгак и дрофы, и разрушен лебедь, и от огромной севрюги остались, почитай, голова да хвост, и решительно поубавились горы пирогов на столе, и путники въедались уже в сладкие каши из желтого русского и белого сарачинского пшена, сваренные на восточный лад с изюмом и черносливом, уже хрустели медовыми заедками, уже, щурясь, отваливали от стола, протягивая руку то за яблоком, то за грушей. И сам Алексий, отведав ухи и севрюги, с удовольствием вкушал теперь бруснику, черпая ее серебряной круглою ложечкой из берестяного, узорно выделанного туеска. И уже начались, повелись, возникли и смех, и речи, и шутки, и рассказы. Чуть-чуть хвастая перед местными, ордынскими русичами, громко сказывали теперь на том конце стола, указывая перстом на виновника спасения, как Станята под одним косым парусом на кое-как поставленной мачте довел полузатопленный корабль почти до Херсонеса, как сушились прямо на берегу, и как владыка Алексий, стоя на песке на коленях, читал благодарственную молитву, и как дотягивали потом корабль до гавани, и кто что делал и говорил в пору ту, и про самое страшное — четырехдневную гибельную бурю, едва не потопившую утлое судно. И было в них во всех, и в боярах и в слугах, то, что радовало Алексия паче всего: окрепшее в трудных дорогах товарищество, сорадование верных, сходственное тому, давнему, собравшему вокруг Учителя истины мытаря и рыбака, равно покинувших привычное дело свое ради высшего на земле.

В Сарае следовало предстать перед Джанибеком, дабы получить ярлык — ханскую грамоту, по обычаю выдаваемую новому митрополиту повелителем Золотой Орды, и Алексий заранее продумывал, какие подарки пристойно вручить хану-мусульманину, его вельможам и женам, и особенно Тайдуле, влияние которой в Сарае было едва ли не больше ханского. Подарки, вместе с тем, не должны быть излишне богаты. Глава церкви, получающий ярлык на беспошлинное исправление православного обряда у хана-мусульманина, не должен являть излишних богатств церкви неверным. Поэтому Джанибеку следовало объяснить, что русская церковь вкупе с мехметовой молит о здравии хана-государя, ибо всякая власть от Бога, а «царство мое, по слову Христа, не от мира сего». Тайдуле следовало пояснить то же самое, но с сугубым намеком: силу пастырского слова и целительное умение иерархов русской церкви хорошо знали в Орде и уважали, даже не любя. В просторечии велась молвь, что урусутские попы все колдуны, и Алексий не считал надобным разрушать это благое для русской церкви заблуждение.

Хан принимал Алексия за городом, в простой белой юрте. Главе русской церкви предложили, в знак почтения к сану, раскладное кожаное сиденье.

Джанибек был слегка пьян, и Алексий, глядя в это преждевременно постаревшее лицо, гадал, долго ли проздравствует хан, от чего впрямую зависела участь Ивана Ивановича и всего московского княжения. А Джанибек, в свой черед, обозревал лобастую голову, внимательный темно-прозрачный взор, твердоту черт и не по годам завидную прямизну стана урусутского митрополита и мысленно беседовал с князем Симеоном: «Вот кто будет тебе опорой, Симеон! Вот кто спасет твой улус! Но у него нет детей, у твоего главного попа! Дети есть у твоего брата Ивана, всего двое! Надо иметь много сыновей! У меня их двенадцать, не считая Бердибека!»

Он плохо слушал, что говорил ему Алексий. Главный поп говорил то, что должен был говорить, дарил то, что должен был подарить, а вот глядел так, как глядят немногие.

«Как мало друзей у человека, а, Семен? — думал Джанибек, кивая головою и вполуха слушая урусутского митрополита. — Как мало друзей! И ты просишь, Семен, теперь просишь за него! Я знаю тебя, Семен! И ты хорошо придумал — этот не станет отбирать власть у тебя!»

Вино, выпитое накануне и теперь, смешиваясь, помогало ему сохранять то любимое состояние между мечтой и явью, в котором он мог спокойно разговаривать с мертвыми. Жизнь раздвигалась, теряла жестокие грани, прихотливо возвращалась опять и вновь в прошлое по одному лишь желанию его.

Мановением руки Джанибек велел выдать, не задерживая, ярлык новому митрополиту, а сам все вел и вел беседу с мертвым урусутским князем. Глаза его сверкали, горело лицо, взгляд порою отсутствовал или становился безумен. Алексий, всерьез обеспокоенный состоянием хана, вгляделся пристальнее, но Джанибек, тотчас угадав его сомнения, солнечно улыбнулся и покачал головой. «Нет, нет, русский поп! Я понимаю все!» — сказали его сузившиеся, отвердевшие глаза.

— Семен! — вымолвил он вслух, и Алексий недоуменно приподнял бровь. — Семен! — повторил Джанибек, медленно покачивая головою. — Был бы жив Семен, ты бы мог обрадовать его!

Толмач перевел слово в слово, недоуменно поглядевши на князя и на митрополита, но Алексий понял, склонил голову.

— Великий хан! Князь Симеон Иваныч сам отправлял меня в Константинополь, и я почасту там, в великом городе, вспоминал покойного князя и так же, как и ты теперь, — он приодержался и остро глянул в лицо Джанибеку, — мысленно беседовал с ним о делах правления!

Лицо Джанибека окаменело, улыбка сошла с него. Он вгляделся в сидящего перед ним урусута с настороженным вниманием, поднял руку, как будто что-то воспрещая или повелевая, но не сказал и не возразил ничего; медленно отер лоб растерянным движением, по коему Алексий окончательно понял, что догадал правильно, молча взял чашу и отпил из нее. И тогда только произнес без улыбки, строго:

— Пойди к Тайдуле! Говори с нею! У тебя много врагов здесь, в Орде, но я, сколько смогу, стану беречь тебя! Только ты поезжай скорее, не жди! Я сказал!

С последними словами голос Джанибека окреп, растерянность ушла из него, и Алексий понял, что хан отныне будет на его стороне и теперь только одно еще требуется от него — понравиться властной первой жене Джанибековой.

Тайдула принимала Алексия в своем шатре и была без покрывала на лице, оправдывая нарушение закона, видимо, тем, как понял Алексий, что русский «главный поп» — монах и старец. Возможно, ей, степной повелительнице, предки которой почасту брались за лук со стрелами, обороняя стан от внезапно нахлынувшего врага, попросту был до сих пор чужд мусульманский обычай гаремных затворниц. На ханских торжественных приемах жены повелителя вселенной до сих пор сидели с открытым лицом.

Тайдула вся сверкала, залитая серебром и золотом украшений в драгоценных, брызжущих разноцветными искрами камнях. На лице ее, до сих пор красивом, но уже суховатом, властном и строгом, пролегли морщины и тени начавшегося увядания. Стала жилистей шея, стала сухой кожа на руках, украшенных перстнями и кольцами. И уже слегка обозначились те круглые складки под глазами, которые у гладколицых монголок прежде всего указывают приближение возраста осени.

Алексий поднес Тайдуле простую серебряную византийскую чашу с равноконечным греческим крестом на донышке. Объяснил, что русская вера будет защищать и ее тоже, как жену хана — повелителя Руси, а поскольку, по учению Магомета, Исус и Мариам (дева Мария) названы в числе пророков единого Бога, то не будет грешно ей пользоваться этой чашею во время еды. Яснее сказать о том, что ее могут и отравить, было бы уже непристойно. Тайдула разом поняла скрытый смысл Алексиевых слов.

— Чаша потемнеет от яда? — жестко спросила она.

— Всякое серебро темнеет от яда! — уклончиво возразил Алексий. — Я говорил тебе про знак креста на чаше сей!

— Я буду из нее пить! — ответила Тайдула, передавая чашу служанкам. — А ты молись за нас! — требовательно добавила она.

— Да, госпожа, да! — ответил Алексий, кивая. — И ты, госпожа, помни, что молитвенник за тебя всегда бодрствует и пребывает в Руси!

Алексий был честен в этот миг, ибо в интересах русской земли и в интересах московского правящего дома было, чтобы Джанибек с Тайдулой как можно дольше держали в своих руках власть в Сарае. Тем паче — теперь, когда (он уже знал об этом) робкий Иван Иваныч не смог даже наладить мир в своем собственном дому — рассорил и с Суздалем и с Новым Городом, и погорела Москва, и в думе нестроения великие... Дай-то бог, воротясь, наладить хотя то, что было налажено при Симеоне!

От Сарая, скорости ради, ехали сухою дорогой и отчаянно гнали коней. Новгородских послов Алексий намеренно посадил в свой возок и, проговоривши с ними всю дорогу до Нижнего, уяснил себе, что мир с Новгородом зависит сейчас даже не от воли архипастыря Моисея, а более всего от хотения князя суздальского Константина Васильевича, не пожелавшего до сих пор помочь московскому князю.

То, что любые два княжества (Тверское, Суздальское, Рязанское и даже Ростовское с Новгородом в придачу) оказывались совокупно сильнее Москвы, Алексий знал слишком хорошо. Посему, как понял он еще в Константинополе, до поры следовало не затевать прю с Олегом, изо всех сил держать мир с Тверью; опираясь на кашинского князя Василия, и во что бы то ни стало — и это последнее должен был он совершить немедля, сейчас, — заключить союз с суздальским князем Константином. Тогда возможно станет замирить и оставшийся в одиночестве Новгород Великий, а там все силы бросить против Ольгерда... Ежели не умрет Джанибек. Ежели Ольгерд, еще ранее того, не заключит союза с суздальским князем и Всеволодом Александровичем Холмским (о младшем сыне погубленного Александра Тверского, Михаиле Александровиче Микулинском, Алексий пока както не думал). Ежели еще и Новгород... Достаточно было и без Новгорода! Стоит Ольгерду объединиться с единым суздальским князем — и Москва погибнет! А там — погибнет и Суздаль и победит Литва. Неужели Костянтин Василич не в силах того понять?

С этими мыслями Алексий подъезжал к Нижнему Новгороду.

Шла осень. Тянули к югу птичьи стада. И не было паркового тепла, не было одуряющих ароматов, горячей уличной пыли и прослоенного запахами гниющих водорослей дыхания моря. Воздух был холоден и крепок и чуть-чуть горчил, и в далекое далеко уходили облака по неоглядному простору небес, распахнутому здесь шире, чем там, в далеке далеком, на теплом юге, откуда он недавно приплыл. И в ясной прозрачности воздуха стояло оранжевое и багряное великолепие лесов с тяжелыми пятнами старого золота дубов и темно-зеленою бархатною оторочкою хвои, перед которым смеркла и растворилась вся утлая роскошь рукотворного человеческого великолепия. И было такое, что не часто совершалось с ним и чего он не допускал в себе: Алексий остановил возок,

вышел на сырую, усыпанную палой листвою землю и, соступив с пути, нагнул к себе лиловую темную ветвь в ржавой узорной листве и сорвал несколько тяжелых, холодно-влажных, горящих на солнце гроздьев рябины, которую мужики по осени вывешивают на подволоках, чтобы лакомиться ею зимой, сорвал и, воротясь в возок, долго ел, отрывая по ягодке, затуманенным взглядом следя проходящие мимо солнечно-ясные березовые рощи и огненно-красные ряды сквозистых осин. И горечь была в огненных ягодах рябины, и горечь в отвычном воздухе осенних лесов, и горечь в высоких, все еще не свершенных замыслах, и сладкая горечь в светлой радости отречения ради земли родной и неведомых грядущих поколений еще не рожденных русичей...

Не доезжая до Нижнего, остановили в Печерском монастыре. Игумен Дионисий, деловой и хваткий муж, крепкий телом и духом, чем-то напомнивший Алексию Сергия со Стефаном, вместе взятых, ничуть не растерялся нежданному высокому гостю. (Алексий достиг обители прежде гонца.) Быстро и дельно распорядил принять и накормить свиту митрополита, бояр и самого Алексия, после краткого молитвословия в деревянной церкви проводил в недавно отстроенную трапезную, успев меж тем с легкою гордостью показать монастырское устроение, в коем этот выученик Киевской лавры явно стремился возродить на берегах Волги навычаи и обряд великой лавры Печерской-Киевской. Сам отослал гонца ко князю, и когда отдохнувшее посольство собиралось тронуться в дальнейший путь, его уже встречали княжеские вестоноши с избранными из нижегородских бояр, а Алексию сообщено было, что его ожидает торжественная литургия в Спасском соборе (править которую надлежало самому Алексию), а за нею — неприлюдная встреча с князем Костянтином Василичем. Лучшего повода и случая для разговора по душам с Суздальским князем не мог бы измыслить и сам Алексий.

Как бы вскользь, но и достаточно настойчиво Дионисий посетовал, что город не имеет своего епископа, подобно Ростову, Твери, Смоленску или Рязани. И Алексий, еще раз и внимательно вглядевшись в решительное волевое лицо Дионисия, словно бы списанное с ликов древних пророков, подумал, что епископом этим будет, конечно, он, и даже не стоит ему, Алексию, пытаться ставить сюда кого-либо другого, тем паче что Дионисий был другом Сергия, и, значит, можно будет ожидать от будущего нижегородского епископа ежели и не полного послушания Москве, то во всяком случае — миновения той вражды, которую проявляет до сих пор епископ тверской или своевольная архиепископия Великого Новгорода.

Город открылся нежданно. Митрополита встречали с колокольным звоном. Дороги огустели толпами. Башни деревянной крепости, показавшиеся сперва невысокими, на подъезде — когда открылись просторы Заволжья, синяя, уставленная кораблями вода и сбегающие вниз уступами рубленые твердыни — словно выросли, утвердились, окрепли. И белокаменный, недавно украшенный и поновленный, в старинной резьбе, с сияющими медью дверями Спасский собор, несущий на себе отсвет великого древнего владимирского зодчества, показался много величественней московских храмов.

Пока Алексий переоблачался в дьяконнике, к нему подходили, представляясь, нижегородские иереи. Служба обещала быть и была торжественной и благолепной. Алексий читал и чуял, что доходит каждое слово, каждый молебный стих, и, вдохновляемый совокупным вниманием бояр, горожан и клира, служил так истово и вдохновенно, как редко служил когда-нибудь. Да, впрочем, ведь это же была его первая литургия на родной земле в новом сане митрополита — духовного главы всей русской земли!

И все-таки, отдыхая меж выходами на креслице, поставленном ему в алтаре справа от престола, Алексий уже думал о следующей вслед за литургией жданной и важнейшей встрече со старым князем, встрече, от которой зависело слишком многое в судьбах русской страны.

Дети старого суздальского князя уже подходили к Алексию за благословением, и он смог, хотя и кратко, поговорить с каждым из них, особенно внимательно вглядываясь в Андрея, наследника княжеского стола. Этот сын гречанки и старого князя — уже на возрасте, немолодой муж — не показался ему опасен. Но были еще трое, и переменись судьба — на нижегородский стол могут сесть и Борис, и Дмитрий!

Он встает, выходит на амвон. Сейчас начнут подходить ко кресту, а затем — переоблачение и краткий отдых, а затем... Не признаваясь себе в том, Алексий все же устал и от тряской многодневной дороги, и от сегодняшнего служения, и от ладанной, многолюдной духоты в храме. К вечерней встрече он должен собрать все силы свои!

Старый князь был болен. Простудившись в Орде, он так и не переставал хворать. Неудача у хана тем более подломила его силы, и Алексий почуял это, едва вступивши в княжеский покой, застланный толстыми восточными коврами и неярко освещенный всего двумя серебряными шандалами, в коих ровно горели толстые свечи, расписанные по воску многоцветным затейливым узором. Приняв благословение и извинившись, Константин Василич прилег на ложе, застланное курчавою, красивого красно-бурого отлива овчиной. Долгое породистое лицо его, изможденное хворью, было иконописно-сурово, персты рук похудели и слегка вздрагивали, когда князь протягивал руку за чарой целительного питья. И по дрожи этой угадал Алексий, что суздальскому князю уже мало осталось веку на земле.

Он отведал для приличия яства, коими угощал его Костянтин Василич, а подавали молчаливые вышколенные слуги, отпил малинового квасу, дождал, когда они с князем остались одни с глазу на глаз, и по какому-то внутреннему наитию начал расказывать о Царьграде, о святынях Софии, о греках, Кантакузине и Апокавке, о турках, о разорительной, погубившей империю гражданской войне...

Костянтин Василич слушал отрешенно и строго. Раз только, шевельнувшись и поморщив чело, когда Алексий повестил, как сторонники Апокавка и Анны

таскали по городу, веселясь, отрубленные руки и головы казненных, выговорил вслух:

— Иван Иваныч не Кантакузин!

— Да, княже! — ответил, подумав, Алексий. — Но он и не Апокавк! Земле надобна тишина и, мыслю, дабы не возникало в князьях которы братней, кроткий и незлобивый глава. В Москве же ныне налаженное устроение власти, и неразумно нарушать оное. Такожде и вот о чем помысли, княже! Человек смертен, ни дня ни часа своего не вемы. И сохранят ли наследники дела отцов, приумножат или разорят — и того не ведаем! Единая церковь возможет пасти народ в череде веков! Ныне же, когда кафедра митрополитов русских нашими слабыми стараниями перенесена из Киева во Владимир...

Князь опять шевельнулся, поднял бровь, но сдержал себя, ничего не сказал Алексию. Только большие исхудалые руки в узлах вен, прекрасные породистые руки с чуткими долгими перстами, беспокойно задвигались, словно обирая себя, словно бы уже перед смертью... О чем он думал в сей час? Глаза его были устремлены к малому окошку, в коем сквозь тонкую желтоватую слюду, вправленную в узорный свинцовый переплет, виднелся далекий берег с зелено-желтыми полосами и пятнами осени и высокие холодные облака, текущие над синей водой. Да, он устал, и жизнь кончалась. И в чем-то, видимо, прав этот упорный московский иерарх, ставший вопреки всем препонам митрополитом всея Руси... Хотелось говорить о другом — о судьбе и вечности и славе родимой земли, и Алексий примолк и будто бы понял старого князя, поставившего свой высокий терем на самый глядень над Волгой, великой рекой, и теперь угасавшего, не свершив (как и все, жившие до него!) даже и малой части измысленного дерзновенной мечтою! Жизнь текла, утекая, как Волга, неостановимо, и уже не было злости, не было обиды на Москву и покойного Симеона, одолевшего его и ныне в этой загробной борьбе.

— Уступи, князь! Сойди в любовь с братом твоим Иваном! — тихо говорит Алексий. — Никому, кроме недругов Руси, не надобна ваша борьба!

А жизнь уходит, и чует старый князь горькую правоту Алексия. Не свершил, не возмог, не достиг, не успел уложиться в пределы жизни своей! И пусть течет река, и мужики, отставя меч и копье, рубят избы и пашут землю, и торгуют купцы, и плывут караваны по синей воде! Не поддержит его ростовский князь, а новогородцы также не подымут на плеча сей крест — бремя власти великой страны. И, быть может, тогда лучше обеспечить Андрею неспорную власть над Нижним Новгородом, а там — кто знает! И кто воспользует бранью, начатой им с московским князем, ежели он умрет? И можно ли начинать днесь усобную брань на Руси?

В палате застойный воздух. Пахнет воском, коврами. Откуда-то снизу наносит несносный дух паленой шерсти — верно, на поварне смолят свиней... Нет, он опоздал, и надобно согласиться с Алексием, взять мир с Москвою, ибо ни сил, ни жизни для продолжения этой борьбы у него уже нет...

Алексий сейчас говорит о надобном — о душе, о вечности, о судьбе, а князь глядит сквозь слюду и видит неясный размыв золотого сияния осени вдали, на том берегу, где лежат глухие непроходные боры, и вьется сказочный Керженец, и озеро Светлояр лежит в оправе лесов на месте навсегда утонувшего Китежа... Возникнет ли новая Русь на сих берегах? Или все поглотит Москва и не станет Волга великой русской рекою, а Нижний — столицей преображенной и воскресшей из праха Святой Руси?! Если бы его сыновья с такою же силой, как он, любили эту землю! Сила любви — вот то, что творит и создает Родину! И без чего мертвы и убоги камни отчих могил и земля отцов становит прахом под ногами чуждых племен. «Алексий! — хочет воскликнуть он. — Ты любишь эту землю? Ты желаешь ей добра, как желаю я, умирающий?»

— Да! — отвечает Алексий на немой княжеский крик. — Да, и я люблю эту землю и хочу ей добра и единства, без коего не стоять Руси!

Одинокая слеза, осеребрив княжеский взор, застревает в ресницах старого князя. «Я подпишу мир с Москвою, — думает он, — но ежели дети найдут в себе силы к борьбе, пусть они поиначат нынешнюю волю мою и поставят сей город во главе страны, которая — московский митрополит прав — нуждается в одном главе, в одном князе и власти единой!»

Алексий, на волос не отступая от задуманного, задержался в Нижнем еще на три дня, отослав своих спутников кого в Москву, кого во Владимир, но добился от Костянтина Василича нужной ему грамоты и известил об этом новогородцев, которые повезли теперь владыке Моисею вместе с крещатыми ризами и золотою печатью строгую грамоту Филофея Коккина, повелевающую непременно слушать во всех делах митрополита Алексия, и собственное неутешительное известие о почти заключенном мире суздальского князя с Москвой. Сам же Алексий с немногими спутниками, среди которых по-прежнему оставался Станята, довершив нижегородские дела, выехал во Владимир утверждать новую кафедру, вернее — новое место кафедры митрополитов русских.

Станята бывал во Владимире только проездом, и теперь, пока шли торжества и его присутствие не требовалось Алексию, обеспеченный кормом на владычной поварне, мог вдосталь побродить по древнему городу, подымаясь на валы и башни, на Золотые ворота, с которых открывался далекий озор на поля и леса в осенней украсе своей, разглядывал резных белокаменных зверей на соборах, толкался у лавок в торгу, щупая товары и приценяясь то к тому, то к другому с независимым видом барышника, у которого в калите звенит нескудное серебро.

Поздними вечерами, когда они оставались наконец одни, Алексий, отсылая служек, иногда по старой памяти беседовал со Станятою с глазу на глаз, вызнавая от него то, о чем с высоты своего сана не мог бы уведать.

— Порезвей они, конецьно, русичи, дак, — толковал Станька, помогая Алексию разоблачаться, —

а токмо чем-то они тута, во Владимери, греков напоминают! Одна толковня, а дела и нет! Не сидеть бы тебе тута, владыко! Езжай на Москву альбо в Переслав!

Алексий и сам не собирался застревать в этом старом городе, все еще многолюдном и богатом, но обращенном сменяющими друг друга князьями и краткими наездами митрополитов в проходной двор, которому уже не в подъем было бы стать, хотя и только церковною, столицею новой Руси. Он заводил двор, увеличивал клир и обслугу не столько для себя, сколько для греков, дабы доказать тем, что перенос кафедры не остался писанным лишь на грамоте, а осуществлен им на деле и сугубо. Для того же были утомительные торжества, вызовы во Владимир церковных иерархов и готовящийся на днях приезд самого Ивана Иваныча, хотя дела и слухи и грамоты звали его, и срочно, в Москву. А самому Алексию много важнее было устроение одной Троицкой обители, чем все эти владимирские рясоносцы, от которых ни русской церкви, ни делу объединения земли не было почти никакого толку.

— А Сергия-старца и тута знают уже! — хвастал Станька по вечерам, но Алексий, умученный долгими богослужениями и хлопотами по устроению митрополии, только кивал головою. Сергия знали еще очень мало. Пока — только случайными слухами, а не так, как когда-то Феодосия или Антония Печерских, с коими считались князья, и даже не так, как знали в нижегородской земле Дионисия, к которому на поклонение ежедневно притекали толпы паломников из ближних и дальних волостей.

Порою в мыслях о Сергии Алексия охватывала смутная тревога: медлит ли он? Или выжидает? Или — не тот он, кем его хотел бы видеть Алексий, и так и останет в тиши лесов скромным иноком, ищущим пустынного жития? Последняя мысль посещала его изредка в минуты усталости и упадка духа, и он старался прогонять ее прочь. Быть может, все дело было лишь в том, что он слишком давно не встречался с Сергием и начал позабывать о той волне потаенной спокойной силы, которая, точно невидимое тепло, исходила от этого удивительного подвижника?

Наконец во Владимир прибыл давно ожидаемый великий князь Иван Иванович Красный. Возок московита сопровождала свита из многих бояр и кметей. Алексей Петрович Хвост красовался на чубаром долгогривом жеребце, разодетый так, что привычные к пышным торжественным процессиям владимирцы и те ахнули. Но Алексий, благословив всех прибывших москвичей и князя в особину, не стал задавать Ивану никаких вопросов о делах и нестроениях московских и смене тысяцкого. Важнейшее предстояло, и ради того важнейшего (а совсем не ради торжеств святительских!) вызвал он князя Ивана во Владимир. И важнейшее это было — мир с Костянтином Василичем, который, по великой просьбе и к великой радости Алексиевой, превозмогши хворь, сам прибыл на торжества во Владимир.

Приехали все четыре сына суздальского князя и целая вереница бояр, и в какой-то миг, когда все это множество роскошно одетых нарочитых мужей собралось вместе, показалось Алексию, что возмутятся они, порвут с Москвою и затеют вновь гибельную прю городов. Но не было нужного единства в стане князей суздальских, провиделись грядущие споры сыновей старого князя, рознь бояр, не меньшая, чем на Москве, и Алексий, чья воля была все эти дни и часы точно натянутый лук, смог свесть в любовь неразумных князей, спасти страну еще раз от гибельного раздрасия и, проведя утлый корабль переговоров чрез все бури и мели взаимного нелюбия, усадил наконец за один полюбовный стол вчерашних соперников: величавого старика, потерявшего силы свои к закату дней, и молодого правителя Москвы, с девичьим румянцем на щеках, лишенного этих сил с самого рождения своего. Усадил вкушать совокупную трапезу и сам уселся меж них в кресло с высокою резною спинкою и словами, мановением рук, а прежде и больше всего своею непрестанною волею удерживал от могущих возникнуть взаимных покоров княжеских. И удержал. И достиг. И заключил жданный ряд, и грамоту о том тотчас послал в Новгород Великий, подготовляя и там скорое согласие на мир с Москвой. И только вечером, наедине сам с собою, всех, и даже Станяту, от себя отпустив и уже лежа в постели с высоким взголовьем, позволил себе, и то молча, беззвучно совсем, не в голос, застонать и почуять на малый миг почти нахлынувшее отчаяние. Так непрочно было все, совершаемое днесь! Столь жалок и слаб был нынешний правитель московский, этот муж-мальчик, донельзя обрадованный встречею с ним, Алексием, растерянный и оробелый от всех многоразличных московских неустройств, не князь вовсе после Ивана Калиты и Симеона Иваныча!

И уже засыпал когда, словно бы та роковая буря нашла на него, колебля и раскачивая скрипучее утлое ложе, и вздымались валы, руша беззвучно распадающиеся соборы, и стонала земля, и текла, змеилась меж волн одинокая дорога, по которой ему надлежало идти одному над бездною, уповая токмо на вышнего судию!

Иван Иваныч недаром суетился и краснел на подъезде к Москве. Сгоревший и едва отстроенный Кремник имел вид жалкий. Митрополичьи хоромы и княжой двор были кое-как восстановлены, спешно возводились хоромы великих бояр, но чернота обгоревших и полуосыпавшихся стен, кучи обугленных бревен, гарь на улицах Кремника, черные остовы дерев на месте сада и сосновой рощи, высаженной по скату Боровицкого холма над Неглинною, кучи горелого зерна и каких-то неубранных ошметьев на месте амбаров и житного двора — все это зреть было непереносно.

Алексий вызвал к себе Ивана Иваныча и с глазу на глаз, забыв на время, что перед ним великий князь владимирский, и давши полную волю гневу, отругал его, как мальчишку, повелев отныне пребывать в Кремнике, ходить к исповеди непременно и только к нему, митрополиту, и объявил наконец, что сам он не прежде переселится в митрополичьи хоромы, чем последняя куча гари исчезнет с глаз, а пока станет жить

в покоях Богоявленского монастыря. Там же и назначает на завтрашний вечер род заседания думы, во всяком случае, велит, чтобы все великие бояре, тысяцкий и Вельяминовы непременно были в сборе.

Вечером же, не отлагая, он встретился со вдовой Симеона Марией и имел с нею долгую молвь.

Мария, направляясь к Богоявлению, догадывала в общем, с чем и зачем зовет ее новый митрополит. Дарственные грамоты на Можай и Коломну не были надлежаще утверждены (чем и всегда ведала церковь, а в случаях княжеских споров и завещательных дел — только церковь и обычно сам митрополит), и она приготовилась, сказав несколько гневных и горьких слов, уступить Алексию. Княжеский свой возок она, подумав, оставила у ворот, при въезде, вместе со слугами, сама же твердым шагом пересекла двор и, ведомая служкой, поднялась по ступеням в указанную ей келью. Служка, впустив вдовствующую княгиню в сени, исчез, растворился у нее за спиной.

Мария, подумав, перекрестилась на иконы в углу и сама отворила тяжелую дверь в келейный покой. Войдя, она остановилась на пороге, притворив дверь за собою. Перед нею была довольно хорошо освещенная в этот час дня двумя слюдяными окошками горница, гладкие пожелтевшие тесаные стены которой были ничем не украшены, и не имевшая иного хоромного наряда, кроме лавок вдоль стен да креслица и невеликого стольца под окошком. Прямь против дверей помещался большой, весь изузоренный травчатою резьбою иконостас, стоял аналой, два высоких, также резных из дерева поликандила, и перед аналоем, спиною к ней, в палево-зеленом облачении и клобуке с воскрылиями стоял на молитве тот, с кем она намерилась было вести гневную молвь.

— Помолимся вместе, дочь моя! — сказал негромко, не оборачиваясь к ней, Алексий.

Мария, взявшаяся руками за концы темного вдовьего плата, повязанного сверх повойника, проглотив непроизвольный ком, ставший в горле, соступила с порога и подошла к аналою. Вместо спора с Алексием пришлось повторять за ним слова кафисмы.

Молились долго. Наконец Алексий повернул к ней заботливое и как-то не столь постаревшее, сколь отвердевшее за два года странствий лицо. В темно-прозрачном взгляде читалось новое выражение сугубой властности. Чеканней и тверже стали морщины чела. Она не поняла и сама, как совершило, что ей пришлось исповедоваться Алексию. Но совсем другое дело сказать задуманное в беседе или — как признание в тайная тайных души духовному отцу своему! Алексий выслушивал ее спокойно и терпеливо, иногда помогая подсказом, но тем не менее Мария волновалась все более, сбивалась, не находила слов и прервалась наконец на полуслове, замолкнув и опустив голову.

— Все это мне ведомо, дочь моя! — задумчиво и тихо ответил Алексий. — Ведомо и большее того, и горчайшее, о чем состоит иная молвь и в месте ином. Тебе же реку я днесь: один грех есть у тебя неустранимый и грех этот — гордыня! От многих грехов возможем освободить мы себя легко, — продолжал Алексий, не давая княгине вставить слово, — отринуть невоздержание, презреть богатство, избежать гнева и суесловия, воспретить похотное вожделение себе, но всего труднее отринуть гордыню! Иоанн Лествичник говорил, что и старцам, в горах и пустынях сущим, трудно сие! Постничаешь ли ты паче иных, и гордыня подсказывает тебе, что ты — первый в посте и молитве! Смиреньем ты победил себя, а гордыня и тут велит тебе любоваться смиреньем своим! И самой гордыни отрицаясь, сотворивый себя меньшим меньших на земли, глядь, начинает гордиться отречением своим! Почто, дочь моя, не встретила ты князя Ивана со смирением и не облобызала его с любовию? Почто восприняла огорчение в сердце свое, егда стали хулить и поносить тебя неции из бояр? Почто забыла ты, что наказание оных — святительская нужа, тебе же достоит смирять себя дозела не пред ними, пред Господом!

— Муж и жена — едина плоть! — сурово и властно продолжал Алексий. — Из ребра Адамова сотворил Господь подругу ему! Как же не поняла ты, дочь моя, что супруг твой усопший, Симеон, молил свыше Господа, да вдаст царство в руце брата его единородного, дабы дело мужа твоего, за которое он главу свою положил, не изгибло на земли?! Мнишь ли ты, что без воли Его пред сильными и властными, пред лицом хана победил, и возмог, и одолел, и воссел на престол владимирский? И кто? Не скажу слова, звука не реку, и сам преклоню колена пред нынешним повелителем Москвы! Ибо что остает от нас в мире сем, преходящем и суетном? Дела, угодные Господу! Подумай, был бы счастлив супруг твой, уведав о безлепой гибели дела своего на Москве? Уведав даже и о днешней трудноте: гибельной которе боярской, безлепом пожаре, истребившем имение его, со тщанием собираемое, о потере волости Лопаснинской, ея же захапив Олег Рязанский! О размирье с Новгородом! Помысли: токмо об одном этом уведавши, твой супруг в том мире, в горнем, где он и дети его, восхищенные ко Господу, пребывают, не пожалился днесь и не огорчился? Не простер с тоскою и вопрошанием незримые руце своя к тебе, возлюбленной супруге своей? Не он ли вопрошает тебя днесь моими устами?!

— Да! — продолжал Алексий, возвышая голос и сверкая взором. — Да, в слабые руки, испытуя, предал ныне Господь град Московский и судьбы русской земли! Но дерзнешь ли ты, дочь моя, рещи, что не благостен и не мудр Господь, пославший на ны истому, дабы уверовать, что мы истинно те, коих должно возвеличить и восславить ему в столетьях? Железо, отковав, испытуют огнем и стужею, дабы окрепло оно, закалилось, превратясь в харалуг! Тако и нас, закаляя огнем и хладом, испытует Господь! Помысли, сколь временен и преходящ человек, сколь мал и внезапу смертен! Должно заботить себя тем, что останет после нас, должно мыслить о вечности!

— Я думала сама... Прости меня, отче! — Потерявшаяся вконец Мария вздрагивала, трудно удерживая слезы. — Прости, Алексие, мнила, ждала... Хотела сама передать из рук в руки...

— Да, дочь моя, да! — живо, с огнем в глазах, перебил ее Алексий. — Но надлежит сотворить это

непременно с любовью к ближнему, к молодшему брату супруга твоего, опочившего в Бозе! И надлежит закрепить грамотою, ибо лишь с одобрения власти духовной возможно и действенно сотворенное новопоставленным тысяцким на Москве! Иначе то — разбой и татьба, да, да, дочь моя, да! И на Хвоста и на иных будет наложена епитимья, но и ты, дочь моя, грешна, повторю! Грешна гордынею, и тебе надлежит пристойно искупить грех сей пред высшим и неподкупным судией!

Уже покрыв ей голову епитрахилью и отпуская прегрешения, Алексий, протянув княгине для поцелуя руку и крест, вопросил:

— Теперь помысли, дочь моя, что можешь ты содеять ныне в Кремнике, дабы от гибельного позорища сего вскоре не осталось и следов? Да, восстановить свой терем, да, улицу перед ним, но и еще большее... При господине своем была ты рачительною госпожою и, мыслю я, ныне возможешь ли принять на себя труд отстроить заново амбары, рыбный и соляной двор и княжую бертьяницу? И сады насадить возможешь ли ныне?

Мария, утерев кончиком платка глаза, покорно и благодарно склонила голову. Алексий, властно вмешавшийся в уныние вдовьей жизни, давал ей сейчас дело истинно по плечу, и такое, которое вновь воскрешало для Марии минувшие, казалось бы, невозвратно годы, когда она была в Кремнике хозяйкой и госпожой.

Подведя ее к столику у окна, Алексий предложил княгине опуститься на лавку, сам присел в узкое монастырское креслице, чуть опустив плечи, чуть расслабив жестокие складки лица. Посмотрел на нее добрым оком пастыря, долг которого не токмо карать, но и прежде всего миловать. Помолчал, вздохнул:

— В печали твоей — вдовы, схоронившей супруга своего, и матери, проводившей в могилу любимых чад, — утешить тебя возможет токмо Господь! Но и тем не гордись и на то не ропщи! Веси ли мой труд? И я отрекся во младости, даже не испытавши их, утех бытия! Отринул богачество, молол зерно, испытывал себя гладом и нужою. И недавно был при дверях смерти, егда корабль наш малый трепало взъяренное море! И то было такожде испытанием от Всевышнего! А егда потребует от нас бренной жизни самой?

Дочь моя! Грешить мы начинаем не тогда, когда в среду или в пятки вкушаем мясное, или пропустим по лености всенощную, или не сотворим милостыни, или правила молитвенного не совершим к ночи... Грешить мы начинаем, когда заботы свои личные возносим паче забот о ближних своих, егда жизнь сию временную и греховную начинаем беречь и холить паче господней воли! Тогда и преже реченные грехи почасту одолевают ны! Но и без оных! И тот фарисей, кто неукоснителен в правиле церковном, но сотворяет оное лишь для спасения своего, не грешнее ли грешника во сто крат?! Таковой, ежели он боярин, живет грабительством меньших и сам, величаяся в злате, не ведает уже о меньшей братьи своей. Воин таковой позорно бежит на рати, отдавая жен и детей на поругание и плен чужеземцам. Смерд — небрежет пашнею, где вместо хлеба вырастают плевелы. Монах — предается пиянству и блуду. Жена — служит не мужу своему, но похотному любострастию. И всякий таковой, возжелав в себе большего, чем дает ему Господь, позабывши о том, что выше нас и ради чего возможем мы отдать и само бренное наше бытие, — всякий таковой грешнее грешного на земли! От сего прегордого величания и споры, и свары, и войны, и всякие нестроения в языцех!

Все слова были уже сказаны. Мария сидела, уронив руки на колени, и ей не хотелось уходить и было хорошо. Что-то прояснело в душе, что-то отпадывало, как короста от заживляемой раны.

— Когда начинать работы в Кремнике, владыко? — спросила она негромко, хотя иные и многие слова рвались у нее из души.

— Не медли, дочерь моя, ни дня, ни часу! — отмолвил Алексий. — А грамоты мы с тобою утвердим нынче же, ибо назавтра в покое сем собраны будут великие бояра Москвы, и каждый из них возьмет на себя труд по званию и достатку своему. И твой, госпожа, почин, будет им всем и укором и поучением!

Алексий недаром решил собрать бояр не в Кремнике, а у Богоявления. Вступая на монастырский двор, все они невольно потишели, и уже одним тем, что местом государственных решений оказался монастырь, Алексий избавил себя от многой ненужной толковни и безлепых споров.

О нелюбиях и которах московских Алексий попросту не позволил никому говорить, громово обрушившись на весь синклит со словами стыденья и укоризны. Затем напомнил недавнее прошлое, постарался возжечь в боярах гордость, в каковой вчера еще укорял вдову Симеона, но гордость особую, надобную днесь — гордость к совокупному деянию. И сам, наслушавшись и навидавшись греческого своекорыстия и нелюбви к общему делу (очень помнились ему рассказы ромеев о том, как жители Константинополя провалили строительство Кантакузином флота для борьбы с Галатою), Алексий был и удивлен, и обрадован, и тронут, хоть постарался не показать и виду о том, как живо и с какою охотою великие бояре московские откликнулись на его призыв немедленно и полностью, еще до снегов, восстановить Кремник.

Алексей Хвост, посопев и набычась, взял на себя и на свой кошт башни городовой стены от Боровицких ворот до Портомойных. Василий Вельяминов с братом обещали восстановить противоположную Фроловскую въездную башню с прилегающими к ней пряслами стен. Прочие великие бояре, каждый по силе своей, разобрали иные участки городовой стены, и уже в ночь пошли обозы, а наутро огустевший народом Кремник огласился дружными возгласами тружающих, конским ржанием, треском и гулом обрушиваемых обгорелых прясел и ладным перестуком наточенных плотницких топоров.

Когда месяц спустя в Кремник въезжало новогородское посольство архиепископа Моисея и вятшей господы, решивших сменить остуду на любовь, — для чего в Новом Городе после бурного вечевого схода

«даша посадничество Обакуну Твердиславличу, а тысяцкое Олександру, Дворянинцеву брату», то есть тем боярам, что держали руку Москвы, — их встретило тьмочисленное скопище работного люду, телег, коней, и уже подымались гордые маковицы возрожденных соборов, и уже под редкими, порхающими в воздухе снежинками подступавшей зимы высили, радуя глаз белизной молодого леса, возрожденные башни Кремника.

И все это устроение сотворилось коштом московской боярской господы и рачением митрополита Алексия, не потребовавши от опустелой казны великокняжеской никаких сверхсильных для нее серебряных кровопусканий. Симеонова Москва, слава Господу, еще совсем не была похожа на умирающий Царьград!

Слухи о возвращении митрополита достигли Троицкой обители, еще когда Алексий был в пути.

Со времени поставления Сергия в игумены минуло около года. Уже высилась на склоне холма новая просторная церковь под чешуйчатою, из осиновой драни, кровлею, взметнувшая свои шатровые главы выше лесных вершин, в ширь небесного окоема, и уже прояснела для многих сдержанная властность нового игумена, ибо Сергий взял себе за правило по вечерам обходить кельи одну за другой, и там, где слышал неподобный смех или иное какое бесстыдство, негромко постукивал тростью по оконнице, назавтра же вызывал провинившегося к себе, будто бы для беседы, но горе было тем, кто не винились сразу, пытаясь скрыть от прозорливого старца вину своих вечерних развлечений. И уже переписыванием книг, изготовлением дощатых, обтянутых кожею переплетов, книжною украсою и даже писанием икон, так же как и многоразличным хозяйственным рукомеслом, начала все более и более прославляться новая обитель московская. И все это происходило как бы само собою, и многим даже казалось порой, что, не будь кропотливого Сергиева догляда, и жизнь монастырская и труды премного выиграли бы в размахе и качестве своем. Сергий знал, ведал обо всем этом и продолжал наряжать на работы, отрывая от переписыванья книг ради заготовки леса и дров, овощей с монастырского огорода и прочих многоразличных трудов крестьянских, которые не желал, как велось в иных обителях, передавать трудникам, по обету работающим на монашескую братию. И никакие окольные речи, никакие примеры из жизни монастырей афонских не действовали на него. Он даже не спорил, да, собственно, он и никогда не спорил, но делал сам столько — успевая и скать свечи, и печь просфоры, и шить, и тачать сапоги, и плести короба и лапти, и валить лес, и рубить кельи, и резать многоразличную утварь, и копать огород, и чистить двор, и носить воду, и убирать в церкви, и все это с такою охотой и тщанием, — что, глядючи на своего игумена, и всякий брат неволею тянулся к монастырским трудам, а лодыри попросту не задерживались в обители.

Одно лишь послабление совершил он для братии этим летом, послушавшись многолетних настояний и просьб (по расхоженной многими ногами тропинке подыматься в гору с водоносами, особенно в осеннюю пору после дождя, стало и вовсе не в подъем), — извел воду для монастыря, найдя источник невдали от обители, почитай что и в нескольких шагах от нового храма.

Как раз прошел дождь, и Сергий отправился с одним из братьев осматривать ямы в лесу. В одной из них, примеченной им заранее, дождевая вода обычно стояла, не уходя в почву. Могучие ели, нарочито оставленные им рядом с обителью, осеняли неглубокую впадину, всю поросшую мохом. Копать следовало здесь! Он воткнул заступ в землю и, осенив себя крестным знамением, опустился на колени прямо в мох.

— Боже! Отче Господа нашего, Исуса Христа! — молился он вслух, а брат повторял за ним святые слова. — Сотворивый небо и землю и вся видимая и невидимая, создавый человека от небытия и не хотяяй смерти грешникам, но живыми быти! Тем молимся и мы, грешные и недостойные рабы твои: услыши нас в сей час и яви славу свою! Яко же в пустыни чудодействоваше Моисеем, крепкая та десница от камени твоим повелением воду источи, тако же и зде яви силу твою! Ты бо еси небу и земли творец, даруй нам воду на месте сем!

Окончив, Сергий встал с колен и взял заступ.

— Копай! — приказал он брату, с которым вышел искать воду, и оба сосредоточенно стали сперва резать пластами и откладывать в сторону куски мшистого дерна, а затем углубляться в глинистую в этом месте землю. Был вынут перегной, потом пошли куски серой глины. Сделалось вроде бы суше, и взмокший брат уже с тревогою поглядывал на Сергия, но тот продолжал работать так же сосредоточенно, ровняя края ямы и углубляясь все ниже и ниже, сперва по пояс, а потом по грудь. Вода хлынула изобильным потоком, как только добрались до песка. Сергий, оказавшись враз по колено в ледяной влаге, все-таки не прежде вылез из ямы, чем зачистил все дно и, окуная руки с заступом по самые плечи в прибывающую воду, вытащил наружу последние куски глинистой земли. Он сам не ожидал, что жила, выходящая снизу под горой, окажется так близко к поверхности. Вскоре они стояли оба над ямою, Сергий — тяжело дыша, мокрый почти насквозь, а голубоватая взмученная ледяная вода все прибывала и прибывала, подымаясь уже к краям копаницы.

Брат, глядючи круглыми глазами на Сергия, сложил было молитвенно ладони, но игумен лишь кивнул ему головою и, подхватив секиру, повел за собою в лес.

Огромная колода, видимо загодя присмотренная или отложенная Сергием, казалось, лишь ожидала теперь приложения рук. Невзирая на мокрое платье и онучи, Сергий, подоткнув полы подрясника под пояс, поднял секиру. Колоду расщепили клиньями на две половины и молча споро начали выбирать сердцевину и болонь. От одежды Сергия валил пар. Скоро обе половинки представляли собой два корытообразных желоба, и Сергий, натужась, приподнял один из них. Брат неволею взялся за противоположный конец, но не смог удержать, выронил.

— Созови кого-нито! — приказал Сергий, слегка охмурев челом.

Пока брат бегал за подмогою, он выровнял и отгладил секирою оба корытья и приготовил врубки, по коим обе половины надобно было соединить в одно. Лишь когда колода была принесена к источнику, соединена и опущена в воду, а снаружи плотно забита утолоченной глиной и землей и были сделаны тесаные мостовины к источнику и намечено место для беседки над ним, Сергий разрешил себе пойти переменить влажные платье и обувь.

Вода в источнике не убавлялась и во все последующие дни, недели и месяцы, и монахи стали называть источник в отсутствие игумена Сергиевым, на что сам Сергий очень сердился и решительно воспрещал, не уставая повторять братии, что воду дал не он, а Господь[1].

Однако, помимо воды, все остальное оставалось в прежних правилах, и даже стало строже, ибо Сергий, не возвещая того братии, готовил ее загодя к новому общежительному навычаю, ожидая только обещанной Алексием цареградской грамоты. Грамоты этой Сергий сожидал и сейчас, когда дошли известия о возвращении Алексия, и даже полагал, что привезет ее в обитель сам митрополит.

В эти дни все, и сам Сергий, были заняты на осенних работах, торопясь до зимы уладить с дровами и лесом, который ныне, по множеству сваленных дерев, уже не волочили сами, как когда-то, а возили наятыми крестьянскими лошадьми. Заводить свой конский двор Сергий не желал и по сию пору. Кажущееся облегчение трудов, как догадывал он, не пошло бы на дело духовного совершенствования иноков, но на прирощение монастырских богатств с последующим обмирщением обители. Хотя, впрочем, и сена нынче они заготовили довольно, дабы приезжим в монастырь странникам и доброхотам-дарителям было чем кормить коней.

Он возвращался из леса и у ограды услышал от Михея, что в келье гости из греческой земли. Не снимая рабочей свиты, как был — в лаптях, в пятнах смолы и с кровоподтеком на скуле, полученным сегодня в работе с неумелым братом, чуть-чуть не прибившим игумена падающею лесиной, — Сергий поднялся по ступеням и вступил в хижину.

Греки, предупрежденные заранее, разом встали и поклонили ему. Греков было двое, третий с ними, русич из свиты Алексия, тут же перевел Сергию приветствие вселенского патриарха константинопольского Филофея и передал патриаршее благословение.

Греки были в дорожной добротной сряде и в русских сапогах. У старшего волосы, умащенные и подвитые, свободно лежали по плечам, а драгоценный крест на груди вызывал, наверное, дорогою зависть не у одного проезжего татарина.

[1] Источник этот не оскудел и по сию пору. Теперь над ним выстроен павильон, и богомольцы выстраиваются у дверей с бидонами и банками, вот уже шесть столетий продолжая брать эту воду, прозрачную и вкусную, освященную преданием и именем Сергия Радонежского.

Чуть улыбаясь, Сергий вопросил, к нему ли они пришли. Русич перевел, греки одинаковым движением склонили головы: да, к нему! Затем второй грек встал и развернул вынутый из кожаной дорожной сумы холщовый сверток, в котором оказались схима, сложенный вчетверо параманд (плат с изображением осьмиконечного православного креста и страстей господних) и наконец серебряный нагрудный крест греческой работы, словом, полное монашеское облачение, пристойное игумену обители.

Сергий стоял в своем порыжелом и много раз латанном подряснике, с буйной копною непокорных волос на голове, схваченных самодельным гойтаном, — косица его расплелась в лесу, и недостало времени ее заплести вновь, — с грубыми, в ссадинах и смоле, руками, глядя на приезжих иноземцев светлыми озерами своих чуть-чуть, в самой глубине, лукавых, лесных, настороженных глаз, взглядывая то на даримое, то на дарителей. Вновь повторил, не ошиблись ли греки, принимая его за кого-нибудь иного. (На миг один, и верно, просквозила подобная грешная мысль — так не вязались эти два нарочитых греческих клирика с обиходным обычаем Сергиева монастыря.) Но красивый грек подтвердил опять, что они отнюдь не ошиблись и посланы именно к нему, Сергию, подвижнику и игумену Троицкой обители. С последними словами грек протянул Сергию запечатанный пергаменный свиток.

Сергий поклонился земно, принял свиток, сорвал печать и, развернувши грамоту, увидел греческие, неведомые ему знаки. Свернувши грамоту, он передал ее в руки Михея и, не тронув более ничего, знаком приказал тому принять и убрать дары, а сам, тут же омывши руки, молча и споро начал готовить трапезу. Последнего, кажется, не ожидали и сами греки, представлявшие что угодно, но только не игумена в сане повара. Вскоре перед греками явилась вынутая из русской печи теплая гречневая каша, соленая рыба, ржаной квас, а также блюдо свежей черники. Нарезанный хлеб был опрятно уложен на деревянную тарель, а поданные ложки имели узорные, тонкой работы, рукояти.

Угощая гостей, Сергий все время думал о патриаршей грамоте. Можно было, конечно, призвать брата Стефана, разумеющего греческую молвь, но внутренний голос сразу отсоветовал ему делать это. В содержании грамоты Сергий не сомневался: это было долгожданное послание об учреждении общежительства. Но учреждение таковое должно было быть сразу освящено не токмо патриаршею грамотой, но и авторитетом Алексия, и потому Сергий, к концу трапезы уже порешивший, что ему делать, распорядясь принять и упокоить греков, устроив им постели и особное житье в монастыре на все время гостьбы в пустующей келье недавно умершего Онисима и проверив, все ли и так ли содеяно, как он повелел, простился с греками, переоделся в дорожное платье и в ночь, как он любил и делал всегда, вышел в путь, засунув в калиту патриаршую грамоту и ломоть хлеба.

Вечерняя свежесть и тонкий комариный звон разом охватили его, лишь только он спустился под угор

и, широко ставя посох, легким шагом в легких своих липовых дорожных лаптях устремил стопы по направленью к Москве, достичь которой намерил не позже завтрашнего полудня. Продирался он одному ему знакомыми тропами, спугнув раза два лосей, а единожды кабана, с тяжелым хрюканьем убежавшего, ломая кусты, с дороги преподобного.

Тощие в эту пору года комары почти не досаждали ему, и шел он легко и споро, безотчетно наслаждаясь лесной тишиною в колдовском очаровании восходящей над вершинами елей огромной желтой луны. Ухала выпь, в низинах восставали призрачные руки туманов, и даже жаль стало, когда пришлось наконец, вынырнув из-под полога лесов, ступить на увлажненную ночною росой дорогу, текущую извилистою молчаливой рекой мимо сонных, немых в этот час деревень, где едва взлаивал хрипко спросонь какой-нибудь пес, почуявши легконогого ночного путника.

Он шел, не останавливаясь и не сбавляя шага, пока не засинело, а потом побледнело небо, пока не прокинулись туманы и светлое сияние зари не перетекло на высокие, бледные, отступившие от росной влажной земли небеса. Уже когда золотое светило пробрызнуло сквозь игольчатую бахрому окоема, разбросав пятна и платки света по сиреневой охолодалой дороге, от которой тотчас начал восходить к небесам пар, Сергий присел на пригорок, выбрав место посуше, и пожевал прихваченного с собою хлеба, следя молодыми глазами разгорающуюся зарю. Потом, разбросав крошки от своей трапезы налетевшим неведомо отколь воробьям, подтянул потуже пояс и пошел дальше, без мысли, просто так, подобно распевшимся птахам, напевая про себя псалмы Давидовы, коими и он по-своему славил Господа и красоту созданного им мира.

На подходе к Москве начали встречаться крестьяне, возчики и земледельцы. Бабы выгоняли скотину и, остановясь, сложив руку лодочкой, провожали взглядом монаха-путника, а то и кланялись ему на подходе, в ответ на что Сергий, подымая руку, благословлял их, не замедляя шагов. Его еще не узнавали, как это началось впоследствии, и потому поклоны крестьянок были от чистого сердца, относясь не именно к нему, Сергию, а просто к прохожему старцу, печальнику и молитвеннику, и потому радовали его. Так он шел, и подымалось солнце, зажигая рыжую осеннюю, все еще густую листву, и лес, пахнущий сыростью и грибами, отступал и отступил наконец, освободив место простору убранных полей, и чаще и чаще пошли избы, терема и сады, и близилась, и подходила Москва, в которую когда-то явился он впервые молодым парнем, наряженным на городовое дело, и видел впервые князя Симеона в бело-травчатом шелковом сарафане, а потом приходил опять и опять в горестях его и беседовал с самим Алексием, тогдашним наместником митрополита, а ныне — много ли лет прошло с тех пор? — приходит, неся с собою послание самого патриарха константинопольского! И было бы все это так же, ежели бы он желал того, сам стремил, стойно Стефану, к почестям и славе? Господи! Истинно даешь ты по разумению своему, и не просить, не желать несбыточного, но достойно нести крест свой — высокая обязанность смертного!

В Кремнике было полно работного люду, кипела муравьиная страда созидания. Сергий не видал Кремника после летнего пожара и потому слегка задержал стопы, обозревая картину, радостную только тем, что люди, сошедшие сюда, явно намеревали воссоздать наново сгоревший город. Ему объяснили, что митрополит остановился не здесь, а у Богоявления. Сергий скоро достиг обители, в воротах которой троицкого игумена едва не задержали, а узнавши, тотчас кинулись повестить Алексию его жданный приход.

Алексий сам вышел в сени навстречу молодому старцу. Внимательно поглядел, просквозив взглядом, и, уверясь в чем-то, очень надобном ему, троекратно облобызал Сергия, тотчас отослав его в церковь и к трапезе. (Самому Алексию предстояло тем часом отпустить двух бояринов, с коими шла нужная молвь о городовом деле.)

И вот они сидят друг против друга: заботный Алексий, нынешний русский митрополит, и прежний светлоокий юноша, ставший смысленным мужем и настоятелем монастыря. Сидят, и Алексий как-то вдруг не знает, не ведает, о чем ему говорить. Он прочел вслух и перевел Сергию краткое патриаршее послание, где после цветистого обращения и похвал следовал, со ссылкою на пророка Давида, призыв устроить общее житие: «Что может быть добро и красно более, нежели жити братии всем вкупе? Потому же и аз совет благ даю вам, яко да составите общее житие! И милость божия, и наше благословение да будет с вами». И они опять смотрят друг на друга, и Сергий молчит, чуть улыбаясь, его вопрошание ясно без слов: вот я здесь, и что повелеваешь ты мне теперь, Алексие?

И Алексий, уставно долженствующий ответить нечто, похваливши общее житие, сбивается и спрашивает совсем не о том и не так, как пишется в «Житиях»:

— Возможешь ты, брате, поднять ношу сию?

Сергий молчит, слегка улыбаясь. И Алексий, понявши, что вопросил совсем не о том, спрашивает, гневая на себя, грубо и прямо:

— Примут?

— По велению митрополита русского! — отвечает Сергий и добавляет, помедлив: — Тогда — возмогу.

И, наверно, Сергий опять прав, и он, Алексий, восхотел большего и скорейшего там, где не можно ни то, ни другое. И новопоставленный игумен, ныне сидящий пред ним, по-прежнему крепок и тверд, и не стоило Алексию сомневаться в нем даже и мысленно. Но неужели изменить души немногих иноков, по воле своей сошедших вместе, труднее, чем изменить судьбу государств и участь престолов? «Да, — отвечает ему молча взгляд Сергия, — да, отче, труднее! И не спеши, дай мне самому нести сей крест и вершить должное по разумению моему!»

— Мне, отче Сергие, не можно ныне оставить Москву даже на час малый! — медленно произносит Алексий, глядя в лесные, светлые и глубокие, бездонные, как моховые озера, глаза старца. — Но я пошлю с тобою рукописание свое и от себя бояр и клир церков-

ный, вкупе с епископом Афанасием! Довольно сего?

— Сего довольно! — ответствует Сергий.

— Мыслишь ли ты, — спрашивает вдруг Алексий, кладя руки на подлокотники кресла и наклоняясь вперед, — что минут которы на Москве и снизойдет мир в сердца злобствующие?

— Боюсь, владыко, что не будет сего! — отвечает, подумав, Сергий. — Иное, хотя и скорбное, должно дойти до предела своего и разрешить себя, яко нарыв, который не прежде изгоняется телом, чем созреет и вберет в себя всю скверну и гной!

Два-три года назад Сергий еще не говорил так жестоко и прямо, отмечает про себя Алексий, начиная догадывать, что изменилось в Сергии и почему тот якобы нарочито не спешит на пути своем, не спешит, но и не отступает вспять. Да, ежели возможен новый Феодосий на Москве, то это — только он и никто другой!

— Надобна ли моя помочь обители? — говорит Алексий и ловит себя на давнем воспоминании: когда-то так же прошал он Сергия и о том же самом, и преподобный отвергся в ту пору всякой помочи. И, почти не удивляясь, слышит знакомые слова:

— Обитель ныне изобильна всем надобным для нее, а излишнее всегда опасно для мнихов! Быть может, — прибавляет он едва ли не в утешение митрополиту, — егда создадим общее житие, возможет явиться нужда в чем-либо, но тогда посланные тобою уведают о том в свой час!

Что-то еще надобно спросить, о чем-то сказать, о самонужнейшем ныне, а может, попросту жаль отпускать от себя этого монаха, в коем Алексий начал было сомневаться в пути, а теперь не может отпустить от себя, чуя незримое истечение светоносной силы, которой так не хватает порою ему, Алексию, взвалившему на себя двойное бремя мирской и духовной власти?!

— Мыслю, Алексие, земля наша способна к деянию, токмо ей надобно время для собирания сил. Возможно, слабый князь и благо для нынешней поры? — раздумчиво говорит Сергий. — Тому, кто препоясан к деянию, ждать или медлить бывает вовсе невмочь!

— Спасибо, Сергие! — тихо отвечает Алексий, и бледный окрас почти юношеского смущения проступает на его ланитах. Он сбивчиво говорит о море, о буре, едва не погубившей корабль, о своем обещании создать монастырь, и Сергий опять наклоняет голову, понявши еще не высказанную просьбу:

— О настоятеле новой обители, сего же хощеши от меня, повещу тебе чрез некое время!

И опять сказано все. Время надобно на то, чтобы ввести общежительный устав и на нем испытать каждого из своей братии. Сергий и тут не торопится, и опять он прав.

Идут часы, меркнет свет за окном, а митрополит, отложивший все иные заботы посторонь ради этой единой беседы, все не может расстаться с игуменом Сергием, без молчаливой лесной работы которого он не мог бы, пожалуй, вершить и свои высокие подвиги.

(Окончание в следующем номере)

Дмитрий Михайлович Балашов

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Роман

Редактор *Г. Панкратова* Иллюстрации художника *А. Дудина*

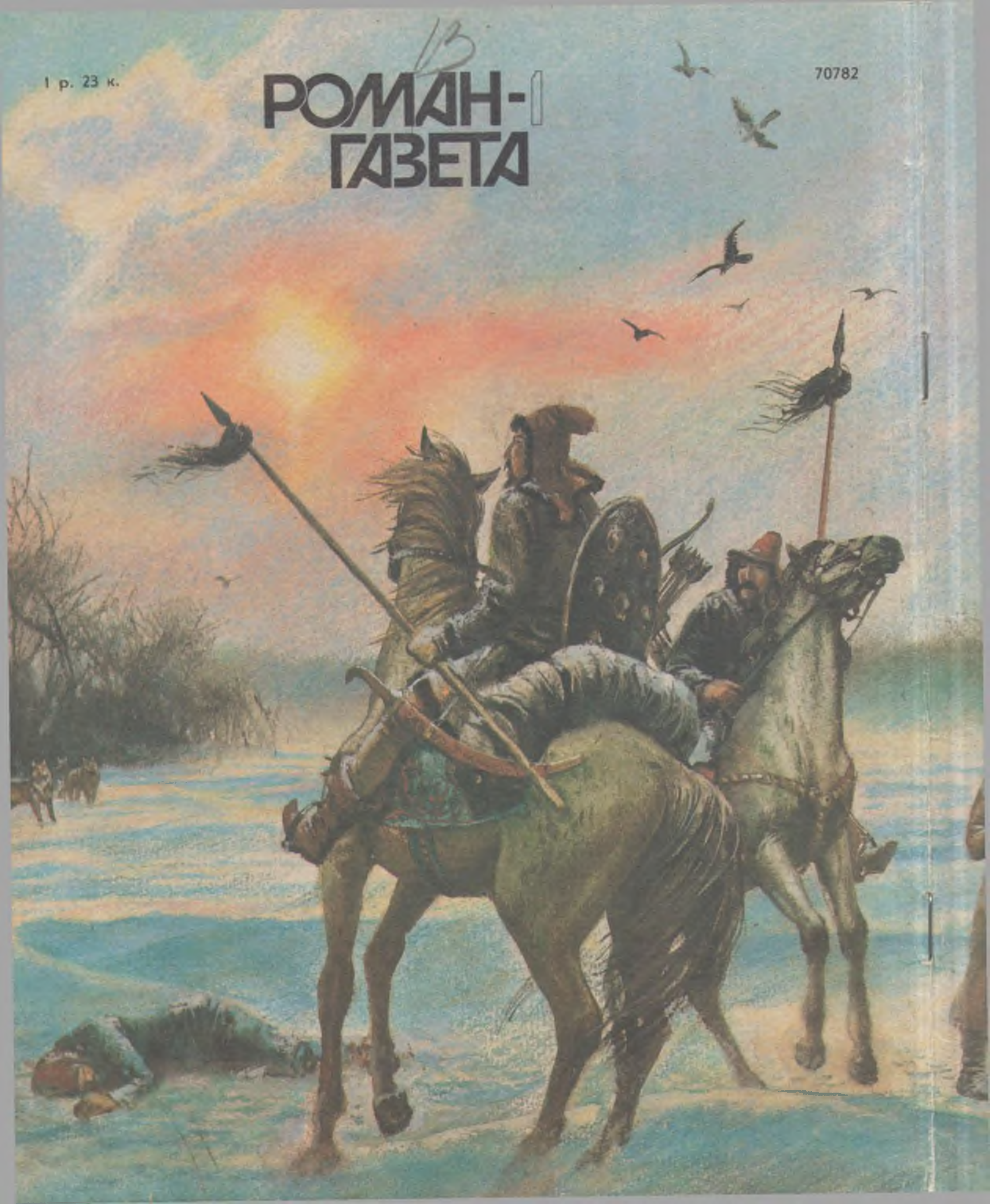
Художественный редактор *А. Орлов* Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *О. Наренкова, Н. Усольцева*

Сдано в набор 13.09.89. Подписано в печать 09.11.89. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 14,02.
Тираж 2.600.000 экз. Заказ 2225. Цена 1 р. 23 к.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Адрес типографии: 142300, Чехов Московской обл. Полиграфкомбинат.

БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДМИТРИЯ БАЛАШОВА

«Народные баллады». М., Советский писатель, 1963.
«История жанра русской баллады». Петрозаводск, Карелия, 1966.
«Русские свадебные песни Терского берега Белого моря» (в соавторстве с Ю. Е. Красовской). М., Музыка, 1969.
«Сказки Терского берега Белого моря». М., Наука, 1970.
«Господин Великий Новгород», повесть. М., Советская Россия, 1970.
«Марфа — посадница», роман. М., Советская Россия, 1972.
«Младший сын», роман. Петрозаводск, Карелия, 1977.
«Великий стол», роман. Петрозаводск, Карелия, 1980.
«Бремя власти», роман. Петрозаводск, Карелия, 1981.
«Симеон Гордый», роман. Петрозаводск, Карелия, 1983.
«Русская свадьба». М., Современник, 1985.
«Ветер времени», роман. Петрозаводск, Карелия, 1988.


1 р. 23 к.
РОМАН-1
ГАЗЕТА
70782